

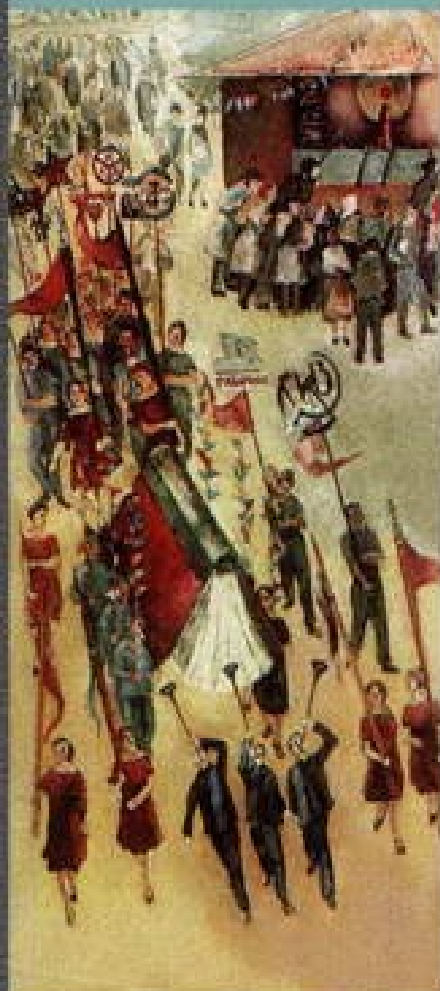
В. Поноб

ЗОЩЕНКО

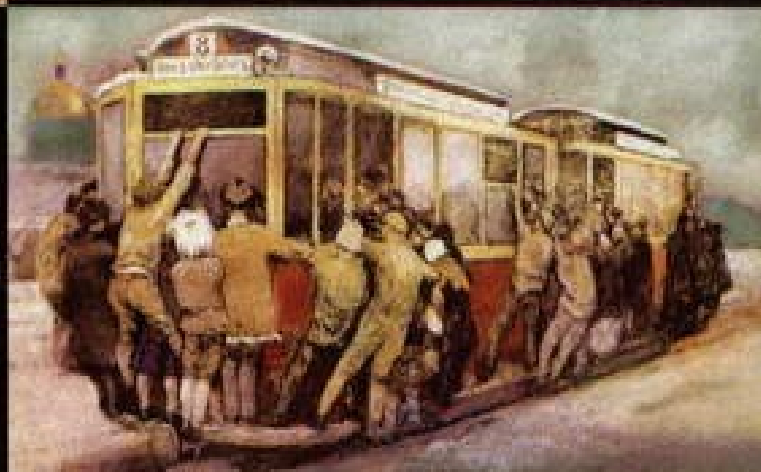
ЗОЩЕНКО



ЖЗЛ



Валерий
Поноб



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Annotation



Валерий Попов, известный петербургский прозаик, представляет на суд читателей свою новую книгу в серии «ЖЗЛ», на этот раз рискнув взяться за такую сложную и по сей день остро дискуссионную тему, как судьба и творчество Михаила Зощенко (1894-1958). В отличие от прежних биографий знаменитого сатирика, сосредоточенных, как правило, на его драмах, В. Попов показывает нам человека смелого, успешного, светского, увлекавшегося многими радостями жизни и достойно переносившего свои драмы. «От хорошей жизни писателями не становятся», — утверждал Зощенко. И это поистине философское высказывание можно назвать основной идеей книги. Дар сатирика — сам по себе опасный дар, и Зощенко это хорошо понимал, как понимает и автор его жизнеописания, представивший своего героя и в славе, и в расплате за нее.

- [Валерий Попов](#)
 - [ВСТРЕЧА С ЗОЩЕНКО](#)
 - [ДЕТСТВО ГЕНИЯ](#)
 - [ЧТО НАШЕЛ НА ВОЙНЕ?](#)
 - [ВЕНОК, СПЛЕТЕННЫЙ ИЗ СТАРЫХ НЕЛЕПОСТЕЙ](#)
 - [СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ](#)
 - [СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ](#)
 - [ПТЕНЦЫ «БУРЕВЕСТНИКА»](#)
 - [БРАТЯ НЕ НАВЕК](#)
 - [СИРОТА](#)
 - [ТРУДНО БЫТЬ МУЗОЙ](#)
 - [ТАЙНА СМЕЮЩИХСЯ СЛОВ](#)
 - [ПРОРАБОТКА](#)

- [КАК КРОКОДИЛ БЕГЕМОТА ПРОГЛОТИЛ](#)
 - [ДРУГОЙ ЗОЩЕНКО](#)
 - [НА СЕМЕЙНОМ ФРОНТЕ](#)
 - [ЗАЩИТА ЗОЩЕНКО](#)
 - [БЕШЕНЫЙ ОГУРЕЦ](#)
 - [РИСКОВАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ](#)
 - [САМ СЕБЕ ДОКТОР](#)
 - [ПЕРЕКОВКА](#)
 - [ВЕЛИЧИЕ СЪЕЗДА](#)
 - [ИСТОРИЯ ПО-НАШЕМУ](#)
 - [ЗОЩЕНКО В 1937-м](#)
 - [ПЕДАНТ И ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН](#)
 - [ОРДЕНОНОСЕЦ](#)
 - [ДЕЗЕРТИР](#)
 - [ГРУСТНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ](#)
 - [ПОСЛЕ ПОБЕДЫ](#)
 - [ТЕАТР ЗОЩЕНКО](#)
 - [ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕАТР](#)
 - [ИСПОЛНИТЕЛЬ](#)
 - [НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ](#)
 - [ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО](#)
 - [ВЫЖИВАНИЕ](#)
 - [НЕСЛОМЛЕННЫЙ ЗОЩЕНКО](#)
 - [ПОСЛЕДНЯЯ ПОДРУГА](#)
 - [ПОСЛЕДНИЕ РАДОСТИ](#)
 - [ДРУЗЬЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ](#)
 - [УХОД](#)
 - [ЗОЩЕНКО НАВСЕГДА](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М.М. ЗОЩЕНКО](#)
 - [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
-

Валерий Попов

ЗОЩЕНКО

ЖИЗНЬ ®
**ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ**

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ
ВЫПУСК
83

ВСТРЕЧА С ЗОЩЕНКО

Впервые я услышал про Михаила Зощенко в школе. И сразу — интересное! Наша учительница литературы Зоя Александровна разносила в пух и прах сочинение нашего классного хулигана Трошкина: «Глупость, безграмотность! Ну просто Зощенко какой-то!» Класс радостно загудел: «Почитайте, почитайте!» Трошкин порой такое загибал! И Зощенко тоже меня заинтересовал: в общей скуке что-то необычное! И надежды оправдались.

Перед первым курсом нас, поступивших в институт, послали копать картошку в дальний колхоз. И лучшего нельзя было придумать. Там уж мы отпраздновали наш успех! Песни наши, явившиеся вдруг непонятно откуда, полны были вольности и дерзости. Мы наконец избавились от «торжественных школьных линеек», от невыносимых уже «образов наших современников»... И вообще — шел 1957 год, начиналась свобода.

Ах, поцелуй же ты меня, перепетуля!
Я тебя так безумно люблю!
Для тебя чем угодно рискуя —
Спекульну, спекульну, спекульну!

С этой песней мы в кузове грузовика выезжали в поле. Бывшие школьные отличники (таких на нашем курсе было большинство) вырвались на волю!

Хотелось петь запрещенные песни, по-новому говорить. Мы искали язык. И нашли его. По вечерам мы нашей компанией шли в соседнюю деревню, за четыре километра. И не на танцы! Танцы как раз были на нашей центральной усадьбе, а там — копали картошку второкурсники, и среди них был брат одного из нас. Мы входили в просторную избу, освещенную керосиновой лампой, — и ложились на матрас или на пол. Видимо, чтобы не упасть от хохота. Хозяева-второкурсники по очереди, вырывая книжонку друг у друга из рук, читали вслух Зощенко:

«Землетрясение»

Землетрясение в Крыму было, как всем известно, два года тому назад. Однако убытки только сейчас окончательно выясняются.

Конечно, официальные убытки тогда же подсчитали — два миллиона рублей. Но к этой скромной цифре надо добавить, как теперь выясняется, еще небольшую суммишку рублей этак в сто.

Как раз на эту цифру пострадал один милый человек такой, некто Снопков. Сапожник.

Он — кустарь. Он держал в Ялте мастерскую. Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую каменную халупку. И он работал со своим приятелем на пару. Они оба-два приезжие были. И производили починку обуви как местному населению, так и курсовым гражданам.

И они жили определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало. Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, времени хватало. Чего-чего другого...»

От хохота дребезжали стекла. И «словарь Зоценко» стал нашим словарем. Он помогал нам жить, дал «спасительные формулировки». Так, оказавшись в сложной ситуации, после задумчивой паузы ставили на стол бутылку, приговаривая: «Чего-чего другого, а уж это...!» И никто не спорил.

«...в пятницу одиннадцатого сентября сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись субботы, выкушал полторы бутылки русской горькой.

Тем более он кончил работу. И тем более было у него две бутылки запасено. Так что, чего же особенно ждать? Он взял и выкушал. Тем более, он еще не знал, что будет землетрясение».

И теперь у нас было оправдание для друга, совершившего ошибку, перешедшую в неприятность: «...тем более, он еще не знал, что будет землетрясение... Так что, чего же особенного было ждать?» И такая трактовка успокаивала, вселяла бодрость.

«...И вот выпил человек полторы бутылки горькой, немножко, конечно, поколбасился на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся.

Он вернулся к дому назад, лег во дворе и заснул, не дождавшись землетрясения. А он, выпивши, обязательно во дворе ложился. Он под крышей не любил в пьяном виде спать. Ему нехорошо было под потолком. Душно. Его мучило. И он всегда чистое небо себе требовал.

Так и тут. Одиннадцатого сентября в аккурат перед самым землетрясением Иван Яковлевич Снопков набрался горькой, сильно захмелел и заснул под самым кипарисом во дворе. Вот он спит, видит

разные интересные сны, а тут параллельно с этим происходило знаменитое крымское землетрясение».

Если кто-то приходил не вовремя, можно было сказать: «Ну, сходи на улицу, поколбасись немножко» — и он, не обижаясь, шел «колбаситься».

Клан любителей Зоценко, образовавшийся в институте, жил и потом. Встретить своего — значило получить шанс. Помню, мы пришли к главному конструктору одного серьезного «почтового ящика» (так назывались секретные институты), представили ему результаты испытаний их аппаратуры, проведенных нами в полевых условиях, — аппаратура показала результаты несколько неожиданные... И он был поражен. И, присвистнув, сказал: «...Та-а-ак!.. а параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение!» — и мы сразу сроднились и всё решили. Это конкретное «крымское землетрясение» мы пережили... как и Снопков.

«...Продрал свои очи наш Снопков и думает: “Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели, думает, я в пьяном виде вчерась еще куда-нибудь зашел? Ишь ты, кругом какое разрозненное хозяйство! Только не понять — чье. Нет, думает, нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь, думает, действительно чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается”».

Зоценко никогда не берет привычные слова, уже стертые и потерявшие смак — он обязательно «вывернет наизнанку» и слово, и явление — и мы видим вдруг нечто новое, и гораздо более точное. Привычнее было сказать «разоренное хозяйство»... и никакой реакции: «Что значит — “разоренное”? Кем?» А у Зоценко — «разрозненное хозяйство» — и точность созданного им слова вызывает восторг: «Вот именно — “разрозненное”! После землетрясения всё “врозь”».

«...И так ему на душе неловко стало, неинтересно. “Эва, думает, забрел куда. Еще спасибо, думает, во дворе прилег, а ну-те на улице: мотор может меня раздавить или собака может чего-нибудь такое отгрызть. Надо, думает, полегче пить или вовсе бросить”».

Именно этой фразой мы воспитывали себя: «Надо полегче пить или вовсе бросить» — и, по указанию классика, делали кто этак, а кто так.

«Стало ему нехорошо от этих всех мыслей, загорюнился он, вынул из кармана остатние полбутылки и тут же от полного огорчения выкушал. Выкушал Снопков свою жидкость и обратно захмелел».

Эта универсальная фраза годилась для многих случаев. Когда наш начальник секретного отдела в сотый раз рассказывал нам о том, как мы должны быть бдительны и как был наказан за утерю печати один сотрудник

в сороковом году, причем рассказчик постепенно приходил в экстаз — у нас была наготове фраза из Зощенко: «Выкушал Снопков свою жидкость и обратно захмелел».

Нам главное — захмелеть. Неважно от чего.

«...Тем более он не жрал давно и, тем более, голова была ослабши с похмелюги.

Вот захмелел наш Снопков, встал на свои ножки и пошел себе на улицу.

Идет он по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более после землетрясения народ стаями ходит. И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуодетые.

Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет.

“Господи, думает, семь-восемь, куда же это я, в какую дыру зашел? Или, думает, я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло. Эвон народ: раздевшись, как в тропиках”.

Идет, пьяный, и прямо чуть не рыдает.

Вышел на шоссе и пошел себе, ничего не признавая.

Шел, шел и от переутомления и от сильного алкоголя свалился у шоссе и заснул как убитый.

Только просыпается — темно, вечер. Над головой звезды сверкают. И прохладно. А почему прохладно — он лежит при дороге раздетый и разутый. Только в одних подштанниках.

Лежит он при дороге совершенно обобранный и думает:

“Господи, думает, семь-восемь, где же это я обратно лежу?”

Тут действительно испугался Снопков, вскочил на свои босые ножки и пошел по дороге. Только прошел он сгоряча верст, может, десять и присел на камушек. <...>

Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил.

Прохожий ему говорит:

— А ты чего в кальсонах тут шляешься? Снопков говорит:

— Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?

Ну, разговорились. Прохожий говорит:

— Так что до Ялты верст, может, тринадцать будет. Эва куда ты зашел!

Ну, рассказал ему прохожий насчет землетрясения и чего где разрушило и где еще разрушается.

Очень Снопков огорчился, что землетрясение идет, и заспешил в Ялту.

Так через всю Ялту и прошел он в своих кальсонах. Хотя, конечно,

никто и не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился».

И эта фраза тоже стала нашей любимой. Когда шла речь о каком-нибудь очередном ужасе нашей жизни — мы говорили, снимая напряжение, что-нибудь вроде: «...Ну, думаю, никто особенно не поразился».

Геройский человек этот Снопков! Пример стойкости! И конец — поучительный, бодрый:

«После подсчитал Снопков свои убытки: уперли порядочно. Наличные деньги — шестьдесят целковых, пиджак — рублей восемь, штаны — рубля полтора и сандалии почти что новенькие. Так что набежало рублей до ста, не считая пострадавшей будки.

Теперь И.Я. Снопков собирался ехать в Харьков. Он хочет полечиться от алкоголя. А то выходит себе дороже. Чего хочет автор сказать этим художественным произведением? Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: “Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!”

И очень даже просто».

И — подводя итог своей «довольно продолговатой» жизни, скажу так: «Зощенко спас!» Неприятности у него в руках становились смешными. Мы все пережили самые разные экономические и политические потрясения как-то так... как пережил Снопков знаменитое крымское землетрясение... Бодро! Мой сокурсник Слава Самсонов рассказывал, что мама читала Зощенко вслух в бомбоубежище, дом содрогался от взрывов, а народ хохотал.

О Зощенко принято писать в траурном стиле... Мол — «сломали», «сломался». Эх, люди! Гляньтека на себя. А Зощенко — лучше всех. И написал. И прожил. Об этом и хочу рассказать.

ДЕТСТВО ГЕНИЯ

Откуда берутся гении? Да кто их поймет! Никаких законов тут нет — можно только гадать. Ну, наверное, происхождение, родители... От этого фактора, конечно, не отмахнешься. Лучше, конечно, если отец чем-то там дирижировал. А мать, скажем, танцевала. Это всё в плюс.

Ну а там, потом, какое-нибудь еще «землетрясение» закалит характер, нарисует сюжет.

Детство гения прошло в Петербурге, где он и появился на свет — в 1894-м.

Отец Зоценко, Михаил Иванович, был художник. В журнале «Нива» славились его комические картинки с изображением украинских селян. Он делал потешные подписи под ними. Так что талант у писателя Зоценко понятно от кого. Еще отец рисовал большие картины из народной жизни, в духе передвижников, но академиком не стал, работал «мозаичистом», «лепил мозаику», и числился «неклассным художником», то есть — сильно не зарабатывал. Хотя происходил из дворян Полтавской губернии — поместья не имел. Может, прадед проиграл в карты — история об этом умалчивает. Однако кормил папа всю семью, какую нынче и академику не поднять — пятерых дочерей и трех сыновей! Но главное, что он сделал, — после нескольких поколений чиновников в их семье начал зарабатывать творчеством, подвигнув на это и сына... Хотя путь этот, как показали их судьбы, самый рискованный. Правда, по семейной легенде, основателем их рода тоже был человек творческий, иностранный архитектор, «зодчий», приехавший в 1789-м в Малороссию, получивший при крещении имя Аким. Отсюда, по легенде, из слова «зодчий» и образовалась, на украинский лад, их фамилия — Зодченко... Зоценко. Отец Зоценко умер скоропостижно, в возрасте сорока девяти лет. Матери Михаила, Елене Осиповне (Иосифовне) Суриной, на момент смерти мужа-кормильца было всего тридцать четыре года. И она, после ранней смерти мужа, вырастила восьмерых детей!

Может быть, в этом разгадка появления таланта? Когда много детей — больше шансов, что хоть одного из них «поцелует Бог»? Они все дружили между собой, помогали друг другу... Самая старшая сестра — Елена, Лелька, была веселой, энергичной, веселила всех и придумывала разные авантюры. Всю жизнь старалась помогать брату Михаилу. Но главное, чем помогла, — именно про нее, про ее проделки Зоценко написал больше, чем

про других. Остальные сестры и братья — Валентина, Юлия, Тамара, Владимир, Вера, Виталий — были хорошими людьми, жили как все. Но ни у кого из них, кроме Михаила, не было большого таланта. Судьбы их обыкновенны — в отличие от судьбы их гениального брата.

Конечно, большое влияние на него оказала мать, Елена Осиповна. Она была волевая, энергичная, веселая, талантливая — раньше была актрисой, потом стала писать сентиментально-поучительные рассказы для популярного журнала «Копейка». Первые рассказы Зоценко — подражание ей. Так что не только вырастила детей, но и «определила» — сказала самое главное, важное именно для его жизни. Михаилу она сказала так: «У тебя закрытое сердце. Как и у твоего отца!» И фраза эта поразила его, и вся его литература — попытка «раскрыть» сердце.

Стихи Миша стал писать с восьми лет. Потом были рассказы — «Пальто» и «За что?». Видимо — не шедевры. На выпускных экзаменах за сочинение получил кол! Невысоко оценила гимназия будущего писателя. Учитель перечеркнул написанное словом «Чепуха»!.. Да-а! Вот это «дебют»! А ведь он писал страстно, с душой, противопоставляя всяким там реакционным Фамусовым романтического героя! И возбудился так, что, конечно же, за какими-то там ошибками не следил! Плюнули в душу — в душу уже писательскую! Михаил даже пытался отравиться сулемой — причем сделал это прямо в здании гимназии, напоказ! Уже — «трагедию писал»! И это еще не самое суровое из того, что с ним в жизни случится, и многое — не случайно: накликать сам! Писателем становится тот, кто «насочинял» себе и беды, и горе, кого жизнь бьет с особой суровостью — и, как ни странно, он сам порой добивается этого! Счастье писателя — это его несчастья! И то, что Зоценко отравился «напоказ», — наверное, не случайно: и самоубийство он уже подсознательно рассматривал как сюжет — пусть все видят и наконец оценят его! И сюжет этот, как ни странно, оценили. Хотя что тут странного — сюжет сильный: самоубийство в стенах гимназии. И — первый «успех». Сюжет, несомненно, произвел на первых «читателей» Зоценко — чиновников из Министерства просвещения — впечатление весьма сильное: ему в виде редчайшего исключения разрешили сочинение переписать! Сыграло тут роль и вмешательство мамы: она уже настолько поднаторела в писании всяких прошений о помощи, что и тут создала очередной шедевр: «...в случае выздоровления ученика 8 класса Михаила Зоценко прошу не отказать в предоставлении ему возможности окончить курс гимназии, так как при многочисленной семье (8 человек детей) и весьма ограниченной пенсии, которую получает вдова с детьми после мужа — 600 рублей в год, он мог бы, имея аттестат об

окончании гимназического курса, начать зарабатывать средства к жизни и прийти на помощь своим малолетним братьям и сестрам».

Учись писать, Михаил! Страстное слово действует на самые черствые души! Их совместные отчаянные действия привели к тому, что аттестат он таки получил — правда, всего лишь с двумя хорошими оценками — по географии и Закону Божьему. Итак — гимназия позади. И может быть, в душе Зоценко отпечаталось: «Сильный сюжет действует даже на черствых!»

Окончив гимназию, он в сентябре 1913-го поступает в Санкт-Петербургский университет, на юридический, как все нормальные люди. Но уже в апреле 1914-го по постановлению правления университета он отчислен «за невзнос платы за весеннее полугодие 1914 года». Начинаются совсем другие «университеты». А останься он здесь, он бы только в двадцать три года начал взрослую самостоятельную жизнь — а он к этому возрасту уже успел страх как много. Как в старой русской сказке — для того чтобы преобразиться, Иванушка должен прыгнуть в котел с кипятком, а иначе таким же Иванушкой-дурачком и останется.

Сначала он уехал как бы на заработки — вернуть университету долг. И по дороге на Кавказ, в Москве, после посещения церкви, он сочиняет рассказ «Двугривенный», первый из сохранившихся. Рассказ был в стиле газеты «Копейка», в которой активно печаталась его мать: о том, как нищенке показалось, что нашла на полу церкви двугривенный, а это оказался плевок. Искренность сочувствия страждущим тут несомненна — но до настоящего Зоценко еще ох как далеко!

Однако с ним уже и тогда «происходят» настоящие его рассказы... или, может, куски рассказов, которые потом пригодятся. Кусок... потом еще — кусок. И глядишь — одеяло! У писателя ничего не пропадает. Сестра Леля, с которой он дружил больше всех, еще в детстве «натворила» немало рассказов. Вот, например!.. Правда, записанный Зоценко через много лет после детства:

«Находка»

Однажды мы с Лелей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука.

Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку. Положив

этот пакет возле тумбы, мы с Лелей спрятались в кустах нашего сада и, давась от смеха, стали ждать, что будет.

И вот идет прохожий.

Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы: он нашел коробку конфет — это не так-то часто бывает в этом мире.

Затаив дыхание, мы с Лелей смотрим, что будет дальше.

Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, еще того более обрадовался.

И вот крышка открыта. И наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего.

Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя.

Тут мы с Лелей стали так смеяться, что повалились на траву.

И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону и, увидев нас за забором, тотчас все понял.

В одно мгновение он ринулся к забору, одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить.

Мы с Лелей задали стрекача.

Мы с визгом бросились через сад к дому.

Но я запнулся о грядку и растянулся на траве.

И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо.

Я громко закричал. Но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада.

На крики и шум прибежали наши родители.

Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошел к родителям и пожаловался им на то, что было.

Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его.

И Леля уже было кинулась за дворником. Но папа остановил ее. И сказал ей и маме:

— Не зовите дворника. И не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое.

Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему:

— Ты ужасный эгоист!

И мы с Лелей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потерял свое ухо и заплакал. И Лелька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе:

— Вместо того чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей

до слез, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я этого не вижу. И все расцениваю как невинную детскую забаву.

И папа не нашелся, что ответить. Он только сказал:

— Вот дети вырастут большими и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо».

И это происшествие зацепилось в еще детской, но уже — писательской голове и ждало случая... И вот — случай: происшествие это сцепилось с другим, произошедшим уже после гимназии:

«...И вот проходили годы. Прошло пять лет. Потом десять лет прошло. И наконец прошло двенадцать лет.

Прошло двенадцать лет, и из маленького мальчика я превратился в молодого студентика, лет этак восемнадцати.

Конечно, я забыл и думать об этом случае. Более интересные мысли посещали тогда мою голову. Но однажды вот что произошло.

Весной, по окончании экзаменов, я поехал на Кавказ. В то время многие студенты брали на лето какую-нибудь работу и уезжали кто куда. И я тоже взял себе должность — контролера поездов.

Я был бедный студентик и денег не имел. А тут давали бесплатный билет на Кавказ и вдобавок платили жалованье. И вот я взял эту работу. И поехал.

Приезжаю сначала в город Ростов, для того чтобы зайти в управление и получить там деньги, документы и щипчики для пробивания билетов.

А наш поезд опоздал. И вместо утра пришел в пять часов вечера.

Я сдал мой чемодан на хранение. И на трамвае поехал в канцелярию.

Прихожу туда. Швейцар мне говорит:

— К великому сожалению, опоздали, молодой человек. Канцелярия уже закрыта.

— Как так, — говорю, — закрыта. Мне же надо сегодня получить деньги и удостоверение.

Швейцар говорит:

— Все уже ушли. Приходите послезавтра.

— Как так, — говорю, — послезавтра. Тогда лучше уж я завтра зайду.

Швейцар говорит:

— Завтра праздник, канцелярия не работает. А послезавтра приходите и все, что надо, получите.

Я вышел на улицу. И стою. Не знаю, что мне делать».

Что делать писателю, когда он один в чужом городе, и к тому же без копейки? Как — что делать?! Делать рассказ!.. Пока что — не на бумаге, а в жизни...

«Впереди два дня. Денег в кармане нет — всего осталось три копейки. Город чужой — никто меня тут не знает. И где мне остановиться — неизвестно. И что кушать — непонятно.

Я побежал на вокзал, чтобы взять из моего чемодана какую-нибудь рубашку или полотенце для того, чтобы продать на рынке. Но на вокзале мне сказали:

— Прежде чем брать чемодан, заплатите за хранение, а потом уж его берите и делайте с ним что хотите.

Кроме трех копеек, у меня ничего не было, и я не мог заплатить за хранение. И вышел на улицу еще того более расстроенный.

Нет, сейчас бы я так не растерялся. А тогда я ужасно растерялся. Иду, бреду по улице неизвестно куда и горюю.

И вот иду по улице и вдруг на панели вижу: что такое? Маленький красный плюшевый кошелек. И, видать, не пустой, а туго набитый деньгами.

На одно мгновение я остановился. Мысли, одна другой радостнее, мелькнули у меня в голове. Я мысленно увидел себя в булочной за стаканом кофе. А потом в гостинице на кровати, с плиткой шоколада в руках.

Я сделал шаг к кошельку. И протянул за ним руку. Но в этот момент кошелек (или мне это показалось) немного отодвинулся от моей руки.

Я снова протянул руку и уже хотел схватить кошелек. Но он снова отодвинулся от меня, и довольно далеко.

Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку.

И вдруг в саду, за забором, раздался детский хохот. И кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели.

Я подошел к забору. Какие-то ребята от хохота буквально катались по земле.

Я хотел броситься за ними. И уже схватился рукой за забор, чтоб перепрыгнуть. Но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни.

И тогда я ужасно покраснел. Отошел от забора. И, медленно шагая, побрел дальше.

Ребята! Все проходит в жизни. Прошли и эти два дня.

Вечером, когда стемнело, я пошел за город и там, в поле, на траве, заснул.

Утром встал, когда взошло солнышко. Купил фунт хлеба на три копейки, съел и запил водичкой. И целый день, до вечера, без толку бродил по городу.

А вечером снова пришел в поле, и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок, как собака.

Рано утром на другой день я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия.

И вот она открыта. Я, грязный, взлохмаченный и мокрый, вошел в канцелярию.

Чиновники недоверчиво на меня посмотрели. И сначала не захотели мне выдать деньги и документы. Но потом выдали.

И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ».

Оказалось, что не так легко сделался он контролером... Но это и хорошо! Злоключения — писательский хлеб!

На Кавказе Михаил работает контролером — эта должность считалась среди студентов престижной. Но и тут — происшествия... Ставшие — литературой.

«Кисловодск. Я выхожу на платформу... Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир.

— Коллега, — говорит он мне (хотя он не студент), — на пару слов... В другой раз вы не пробивайте щипчиками билеты, а возвращайте мне...

Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде.

Я растерянно бормочу:

— Зачем?.. Для того чтоб вы их... еще раз продали?..

— Нуда... У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими... Доход пополам...

— Мерзавец!.. Вы врете! — бормочу я. — Со всеми?

Кассир пожимает плечами.

— Ну, не со всеми, — говорит он, — но... со многими...

Резко повернувшись, я ухожу... Я удивлен больше чем когда-либо в жизни».

И этот эпизод, случившийся в его жизни, Зошенко вспомнил и вставил в одну из своих книг. Такой «набор происшествий», пережитых и запечатленных в душе, — главное для писателя. С кем ничего не случается — вряд ли что-то напишет. А к Зошенко, словно уже чувствуя его талант, «липнут происшествия» — причем именно «зощенковские»!

Рядом с комнатой Зошенко на кавказской станции Минутка поселяется некая Эльвира, цирковая артистка, приехавшая сюда вслед за генералом, с которым у нее была короткая связь. Зошенко по ее просьбе пишет генералу письмо, и такое чувствительное, что генерал сразу присылает Эльвире деньги... Эльвира получила деньги, а Миша Зошенко — сюжет будущего

рассказа «Веселая жизнь», уже почти зощенковского... Но созрел он не сразу. А пока — 18 августа 1914 года он подает прошение вновь зачислить его в университет и вносит деньги. Но 12 сентября ему возвращают документы и деньги, «как не принятому в Санкт-Петербургский университет». Почему так? Как написал бы уже зрелый Зощенко: «Что за неперка за шесть гривен?» За что такая напасть? Может быть, повлияла довольно небрежная его учеба в первый год? Но как ни странно — это соответствовало его тайным желаниям. Зощенко жаждет чего-то более бурного, чем опостылевшая уже учеба. Детство кончилось. Вернее — он сам его резко оборвал... «А чего особенно было ждать?»

ЧТО НАШЕЛ НА ВОЙНЕ?

«И тут, — пишет Зоценко в книге, — слава Богу, началась Первая мировая война!» Звучит это слегка кощунственно, но правдиво, как всегда у него... Многим молодым людям, уже подзапутавшимся в жизни, война кажется спасением — уж военные испытания «выжгут» все лишнее, все разъяснят, определяют характер! Гениально сказано у Пушкина: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат!»

Еще на Кавказе чуть не состоялась его дуэль с известным правоведом К., после чего он почувствовал себя отъявленным смельчаком... 29 сентября 1914 года в Петрограде Михаил поступает в Павловское (аристократическое!) военное училище на ускоренные четырехмесячные курсы военного времени юнкером рядового состава на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. 5 января 1915-го переведен в юнкера унтер-офицерского звания. 1 февраля он окончил курсы и произведен в подпрапорщики (самый низший офицерский чин) с зачислением по армейской пехоте. Жизнь (которую он сам выбрал) гонит его «в самую гущу», где горячее всего. Как и Лев Толстой, он выбирает войну. Наверное, это лучшая школа. Если прочитать первый вариант «Героя нашего времени» Лермонтова, можно прийти в полное изумление: бессмысленные страдания молодого позера! Тот ли автор? И вот — изучаемый в школе «Герой нашего времени», написанный уже повоевавшим автором: все напряжено и звенит как струна! Война выжигает все лишнее и фальшивое, оставляя главное.

Двенадцатого марта 1915 года юный Зоценко прибыл для прохождения службы в Мингрельский 16-й гренадерский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк Кавказской дивизии.

Зоценко пишет о том, что судьба его берегла. Война на этом участке, в Западной Белоруссии, носила в основном позиционный характер — кровопролитных наступательных и отступательных операций здесь не было. Но и сама жизнь на позициях была непроста. Самое главное — Зоценко именно на войне нашел своих главных героев, в университетских аудиториях он бы вряд ли их повстречал.

Два солдата режут свинью. Свинья визжит так, что нет возможности перенести. Я подхожу близко.

Один солдат сидит на свинье. Рука другого, вооруженная ножом, ловко вспарывает брюхо. Белый жир необъятной толщины расплывается на обе стороны.

Визг такой, что впору заткнуть уши.

— Вы бы ее, братцы, чем-нибудь оглушили, — говорю я. — Чего же ее так кромсать.

— Нельзя, ваше благородие, — говорит первый солдат, сидящий на свинье. — Не тот вкус будет.

Увидев мою серебряную шашку и вензеля на погонах, солдат вскакивает. Свинья вырывается.

— Сиди, сиди, — говорю я. — Уж доканчивайте скорей.

— Быстро тоже нехорошо, — говорит солдат с ножом. — Крайняя быстрота сало портит.

С сожалением посмотрев на меня, первый солдат говорит:

— Ваше благородие, война! Люди стонут. А вы свинью жалеете.

Сделав финальный жест ножом, второй солдат говорит:

— Нервы у их благородия».

Зощенко все выдержал. Стал отважным, опытным офицером. Себя, однако, не уберег. Да не очень это было и принято: беречь себя на войне. Лучше потерять жизнь, чем честь! «Обычная жизнь прапорщика на позициях — две недели», — меланхолично записал Зощенко. Получив команду — прорвать с его взводом оборону противника, он подползает с солдатами к колючей проволоке, они пытаются ее перерезать — но ураганный огонь прижимает их к земле. Зощенко получает ранение в ногу осколком снаряда. Приходит приказ — отойти. Командир полка благодарит Зощенко. Оказывается, они сделали именно то, что надо, — отвлекли внимание противника, а все главное произошло на соседнем участке. 17 ноября 1915 года «За отличные действия против неприятеля» Зощенко награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 22 декабря назначен на должность начальника пулеметной команды. Это значительное повышение. Пулеметы тогда были оружием новым, стоили очень дорого, и доверить командование ими могли только очень способному, ответственному офицеру. Таким Зощенко и стал.

Одиннадцатого февраля 1916 года он награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Никаких подвигов он перед этим не совершал — служил, «тянул лямку». И второй орден получил просто за

успешную службу и, как говорится, «вдогонку» первому. Для таких случаев этот «орден», Святой Анны 4-й степени, и был предназначен, и серьезным не считался. Он был маленький, красного цвета и имел насмешливое прозвание «клюква». Его слегка небрежно крепили на эфесе шашки и носили там. И Зоценко, как всякий бывалый, лихой офицер, поступил так же.

Уже в качестве «героя войны», с двумя орденами, он приезжает в отпуск в Петроград, в надежде встретиться со своей первой любовью, с которой еще гимназистом целовался у памятника «Стерегающему», в сквере на Петроградской... Он и пошел на войну ради того, чтобы появиться перед ней вот таким — мужественным, отмеченным наградами, и притом — с грустью в глазах! Но грусть его еще усиливается, когда он... встречает ее под руку с женихом: первая его любовь, красавица Русанова-Замысловская выходит замуж. На другой день Зоценко выезжает обратно в полк. Горячность, импульсивность свойственны Зоценко, и не только молодому. Фотография первой его возлюбленной всю жизнь будет стоять у него на бюро.

Девятого июля его производят в подпоручики. Вероятно, он лучший офицер: именно он замечает у неприятеля за линией фронта появление каких-то странных блиндажей, не похожих на обычные, и дважды посылает рапорты начальству, полагая, «что эти блиндажи для штурмовых орудий или пулеметов»... Сигнал остается без внимания. Начальство, как всегда, равнодушно и высокомерно. Низшие чины не смеют им указывать, на что нужно обратить внимание... И из-за этого жизнь Зоценко ломается самым ужасным образом.

«Двадцатое июля»

...Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письмо.

Уже около часа. Надо ложиться. Я хочу позвать вестового. Но вдруг слышу какой-то шум. Шум нарастает. Я слышу топот ног. И звяканье котлов. Но криков нет. И нет выстрелов.

Я выбегаю из землянки. И вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы!.. Маски!..» И бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз.

Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы...»

Глотнув газов, Зоценко погубил свое здоровье навсегда: «Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу...»

После Первой мировой войны химическое оружие было запрещено и во время Второй мировой не применялось вообще. В Первой мировой применялись считанные разы... и под одну из этих газовых атак попал Зоценко. «Везет, как утопленнику!» Он же предупреждал о тех таинственных блиндажах, где оказались баллоны с газом!.. Но — не помогло, начальство пропустило мимо ушей. Пытался спасти людей, крикнул «Противогазы!» — и «глотнул смерти», и едва выжил, но здоровье погубил. Но почему же не услышали его раньше? Ему есть за что обижаться на жизнь!

Его награждают орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами и направляют в госпиталь.

Узнав, что у него еще и порок сердца, он тем не менее возвращается на позиции. За те болезни, что «подарили» ему, и так же, очевидно, «за рвение» — ведь он же «предупредил» о газовой опасности, его вновь «отмечают» — орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами и бантом! У нас так: нужно, чтобы человек тяжело пострадал, после чего его награждают — «с чувством глубокого удовлетворения»... Командир полка князь Макаев делает Зоценко, которого он называет «мальш», своим адъютантом. Потом Зоценко становится командиром роты, потом — батальона, произведен в штабс-капитаны. Это — 1916-й, Зоценко двадцать два года!

Есть что изучать в его жизни. У Зоценко очень много талантливых исследователей. Рассмотрен, изучен каждый листок — и не только рукописей. Вот эти важны не менее: хранимые в музее листки из «Полевой книжки» Зоценко, когда он занимал должность командира 4-й роты. Видно, сколько у него забот. На маленьких страничках и — черновик рапорта командиру батальона о гибели гренадера Василия Полякова, находившегося в разведке и убитого разрывной пулей в голову, и набросок заявления заведующему оружием с просьбой выдать вторую ракетницу, поскольку первая пришла в негодное состояние, и отчет о произведенной разведке, и записи по дислокации (до позиций противника 1600 метров), и расписание солдатских отпусков — солдаты имели право на отпуск для посещения семьи, и это тоже было «на его совести» — кого, когда и на сколько отпускать. И это при том, что солдаты были зачастую намного старше его, и поддерживать с ними нужный тон было непросто. Солдаты между собой называли его — «внучок».

При этом он еще сочинял эпиграммы на офицеров, довольно дерзкие

(и одновременно какие-то детские):

Василий Николаевич — командир батальона.
Доволен судьбой своей чрезмерно,
И предложи ему два миллиона,
Он не возьмет их — уж это наверно.

А вот — на полковника Трухачева:

С начальством мил, и с нами прост.
Нельзя сказать, чтоб был прохвост.
Фамилья только подкачала.
Труха... — пойми сначала.
На это каждый мне ответит:
Фамилей бог и шельму метит.

Чем-то он напоминает Лермонтова — чьи шутки и насмешки над офицерами, как известно, не довели его до добра. Проявляется насмешливый, даже ядовитый характер Зощенко — позже это его качество, как соль, войдет в лучшие его рассказы. Вот итоги его службы, приведенные им самим в книге «Перед восходом солнца»:

«В девятнадцать лет я был уже поручиком. В двадцать лет — имел пять орденов и был представлен в капитаны. Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях».

Вот перечисление его орденов:

орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом;
орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»;
орден Святого Станислава 2-й степени с мечами;
орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

В январе 1917-го он был представлен к званию капитана и к ордену Святого Владимира 4-й степени — но ни звания, ни ордена получить не успел. Прежняя жизнь рушилась. Города были охвачены революционными беспорядками. Почти все слои общества, включая буржуазию и интеллигенцию, выступали против монархии. Случалось, иные члены Государственной думы не подавали руку государю, когда он протягивал им свою. 22 февраля, уезжая из Петрограда в Ставку — в Могилев, царь передал главе правительства князю Н.Д. Голицыну высочайший указ о

ропуске Государственной думы с правом поставить дату по его усмотрению. На следующий день в столице вспыхнули продовольственные волнения, переросшие в демонстрации (ходили слухи, что за бунтом стоят те же думские депутаты). В конце концов под давлением Думы 2 марта Николай II подписал отречение от престола. Большевистским агитаторам удалось довольно быстро разложить действующую армию: врагами теперь считались свои же офицеры, а с немцами солдаты, выходя из окопов, братались. Зощенко орденов никогда не носил — из скромности. Да и жизнь уже пошла такая, что лучше было их не носить. Их могли сорвать, вместе с погонами, и после этого расстрелять. Зощенко боевыми заслугами никогда не бахвалился. Но когда литературные палачи называли его трусом и дезертиром — ему было что ответить.

Мировая война для России ничем хорошим не кончилась. Более того — перешла в революцию... Война навсегда погубила здоровье Зощенко. Вот одно из первых впечатлений о Зощенко, записанное Чуковским в дневник 24 мая 1921 года:

«Вчера вечером в Доме Искусств был вечер “Сегодня”, с участием Ремизова, Замятина — и молодых: Никитина, Лунца и Зощенко. <...> Зощенко — темный, больной, милый, слабый, вышел на кафедру (т.е. сел за столик) и своим еле слышным голосом прочитал “Старуху Врангель” — с гоголевскими интонациями, в духе раннего Достоевского. <...> Жаль, что Зощенко такой умирающий: у него как будто порвано все внутри. Ему трудно ходить, трудно говорить: порок сердца и начало чахотки».

С началом революции все его военные награды не только потеряли значение — о них стало опасно вспоминать. Зощенко сохранил ордена и даже фотографии, где он, то совсем еще юный, то уже возмужалый, снят в форме офицера царской армии. Однако на одном снимке, групповом, где он изображен с офицерами своего полка, его рукой сделана надпись: «“Золотопогонная сволочь” в 1916 году на фронте. Господа офицеры Мингрельского полка Кавказск. Гренад. дивизии. Я командир батальона. В центре. Группка идеологически не выдержана. Наша молодая общественность простит меня — был очень молод! В то время мне не было 20 лет. М. Зоц.». (Если быть точным, в 1916-м ему исполнилось 22 года.)

Он как бы просит прощения за то, что воевал! Но, скорее, надпись эта отдает мрачной иронией. Зощенко не зря «сходил на войну». Он вынес оттуда самое ценное: сильный жизненный материал, и что еще важнее — свой, неповторимый стиль. Из всего этого и выросла первая его книга «Похождение Назара Ильича, господина Синебрюхова» (1922), принесшая ему первую славу. На войне родился писатель Зощенко — и в

«Синебрюхове» та же газовая атака описана уже по-зоценковски, лукаво и насмешливо... не зря он на позициях упражнялся в эпиграммах. И вот — уже зоценковский текст: «Немец хитрая сука, но и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют право осесть на огонь... только прошел газ, видим — живые!»

Зоценко «вынес» с войны своего «народного героя», этакого русского Швейка, они «оба-два» с Синебрюховым «солдаты первой мировой»...

И что важно еще — на войне Зоценко выковал характер, из мальчика стал мужчиной, твердым и решительным. И это немаловажно: впереди были тяготы еще те!

ВЕНОК, СПЛЕТЕННЫЙ ИЗ СТАРЫХ НЕЛЕПОСТЕЙ

Зоценко, в военной шинели, но без погон, возвращается в Петроград. Февральскую революцию 1917 года русская интеллигенция, к которой Зоценко себя причислял, считала торжеством свободы, все носили красные банты. Зоценко, после тесного общения с народом в окопах, уже представлял, к чему приведет нынешняя «свобода»... Но надо было как-то осваиваться.

«Самая пышная должность у меня была в 17-м году, — напишет он позже, в 1927-м, в биографической заметке «О себе». — После Февральской революции. Я был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Мне полагалась тогда лошадь. И дрожки. И номер в “Астории”.

Я на полчаса являлся в Главный Почтамт, небрежно подписывал бумажки и лихо уезжал в своих дрожках.

При такой жизни я встречал множество удивительных и знаменитых людей. Например, Горького. Шаляпина как-то раз встретил у Горького».

«Мишка-башлык» — так называли Михаила Зоценко друзья из-за его привычки носить армейский белый башлык, чрезвычайно эффектно оттенявший смуглую южную красоту героя-фронтовика. В марте 1917 года на одной из вечеринок «хорошего общества», в котором Зоценко, герой и красавец, был желанным гостем, он познакомился с юной красавицей Верой Кербиц-Кербицкой, впоследствии ставшей его женой. Она была дворянка, натура тонкая, артистическая.

Каждая юность имеет свой стиль — навеянный, как правило, модным писателем. Помню, как мы ходили с суровыми лицами и с поднятыми воротниками, чувствуя себя героями то Ремарка, то Хемингуэя. Романтизм, столь необходимый юношеству, в семнадцатом году диктовали, как это ни странно, не Маркс и не Энгельс, а малоизвестные сейчас Вербицкая, Каменский, Арцыбашев и некоторые другие писатели, в чьих сочинениях благоухали «культ земных наслаждений», «культ тела», чувственная любовь и прочее в этом духе. И Зоценко отдал дань этой моде.

«О чем бы ни писал он тогда, — поведала в своих дневниках Вера Владимировна Кербиц-Кербицкая, — в его рассказах, новеллах, сказках, миниатюрах всегда присутствовала тема любви... Каждое письмо имело

свое название, как художественное произведение: “Гимн придуманной любви”, “Дайте мне новое”, “Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа...”. Это были как бы стихотворения в прозе».

Вот один из шедевров тех лет, написанных... даже не хочется говорить — Зоценко. Скажем так — влюбленным (и более всего — в «изящный стиль») молодым Михаилом:

«Вместе с осенью пришло что-то новое... Какая-то тревога, может быть, печаль. А часто апатия, почти умирание... И капли дождя, что бьют по стеклу, — беспокоят...

Что они напоминают?

Да, слезы и Вашу печаль...

Помните, как Вы ждали осени? И вот пришла осень. Вот она, такая скучная и дождливая. Печальная. Пришла и покорила Вас, как покоряли уже и белые ночи, намеки ночей, и летнее небо, и даже белые цветы яблони...»

Да-а... В 1917 году герой Зоценко еще не стал тем полуграмотным водопроводчиком, которого так полюбили массы, особенно после того, как он неудачно сходил с одной аристократкой в театр.

Впрочем, новая жизнь уже вносит некий динамизм в прежнюю затхлую атмосферу будуаров и дворцов. Зоценко меняет содержание рассказов. В рассказе «Сосед» именно сосед оказывается важным действующим лицом — в прежней «красивой жизни» люди жили более «разрозненно», а тут — сосед по коммуналке, когда надо, оказывается под рукой. «Когда надо» — это когда молодая жена решает изменить своему престарелому мужу. Сюжет тут, надо сказать, довольно смелый, с неожиданным финалом — Зоценко уже понимает, что действие должно увлекать, шокировать, опрокидывать прежнее, застоявшееся... Муж, узнав про измену, не укоряет жену, а чуть ли не поощряет, и даже — подсматривает! И обретя на фоне этих впечатлений прежнюю мужскую силу, властно возвращает себе жену. Рассказ, можно сказать, позитивный — и муж, и жена довольны финалом. Да — новые времена требуют нового. В рассказе «Актриса» тоже — неожиданный поворот:

«Дикий разгул и пьяная пляска... и высматривают случайную женщину. Хватают своими руками и куда-то несут с радостным воплем... Актриса дерзко и вызывающе смотрит им всем в глаза. Вот так. Что же они не трогают? Не хватают и не тащат... один солдат только грубо и больно толкнул ее в спину. Ай!.. И больше ничего...»

Рассказ этот имеет дату — 5 июля 1917 года, Петроград.

Да — новая реальность тут, безусловно, отражена. И уже есть

зоценковская горькая насмешка: «Да, насилюют... Но совсем не тех, кто этого хочет!»

Однако в рассказе этом стара не только героиня — стар язык, напыщен и банален. «Смотрели солдаты на нее недоверчиво и изумленно...» Както слово «изумленно» не очень подходит для солдат. Можно подумать, что это писал не тот знаменитый Зоценко, которого мы знаем наизусть, а его какой-то слабый однофамилец.

Уехав из опасного и голодного Петрограда в Архангельск — по военной командировке, адъютантом дружины, — пишет Вере Владимировне в прежнем стиле:

«...А с тоской сплелось сожаление. Сожаление о неслучившемся. Я метался по комнате и просил Бога, и как-то нелепо, неумело... Здесь, на Севере, одинокая могила моей юности. И здесь же венок, сплетенный из милых, старых нелепостей!

Как жаль мне своей юности!..»

Однако жизнь, похоже, не так безнадежна. Вот отрывок из его письма матери:

«...Но что это?

По-прежнему смеялись радостно гимназистки и глазки приятные делали, по-прежнему дамы, ухмыляясь чрезвычайно, кого-то прочили, что-то советовали...»

Зоценко, молодого красавца, офицера, естественно, сватали. Прежняя жизнь еще тянула к нему свои жадные руки. То соблазняла шикарная вдова, то прочили ему дочь богатого рыботорговца (или, может, работоторговца), то француженка почти уже устроила их бегство в Париж. Но капризного Зоценко все это «не вдохновляло». Что же влекло его?

Отвергнув все соблазны «красивой жизни», он 31 марта 1918 года, получив, наконец, разрешение, возвращается в Петроград, где уже правят большевики... Теперь у него один путь — стать новым писателем в новой стране.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

На вечере памяти Михаила Зощенко в Сестрорецке в 2013 году популярный, любимый зрителями «усач», актер Панкратов-Черный, замечательный исполнитель произведений Зощенко, рассказал многочисленным поклонникам Зощенко такую историю. Дед его был родом из казаков, служивших в Петербурге, охранявших царя и самодержавие, после революции уехал в Сибирь. В доме деда будущий актер нашел книги Зощенко, с увлечением читал. Потом задал деду вопрос: «Кто это — Зощенко? Откуда?» «Из перебежчиков! — сказал ему дед. — Был наш, служил Отечеству. Потом перебежал к большевикам».

Зощенко нелегко дался «выбор читателя», переход на сторону «простого народа». Вера Владимировна Кербиц-Кербицкая происходила из знатной семьи с польскими и немецкими корнями, окончила в 1916 году Петровскую гимназию с медалью и после нее два класса Педагогических курсов; в гимназии слыла первой красавицей и, безусловно, оставалась душой там, в прошлом.

«...Я помню темный вечер в холодной нетопленной комнате... слабый свет лампадки... Передо мной — груда старых писем. И я плакала — от тоски по прошлому, от моего одиночества... Пришел Михаил... Увидел мои слезы — “У вас, кажется, плохое настроение!” — повернулся на каблуках и ушел... Вместо того, чтобы спросить, в чем дело, пожалеть, утешить, приласкать... Михаилу невыносима была печаль. Невыносимы были слезы».

Да. Слезы о прошлом были невыносимы ему. Над прошлым нынче полагалось смеяться!

Мать Веры, Ольга Сергеевна, была выслана после революции в Арзамас, «за связь с попами»... Ее младший брат Борис учился в петербургском кадетском корпусе, но потом, пытаясь спрятаться, окончил курсы бухгалтеров, женился... И тем не менее в 1924 году вместе с женой был репрессирован и сослан на десять лет на строительство Беломорско-Балтийского канала. После чего был поражен в правах, жил в Малой Вишере, и в 1937-м был вновь арестован. Саму Веру Владимировну в 1924 году в результате «чистки» выгоняют из университета. И вот — с таким грузом на душе, с таким «комом несправедливости», обрушившимся на его близких, Зощенко все же принимает бесповоротное решение — стать советским писателем, писать не для «бывших», а для новой реальности. И

даже в 1933 году, когда надо было поехать на писательском пароходе на Беломорканал, где мучился младший брат его жены, он поехал. Мы не знаем, каких усилий стоило Зоценко его «перерождение», но, наверное, и в этом причина его постоянных страданий, мучительной меланхолии.

Да, Зоценко твердо решил — писать только о новой жизни и по-новому: ни прежней жизни, ни прежних читателей уже не будет! Да, старый мир «прикончили»... Но кто — победитель? С кем «пирровать»? Опечатка случайная, и тем не менее, наверное, правильная. Именно «пирровать»!.. На всякий случай поясню: подразумевается историческая пиррова победа — больше похожая на поражение. Старый мир прикончили. Но кто — победитель?

В рассказе «Любовь» Гришка Ловцов (фамилия весьма характерная), «кончивший» какую-то барскую усадьбу и прогуливающий денежки, уводит еще и жену у «длинноусого» рыхлого интеллигента. Зоценко и сам такой — рыхлый интеллигент. И у него тоже порой «уводят жену» (о ее романах известно немало). У нее тоже появляются поклонники, например, пролетарский поэт Василий Князев, говоря прежним языком — «хам», которого не удерживают ни правила, ни приличия. Как же чувствует себя Зоценко среди этих «новых героев»? Внешне ведет себя сдержанно (даже громких скандалов Вере не устраивает) и пишет «про них» — завоевателей, варваров.

Герой рассказа «Гришка Жиган» — ловкий конокрад, который, даже будучи пойман мужиками на ярмарке с краденой лошадью, ловко выкручивается, хитро играя словами — зоценковская виртуозность языка тут уже, безусловно, есть. Так кому Зоценко отдает свой дар? Им, ворами и грабителям! Вот кусок:

«А купчик медлил и спрашивал:

— Ну, а она, боже сохрани, не краденая?

— Краденая? — обижался Гришка. — Эта-то лошадь краденая? У краденой лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь всегда глазом косит. Атут, обратите внимание, какой взор. Чистый, королевский взор. И масть у ней королевская».

А когда Гришку ловят мужики и хотят убить, «заговаривает» их, почти до восхищения, и мужики поддаются:

«Соврал, собачий хвост. Как пить дать, соврал. А ведь каково складно вышло. Ах ты, дуй его горой! Такого и бить-то жалко!»

Зоценко своим талантом спасает, выгораживает этих «героев» — так, что их и бить-то жалко! И в этом одна из причин его популярности среди весьма разношерстной публики, составляющей народ.

Надо сказать, что в 1918-м, вернувшись из Архангельска в Петроград, Зощенко какое-то время работал подмастерьем в сапожной мастерской.

«Я сижу на низеньком табурете. На моих коленях чей-то потрепанный сапог. Рашпилем я подравниваю только что прибитую кожу подметки.

Я — сапожник. Мне нравится эта работа. Я презираю интеллигентский труд — это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходят меланхолия и хандра.

Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть.

Напротив меня, за низким грязным столом, сидит хозяин Алексей Алексеевич — толстый сапожник в никелированных очках. Рядом с ним его племянник — подросток Андрюшка. Они оба работают сосредоточенно.

Подросток не без лихости бьет молотком по подметке.

Позади, на деревянном диване, — белобрысый хозяйский сын. Оболтусу двадцать лет. Он поступает в консерваторию, на класс скрипки. По этой причине он не работает. Он сидит с газетой в руках.

Засмеявшись, подросток Андрюшка начинает рассказывать историю о том, как летом один жилец свалился из окна второго этажа. Выпив денатурату, он заснул на подоконнике и, потянувшись во сне, упал в сад. Побился, но не убился.

Третью неделю я каждый день слышу эту историю. Тем не менее все смеются. И я тоже смеюсь — это почему-то смешно».

Герои Зощенко — вот они! Но все же молоток в руках вместо пера — не совсем то. Как говорил Горький — «Повар сам не обязан вариться в супе». Надо быть с поварешкой рядом с кипящим супом — но все же сохранять некоторую дистанцию. В июне 1918 года Зощенко поступает телефонистом в пограничную охрану Стрельна — Кронштадт. Руки заняты, но все же не так, как в сапожном деле — можно писать. Он пишет о бедноте, о деревне... но языком прежним, из прежней жизни. Похоже, Ницше, Уайльд, Пшибышевский — все еще его кумиры! Он пишет о безвольном Керенском и о «чудесной дерзости» большевиков, которые, ни перед чем не останавливаясь, взяли власть. Он посылает свое творение — рассказ «Чудесная дерзость», подписанный псевдонимом М.М. Чирков, в «Красную газету». Зощенко восхищен «чудесной дерзостью» большевиков, перевернувших Россию. Зощенко ходит на Конногвардейский бульвар, вскоре ставший бульваром Профсоюзов, где расклеивают «Красную газету», и регулярно читает отдел, который называется «Почтовый ящик».

Тут надо сделать некоторое замедление и разъяснить ситуацию тех дней. Не только из скромности он послал свое произведение под псевдонимом. С 6 сентября 1918 года в той же «Красной газете» под

рубрикой «Ответ на белый террор» печатались списки «заложников», среди которых было немало бывших офицеров царской армии. Брать заложников стали после убийства Урицкого и покушения на Ленина. Людей хватали без разбора — точнее, все же с разбором, предпочитая «бывших», — и в случае какого-то враждебного выступления против властей всех заложников расстреливали. Так что фамилия Зоценко, офицера царской армии, не должна попадаться на глаза — большевики запросто, с «чудесной дерзостью», могут схватить и расстрелять. И вот однажды «М.М. Чирков» с содроганием читает в «Почтовом ящике»: «М.М. Чиркову. — Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри». Раскусили, какой это М.М. Чирков! Хвалит большевиков — а язык-то прежний, дворянский! Их не проведешь!.. Видимо, не только из-за страсти к путешествиям Зоценко вскоре уходит «в отпуск по болезни» с должности телефониста пограничной охраны Стрельна — Кронштадт и уезжает к сестре Елене (той самой Лельке) в усадьбу Маньково в Смоленской губернии, где в бывшем поместье ее мужа она работает в сельсовете. Это скорее похоже на бегство. Таково первое движение от соприкосновения Зоценко с советской печатью: бежать! Засветившись в одной из рубрик «Красной газеты», он может легко появиться в той же газете в списке расстрелянных — за «бывшими» явно ведется целенаправленная охота. Многие исследователи — да и сам Зоценко — искали причины угнетенного состояния его психики. Но, кроме глубинных причин, подействовали, видимо, и причины простые и реальные — страшновато увидеть грубый отзыв в свой адрес (пусть и под псевдонимом), рядом со списками заложников-смертников. Такое может подорвать спокойствие навсегда.

Намек насчет излишней изысканности «сыра бри» в данной политической обстановке он понял.

И вскоре в его рассказе «Я очень не люблю Вас, мой господин» — весьма напыщенном, вдруг мелькает уже чисто зоценковская фраза: «Сегодня возбужу вопрос с точки зрения».

К сестре Елене Зоценко съездил скорее неудачно. Еще в детстве Лелька, как ее звали в семье, командовала братьями и сестрами. Отчаянно смелая и практичная, склонная к авантюрам, только она могла устроиться в бывшем имении родителей своего мужа, погибшего белого офицера, на должность секретаря сельсовета и умудриться еще как-то владеть ситуацией, командовать людьми, устраивать нужных людей (в данном случае, младшего брата) на службу, когда повсюду царила безработица. Естественно, что измученный Михаил потянулся к ней в надежде найти

защиту «под крылом» старшей сестры, которая, казалось, нигде не пропадет и везде найдет выход. Лелька и позже спасала его — когда Зощенко с его рассказами обложили со всех сторон, он написал серию замечательных детских рассказов «про Лельку и Миньку», и это на время спасло его, а рассказы эти навсегда остались в литературе. А тогда, в 1918 году, вооружившись книгами по птицеводству и кролиководству, он покупает билет до поселка Красный Смоленской губернии, оттуда добирается до усадьбы Маньково и оказывается у сестры.

Дотошные исследователи Зощенко восстановили буквально все, в том числе и точное произношение названия усадьбы. Оказывается, там есть две деревни рядом с похожими названиями — Ваньково (с ударением на «а») и Маньково.

Что произошло с Зощенко там? Наиболее известное описание тех дней — рассказ Зощенко «Как я пошел сражаться за Советскую власть». В нем он написал, сначала в комическом стиле, про то, как пытался изучать птиц, которых раньше видел лишь на обеденном столе, но дальше перешел на пафос: он якобы уехал оттуда, потрясенный, как он пишет, картинами вопиющей нищеты, униженности крестьян и тупого чванства «бывших», мечтающих о возвращении имений и порке бунтарей. И эти люди считали его «своим»! Зощенко сказал им: «Негодяи, преступники! Это из-за вас такая беда, такая темнота в деревне, такой мрак!» И, уехав оттуда, он поступает в Красную армию. Рассказ «Как я пошел сражаться за Советскую власть» написан вполне убедительно и, безусловно, искренне. Но стоит посмотреть на дату этого сочинения — 1957-й, — за год до смерти, когда затравленный и измученный Зощенко искал хоть какие-то возможности «реабилитироваться», снять проклятие, наложенное на него властью. Но по документальным материалам, по свидетельствам очевидцев, успевших опубликовать свои воспоминания, обстановка в Манькове была несколько иная, нежели в рассказе Зощенко. Как раз бывшие помещики, изгнанные из своих домов и расселенные по ветхим избам, если и злились на власти и крестьян, то никакой реальной силы уже не представляли. Хозяйничали там в основном чекисты, которые энергично вывозили мебель и картины из помещичьих домов и наверняка могли присматриваться к «странному родственнику», приехавшему к бывшей жене белого офицера... И Зощенко снова пришлось бежать.

Конечно, он сочувствовал бедным и несчастным крестьянам, без этого русского писателя быть не может — но выставлять главным злом того времени ограбленных дворян... это пришло в голову Зощенко лишь в 1957 году, когда он пытался хоть как-то защититься от этой власти. Конечно,

Зоценко уже в 1918 году понимал, что от нее не спрячешься, если придется здесь жить и писать. И он стал своим, самым близким массам... Но все же тогда вряд ли он сбежал с должности куровода из-за возмущения бывшими помещиками и вряд ли вступил в Красную армию из-за этого. Он принял суровую свою судьбу как должное — но скорее всего тогда пошел в армию как раз для того, чтобы как-то затеряться, спастись, показаться своим — среди чужих. Не думаю, что кто-то из нас имеет моральное право осуждать его за это — тем более что так и родились замечательные его книги. Но вряд ли он испытывал тогда большой душевный подъем. После блестящей службы в Мингрельском 16-м гренадерском Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полку Кавказской дивизии — в январе 1919 года он оказывается... адъютантом в 1-м Образцовом полку деревенской бедноты! Парадоксы новой, советской жизни, которые так смешно «воспел» Зоценко несколько позже, уже обступают его. Оказывается, и беднота может быть «образцовой»! Полк стоял под Петроградом, на линии Нарва — Ямбург, против армии белого генерала Булак-Балаховича. Но желанного «слияния с народом» Зоценко здесь не нашел. К его удивлению, в 1-м Образцовом полку деревенской бедноты преобладали... антибольшевистские настроения! И если начать так уж рьяно командовать — можно и пулю в затылок получить. Да — отнюдь не с радушными объятиями принял «аристократа» Зоценко простой народ. Сюжеты, чудовищные и дикие, идут косяком:

«Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном, грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется.

Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает.

— Что вам угодно? — спрашиваю я. Сняв шапку, человек мнется у дверей.

Я вижу перед собой человека очень жалкого, очень какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится.

Он говорит, еле шевеля губами:

— Если Красная Армия будет отходить — отходить ли нам вместе с вами или оставаться?

— А кто вы будете? — спрашиваю я.

— Я пришел из колонии “Крутые ручьи”. Там наша колония прокаженных».

Уже чисто зощенковская история! Да, необходимо сочувствие сырым и больным... но с прокаженными общаться как-то не хочется! И как-то

странно стоит вопрос: к кому должны примкнуть прокаженные — к белым или красным? Явно, это и тех и других не украсит!.. «Освободили прокаженных», которые теперь не знают, как жить!

«Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки.

Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх к этой болезни.

Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии».

Какая это должна быть профессия — ему уже ясно. В один из приездов в голодный и холодный Петроград он заходит к Вере, греется у печки, молчит. Вера оставляет такую запись в дневнике: «13 декабря 1918 года он зашел ко мне, приехав на несколько дней с фронта, из Красной Армии, в короткой курточке, переделанной им самим из офицерской шинели». Вера задает ему вопрос: что сейчас самое главное для него? — и надеется услышать ответ, что, конечно же, она, их отношения. Но Зощенко говорит: «Конечно же, моя литература!» К тому же получается так, что и по состоянию здоровья ни к какой другой работе он не пригоден. Спаситься литературой! Такая идея приходит в голову людям в критические моменты... Но сделать это не так легко. Новая жизнь не очень-то Зощенко принимает. Кроме того, здоровье становится все хуже, он вдруг теряет сознание...

«И вот вторую неделю я лежу в палате.

Кроме того, что я плохо себя чувствую, я еще голоден. Это — девятнадцатый год! В госпитале дают четыреста граммов хлеба и тарелку супа. Это мало для человека, которому двадцать три года.

Моя мать изредка приносит мне копченую воблу. Мне совестно брать эту воблу. У нас дома большая семья.

Напротив меня на койке сидит молодой парень в кальсонах. Ему только что привезли из деревни два карава хлеба. Он перочинным ножом нарезает куски хлеба, мажет их маслом и посылает в свой рот. Это он делает до бесконечности.

Кто-то из больных просит:

— Свидеров, дай кусочек. Тот говорит:

— Дайте самому пожрать. Пожру и тогда дам.

Заправившись, он разбрасывает куски по койкам. Спрашивает меня:

— А тебе, интеллигент, дать? Я говорю:

— Только не бросай. А положи на мой стол.

Ему досадно это. Он хотел бы бросить. Это интересней. Он молча сидит, поглядывает на меня. Потом встает с койки и, паясничая, кладет кусок хлеба на мой столик. При этом театрально кланяется и гримасничает.

В палате смех.

Мне очень хочется сбросить это подношение на пол. Но я сдерживаю себя. Я отворачиваюсь к стене.

Ночью, лежа на койке, я съедаю этот хлеб.

Мысли у меня самые горькие».

Да — горечь его можно понять. Он сделал все, чтобы максимально приблизиться к народу, валяется в одной больничной палате со всеми, на такой же койке!.. А народ не принимает его, даже издевается. Что за проклятая «отметина» у него? Уж и на вид он «довольно потрепанный гражданин», но — не принимают! Видимо, им чужд его язык «мальчика из хорошей семьи» — неужто надобно перейти на просторечие работяг и обывателей, забыв, как его воспитывали, как учили? Кол за гимназическое сочинение вселял смутную надежду на то, что такой речью он в конце концов овладеет!

Эти встречи с народом «протерли ему глаза», избавили от юношеской умиленности и слезливости. Слезливый Зоценко, рвущий на себе рубаху от любви к простому народу, под насмешливым, если не презрительным взглядом этого самого народа? Зачем нам Зоценко такой? Интеллигентские «всхлипы» нелепы. Жизнь гораздо сложнее и страшнее, чем думают радетели, «болеющие за народ», но не покидающие своих квартир, подлинной правды избегающие... А Зоценко все «увидел в упор». И поднял своих героев — в литературу. Но — надо быть с ними! Он кидается «из огня да в полымя» — в конце апреля 1919 года поступает на работу младшим агентом уголовного надзора станции Лигово, под Петербургом. Хуже не придумаешь. Самая плохая и опасная должность, с точки зрения здравомыслящего человека. И там пишет, причем — в ироническом ключе, как бы «приказы по железнодорожной милиции и уголовному надзору станции Лигово». Но — работает вполне серьезно: ловит самых настоящих бандитов, вооруженных «пушками». 26 июня его повышают — аж до должности старшего милиционера! Неужто — приняли за своего?

СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ

Но его ведет и «главный инстинкт» — нужно выстроить свою писательскую судьбу: бандиты и милиционеры тут вряд ли пособят. И на исходе июня 1919-го он решается наконец «объявиться» среди писателей — поступает в Студию при издательстве «Всемирная литература» — пока осторожно, на отделение критики.

Можно представить себе, как нелегко было ему, с его нелюдимостью и уязвленным самолюбием, сделать этот шаг! Но талант — неумолим и порой заставляет писателя сделать то, что обычный человек никогда бы не сделал. Талант «толкал» Зоценко и на более отчаянные шаги!

После прежних неказистых мест службы, где Зоценко столько лет собирал «человеческий сор» (так впоследствии пригодились), он появляется наконец в литературном обществе, в шикарном, хоть и ободранном революцией Доме Мурузи (названном так по имени прежнего хозяина). В Петербурге есть несколько таких Замков литературы, сыгравших важную роль в петербургской — а потом и во всемирной — литературной жизни. Без них, кажется, была бы пуста та эпоха, а без всех их вместе — был бы пуст Петербург. Мойка, 12 (последняя квартира Пушкина), Дом Набокова, Дом Зингера (где были все лучшие издательства), Дом Некрасова, Дом Елисеева (Дом искусств)... И в этом ряду Дом Мурузи — из самых знаменитых, в нем жила не одна, а несколько литературных эпох.

Дом этот весьма пышный, с роскошными залами в восточном стиле, с резными сводами и узорными окнами. Впрочем, тогда, в самом начале XX века, стиль этот, называвшийся «эkleктика», был весьма распространен — по всему Петербургу вырастали восточные дворцы, рыцарские замки, ренессансные палаццо... Богатство в то время не прятали, наоборот — показывали. Дома эти, словно приплывшие из далеких стран, будили воображение необыкновенным декором, притягивали к себе людей искусства. И Дом Мурузи стал одним из таких магических домов. Великая литература, которая здесь «расцвела», своим величием и роскошью затмевает все «архитектурные излишества» этого дома.

Я бывал в нем в 70-е годы XX века у поэта, чья мемориальная доска украшает сейчас фасад. По какой-то таинственной, высшей закономерности в этом доме, уже «одичавшем», обшарпанном, поселился еще мальчиком Иосиф Бродский. И прожив здесь с 1949 по 1972 год, стал великим поэтом.

Повлиял ли этот дом на него? Наверняка он будил его воображение. Здесь он выходил на балкон, смотрел на часы Преображенской церкви, отсюда уезжал — в геологические экспедиции («С высоты ледника я озирал полмира»), потом — в ссылку в Норинское, потом — навсегда в эмиграцию. Много замечательных писателей знал этот дом — и наверное, они тоже не совсем случайно выбирали его.

Перед революцией домом владел генерал Рейн. Об этом мне рассказал наш современник, известный поэт Евгений Рейн, друг и, как он скромно признается, учитель Бродского, неоднократно посещавший его в этом доме. Я тоже бывал в тех «полутора комнатах» в коммуналке, где вырос нобелевский лауреат. Ранее из жильцов этого дома был широко известен купец Абрамов, прославлявший свою продукцию в стихах собственного сочинения. В дворовом флигеле на четвертом этаже жил писатель Николай Лесков. В богатый талантами Серебряный век в этом доме был знаменитый литературный салон Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Тогда еще жилплощадь не начали делить на клетушки, и дом двух этих литературных кумиров был вместительным — здесь «бывали» все». Возьмем только начало алфавита — Андрей Белый, Александр Блок... В этом доме была и квартира потомков Мурузи — тоже не тесная. Но после революции и бегства потомков она как-то никому не подошла, кроме беспризорников, и пребывала в запустении. В 1918 году сюда случайно забрели Корней Чуковский и Александр Тихонов (Серебров) и решили здесь учредить литературную студию. Преподавать в ней согласились уже знаменитые тогда Николай Гумилёв, Михаил Лозинский, Виктор Шкловский... Озарил этот дом своим «нестерпимым гением» (как позже писал он сам) и Михаил Зощенко, о котором поначалу становится известно — да и то не сразу — только одно: что это милиционер со станции Лигово. Шумной славы, которая вскоре обрушится на него, ничто вроде не предвещает. Что именно он из всех собравшихся тут окажется самым талантливым, самым знаменитым, никому в голову не приходит. Даже ему: столько здесь, в этой студии и вокруг нее, людей уже знаменитых, чей талант — бесспорен. Гумилёв, самый знаменитый тогда поэт! Блок! Чуковский, тогда проявивший себя только как блистательный критик, написавший замечательную книгу о Некрасове! Замятин! И целая толпа молодых, дерзких, талантливых! Откуда вдруг сразу столько новых талантов? Почему порой такое случается? Всегда бурное время будоражит сознание. И появляются новые гении, не похожие на прежних. «Счастлив, кто посетил сей мир *В его минуты роковые!* Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир». Это написал Тютчев, отнюдь не бунтарь,

государственный служащий, но — написал! Пушкин декабристом не был, «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», отвергал — но «погода» тех лет на него повлияла несомненно — вспомним хотя бы оду «Вольность». И послереволюционное время тоже соблазняет молодых и дерзких своей «вольностью». Классики, так угнетавшие еще в гимназии, грозно ставившие «колы» нерадивым ученикам, не желающим полюбить тех «страдающих барышень», которых навязывал учебник, — слава Богу, «схлынули», и теперь можно говорить и писать свое, то, что действительно на душе! Такой «вольный ветер» бывает в России не часто и, безусловно, пьянит! И то созвездие талантов, которое тогда появилось, — несомненно, рождено новой эпохой. В старую бы они не вписались. Порой всем известный афоризм «искусство требует жертв» произносят несколько легковесно — мол, не пойду обедать, буду писать. Но на самом деле все гораздо серьезнее: в жертву новому искусству приносятся целые эпохи, государства, и «на обломках самовластья», на руинах прежнего вырастают, как сорняки, побеги нового. На смену рухнувшей замечательной цивилизации приходят варвары, что-то говорят, и новые звуки вдруг тоже волнуют, и даже сильнее, чем прежние, уже привычные.

Не случайно этой новой Студии активно помогал Алексей Максимович Горький, «буревестник революции». Теперь, когда «буря» столь ощутимо прошла по стране, он должен был показать, что процесс этот был не только разрушительным, но и созидательным. Ау, новые таланты! Появление их было необходимо — и они появились. Таланты появляются, когда на них спрос. Для этого и была создана Студия — и сразу привлекла многих, искавших прибежища. Здесь «варилось» литературное будущее. Так что Зоценко, после долгого «одиночного плавания», причалил к этому Замку не случайно. Гении редко ошибаются. Именно здесь Михаил Зоценко и создает себя. Ничего более подходящего и счастливого для него быть не могло. Сперва в Доме Мурузи Горьким задумывалась лишь Студия для переводов шедевров всемирной литературы. Но потом сколько здесь появилось хороших писателей! И лучший — Зоценко! Чуковский, один из руководителей Студии, свидетельствует (Чуковский К. Из воспоминаний // Вспоминая Михаила Зоценко. Сборник. Л., 1990):

«Это был один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел. Ему едва исполнилось двадцать четыре года. Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджачке и в изношенных, заплатанных штиблетах. Когда я узнал, что он родом полтавец, я понял, откуда у него

эти круглые, украинские брови, это томное выражение лица, эта спокойная насмешливость, затаенная в темно-карих глазах. И произношение у него было по-южному мягкое, хотя, как я узнал потом, все его детство прошло в Петербурге.

...Когда он выступил в Студии со своим рефератом, стало ясно, почему он держал его в тайне и уклонялся от сотрудничества с кем бы то ни было: реферат не имел ни малейшего сходства с обычными сочинениями этого рода и даже как бы издевался над ними. С начала до конца он был написан в пародийно-комическом стиле.

...Своевольным, дерзким своим рефератом, идущим наперекор нашим студийным установкам и требованиям, Зощенко сразу выделился из массы своих сотоварищей. Здесь впервые наметился его будущий стиль: он написал о поэзии Блока вульгарным слогом заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя. Тогда эта маска была для нас литературной новинкой, и мы приветствовали ее от души».

Да, не зря он сюда причалил! Зощенко уже «на одном плоту» с лучшими писателями той поры, и этот плот несет куда-то бурный поток истории — и это, наверное, хорошо. Стоячий пруд — не лучшее место для появления сильных личностей. Студия в Доме Мурузи через три месяца закрылась. Жильцы «в бывших дворцах» менялись часто. К счастью, благодаря помощи Горького для студийцев вскоре нашлось другое помещение. Из воспоминаний Чуковского, главного летописца той эпохи (Там же):

«19 ноября 1919 года на Невском в бывшем дворце петербургского богача Елисеева открылся ныне знаменитый Дом искусств, куда захиревшая Студия перекочевала в обновленном составе... этот огромный домина выходил на три улицы: на Мойку, на Большую Морскую и на Невский — и... трехэтажная квартира Елисеевых, которую предоставили Дому искусств, была велика и вместительна. В ней было несколько гостиных, несколько дубовых столовых и несколько комфортабельных спален; была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях; была баня с роскошным предбанником; была буфетная; была кафельная великолепная кухня, словно специально созданная для многолюдных писательских сборищ. Были комнатухи для прислуги и всякие другие помещения, в которых и расселились писатели: Александр Грин, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Аким Волынский, Екатерина Леткова, Николай Гумилёв, Владислав Ходасевич, Владимир Пяст, Виктор Шкловский, Мариэтта Шагинян, Всеволод Рождественский... Чуть позже появился

Зоценко».

Такого, чтобы в одной квартире сразу же оказалось столько талантов, — это, конечно, уникальный случай в истории. И именно в этом «котле» так быстро и энергично «сварилась» новая литература — многие, включая Зоценко, вошли сюда неопытными юнцами, а вышли мастерами.

Ольга Форш, будущий советский классик, написала об этом роман — «Сумасшедший корабль», в котором под выдуманными именами мы узнаем многих будущих знаменитостей. В образе могучего Еруслана изображен Максим Горький. Гамаюн — Александр Блок. Зоценко, появившийся в ДИСКе (как сокращенно называли Дом искусств) несколько позже других, узнаваем лишь во второстепенном персонаже — писателе Гоголенко.

Однако, повторим, именно здесь Зоценко складывается как писатель. Поначалу осторожничает, в печать не лезет (хватит с него «сыра бри»), а читает свои рассказы студийцам. И лучшей школы для него быть не могло! Да, ДИСК возник не напрасно! Именно здесь Зоценко оценили — впервые! Здесь был написан, прочитан и — расхвален «Синебрюхов», первый его шедевр! Чуковский вспоминает (Там же):

«Восхищаясь многоцветною словесною тканью этого своеобразного цикла новелл, студисты повторяли друг другу целые куски из “Виктории Казимировны” и “Гиблого места” — из новелл, составляющих “Синебрюхова”.

Многие слова и словечки из этих рассказов, также из рассказа “Коза”, который они узнали тогда же, они ввели в свою повседневную речь, то и дело применяя их к обстоятельствам собственной жизни.

“Что ты нарушаешь беспорядок?” — говорили они. “Довольно свинство с вашей стороны”. — “Блекота и слабое развитие техники”. — “Человек, одаренный качествами”. — “Штаны мои любезные”. — “Подпоручик ничего себе, но сволочь”. — “Что же мне такоеча делать?”

Эти и многие другие цитаты из произведений молодого писателя зазвучали в их кругу как поговорки. Слушая в Доме искусств плохие стихи, они говорили: “Блекота!” А если с кем-нибудь случалась неприятность: “Вышел ему перетык”.

Вообще в первые годы своей литературной работы Зоценко был окружен атмосферой любви и сочувствия.

Думаю, что в то время он впервые нашел свою литературную дорогу и окончательно доработался до собственного — очень сложного и богатого стиля».

В ноябре 1921 года, по предложению Е. Полонской, Зоценко становится пайщиком кооперативного издательства «Эрато» и отдает

издательству рукопись книги «Рассказы Назара Ильича, господина Синябрюхова». Зоценко нервничает, просит печатать обложку без его фамилии. Сам рассказчик, зоценковский персонаж, должен вести рассказ, а Зоценко «спрятался». Известна анекдотическая подробность — в эпоху послереволюционной разрухи деньги настолько обесценились, что метранпаж в типографии согласился начать работу... только за сорок тюбиков бриллиантина для подкручивания усов! Потом метранпаж говорил, что никогда раньше не слышал, чтобы наборщики так смеялись... Впрочем, один такой случай в истории уже был — это когда наборщики читали рукопись Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сходство двух гениев украинского происхождения — Гоголя и Зоценко — замечено многими. Сам Зоценко этим сходством гордился и любил порой об этом сказать. Сходство их было не только литературное: горестно-анекдотические происшествия случались с обоими — писатель всегда «отвечает жизнью» за горемычных своих героев. Так и тут — часть тиража первой же книги Зоценко «Рассказы Назара Ильича, господина Синябрюхова» была напечатана почему-то под чужой обложкой. Видимо, работники типографии так смеялись, что не смогли сосредоточиться, и слегка напутали! Что делать? Нелепые герои — такие, видать, и наборщики. У ярких писателей жанр их сочинений распространяется и на их жизнь. Так или иначе (а точнее — именно так, а не иначе) первая книга Зоценко вышла!

Здесь, в ДИСКе, Зоценко завоевал авторитет и как личность, как человек отважный, способный защитить. Однажды, когда студийцы спустились во двор, они увидели, что к ним направляется человек в офицерской шинели и в абсолютно невменяемом состоянии, а главное — с обнаженной саблей в руке. Зоценко знал, какое это опасное оружие. Человек обученный — а перед ними, несомненно, был такой — может за несколько секунд изрубить нескольких человек. Ярость этого человека, видимо, лишившегося погон, Зоценко мог себе представить. Тем более что тот увидел группу веселой молодежи, выходящей из бывших барских покоев. Все заметили, что у безумца абсолютно белые глаза. В те годы все знали, что это значит. Кокаин тогда в Петрограде было легче достать, чем хлеб. Все застыли... И только Зоценко спокойно подошел к этому человеку, что-то тихо сказал ему — тот повернулся и ушел. Не зря Зоценко получил свои ордена — умел действовать по-мужски!

Но не только подобные субъекты угрожали Дому искусств. 16 октября 1921 года Горький уехал в эмиграцию. Над Домом искусств, оставшемся без «высокой защиты», нависла опасность. Зиновьев, тогдашний «хозяин

города», намеревался закрыть этот рассадник вольнодумства, «прихлопнуть птичку»... но поздно: «птичка», вылетевшая из Дома искусств, — новая русская литература — уже летит!

ПТЕНЦЫ «БУРЕВЕСТНИКА»

Горький, уехав на Капри, однако, не бросил своих «птенцов», чувствовал ответственность за то, что с ними произойдет. Если уж он накликал «бурю» — то теперь должен был доказать, что революция не убила культуру, а, наоборот, создала новую — и лучшую! До своего вынужденного отъезда (Ленин, с его «заботами» о здоровье классика, явно давал понять — уезжай, не мешай) Горький делал все, что от него зависело, — он организовывал, создавал, опекал самые различные культурные учреждения — особенно «холил и лелеял» молодые литературные таланты.

Первая тесная встреча Зоценко с Горьким состоялась в 1921 году, еще до его отъезда. Слонимский, тогда секретарь Горького, передал ему на суд свои рассказы — и несколько рассказов Зоценко. Горький относился к молодым очень строго, считая создание новой литературы важной государственной задачей. После разговора с Горьким Зоценко сухо записал в дневнике: «Ал. Макс, читал “Старуху Врангель”. Я был у него. Он все время выдержки читал и говорил, что написано блестяще. Но узко наш интерес. Даже только петербургский. Это плохо. Как, сказал, мы переведем на индусский такую вещь? Не поймут».

Но о главном замечании Горького Зоценко не сообщил. Старательный Константин Федин, записывающий за Горьким каждое слово, приводит несколько другой отзыв классика: «Была у меня молодежь. Побеседовали. Я им говорю: так писать, как они пишут, нельзя. Что они делают? Берут “Шинель” Гоголя и придумывают, какой эта шинель должна быть в наше время».

Затем Горький прочел повесть Зоценко «Красные и белые». На этот раз отзыв был еще жестче: «В отличие от прежних работ — в этой чувствуются вялость и многословие».

Но прощание их не было безнадежным — перед самым отъездом Горького на Капри в дневнике Зоценко появилась победная запись: «Очень понравилась Ал. Макс. “Рыбья самка”».

Так что трудно сразу определить, в удачное или неудачное время появился писатель Зоценко. Скорее — в удачное: среди его современников был Горький, замечательный писатель и воспитатель. Теперешним молодым такого счастья не выпало.

И уехав на Капри, Горький не забывал молодых.

В 1923 году в популярном бельгийском журнале «Le disque vert»

напечатаны первые переводы советских писателей за границей: «Сад» К. Федина и «Виктория Казимировна» М. Зощенко. В сопроводительной статье Горький назвал Зощенко автором «оригинальной серии “Рассказов г. Синябрюхова”», «значительным писателем, который нашел свой стиль».

Скрытый и замкнутый Зощенко первое время с Горьким не переписывался, но тот, состоя в переписке с Фединым, Кавериным, Слонимским, Груздевым, постоянно упоминал Зощенко, просил присылать его книги, а прочитав, хвалил, писал, что любит читать их вслух семье и гостям.

И помощь Горького проявлялась буквально во всем. Вот что вспоминает Чуковский (Там же):

«И я не могу забыть, как иду с Зощенко по Литейному в приятный летний день и как, дойдя до Сергиевской, где он тогда жил, Зощенко — очень оживленный, жестикулирующий — вдруг весело прерывает самого себя:

— Да, послушай, какой смешной случай! Я живу в жакте, знаешь? Неожиданно кому-то там приходит на ум, что мою квартиру надо уплотнить. Кто-то приехал, тетка к управдому или черт знает к кому. Начинают наседавать, звонят, ходят. Перемеряли все комнаты, рассуждают, где станет сундук чьей-то родственницы, куда подвинуть мой буфет, — размещаются. Я сказал, что никого не впускаю. Тогда управдом начал грозиться. “В суд, говорит, на таких людей надо подавать, расселись, говорит, так, что другим места нет, другие под открытым небом живи”. Что делать, понимаешь ли, — донимают, не дают работать. Я тогда решил пожаловаться Горькому. А жакт наш называется его именем — жакт имени Горького. Я подумал — обращусь, так сказать, по принадлежности. Пока я ждал ответа, управдом не дремал и втиснул ко мне жильцов. Началась моя жизнь в коммунальной квартире. Вдруг, понимаешь, в жакт приходит письмо из Италии, от Горького. Он пишет, что ему очень приятно, что жакту присвоено его имя, что он, правда, не знает, что такое жакт и как писать это слово, с большой буквы или с маленькой, и — на всякий случай — пишет с большой. Когда, пишет, буду в Ленинграде, непременно зайду к вам, в красный уголок, попить чайку. И дальше, понимаешь ли, пишет: у вас в доме живет замечательный писатель Михаил Михалыч Зощенко, так я очень вас прошу, не притесняйте его, и все такое. Можешь представить, что тут началось! Управдом с письмом Горького в руках прибегает ко мне, трепещет извиняется, расшаркивается. На жильцов он топает ногами, они летят вон из квартиры. Они уже ему никакие не родственники. Весь дом в полном смятении, и даже заседание жакта назначается и полы везде моют.

Может, на заседании обсуждалось, не присвоить ли жакету имя Зощенко вместо Горького. Этого я не знаю...»

Чуковский заканчивает этот эпизод так:

«Трудно сказать, в какой точке жизненного пути ожидает человека встреча с управдомом — с этим увековеченным Зощенко трагикомическим героем нашей литературы. Но еще труднее знать, в какое мгновение надо подать руку художнику, когда внутренние препятствия оказываются на пути его призвания, его искусства. В жизни нашего поколения писателей Горький не упустил ни одного такого мгновения!»

Молодые коллеги, возможно, ревнуя, писали Горькому, что Зощенко постоянно пишет в юмористические журналы, халтурит... На эти «донесения» Горький им не ответил. Но когда они написали, что Зощенко в альманахе «Ковш» поместил отличную вещь — «Страшная ночь», — Горький немедленно откликнулся, попросил «Ковш» прислать и, прочитав, написал Федину: «...если последний (Зощенко) остановится на избранном им языке рассказа, углубит его и расширит, наверное, можно сказать, что он создаст вещи оригинальнейшие».

Сбылось. Но не сразу!

БРАТЬЯ НЕ НАВЕК

Кроме учителя, нужен класс. Вспомним Лицей. «Галанты водятся стайками!» — утверждал Олеша, и был прав. Студия была «водоемом». А «стайкой» стали «серапионы». Объединение «Серапионовы братья» образовалось в 1921 году. Уже сплотившиеся «братья» рассказали о себе в журнале «Литературные записки» (1922. № 3. 1 августа). Этот теперь уже ветхий журнал (из коллекции А.А. Бессмертного) очень интересно листать — попадаешь в те далекие годы бурной литературной жизни. Журнал переполнен литературными новостями. Вот этот журнал:

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСКИ

Литературно-общественный и критико-библиографический журнал.

Выходит два раза в месяц.

Адрес редакции и Главной конторы:

Петербург, Бассейная, 11, Дом Литераторов, 2 этаж».

Значит, кроме знаменитого Дома искусств на Невском, был еще и Дом литераторов на улице Бассейной, ныне — улице Некрасова. И главное — появлялись новые замечательные писатели. Читаем объявление в журнале:

«Издательство З. И. Гржебина (Петербург — Москва — Берлин).

Продаются во всех книжных магазинах:

Бор. Пильняк. Голый год.

Евг. Замятин. Островитяне.

Борис Пастернак. Сестра моя жизнь.

Борис Эйхенбаум. Молодой Толстой.

Адрес Издательства: Петербург. Невский пр., 64, кв. 3.

Москва. Знаменка, М. Знаменский пер., 7, кв. 36».

Сейчас каждая из тех книг — драгоценность. Ситуация «подыгрывала» Михаилу Зощенко. С объявлением нэпа — новой экономической политики — оживает и литература, и жизнь. Журнал пестрит коммерческой рекламой:

«СЕВЕРОКУСТАРЬ

Фонтанка, 34.

ПРОДАЕТ:

Плетеные из прута изделия (корзины всякого рода). Металлические изделия (гвозди кованые, топоры, багры и пр.). Гончарные изделия, сельхозорудия, косы, серпы, лемехи, скобяные товары, трикотажные изделия, кружевные изделия. Дрова и лесные материалы.

ПОКУПАЕТ:

Металлы, пряжу, нитку, шерсть валяльную, пилы, инструменты для деревообделочного производства.

ОПЕРАЦИИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ:

Экспортирует лен, пеньку, конский волос, шерсть, художественные кустарные изделия, кружева, прошивки. Вязаные косынки, вышивки, художественную строчку...»

Уходят суровые революционные годы, появляются некоторые свободы...

«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ

Доводит до всеобщего сведения, что в центральной телеграфной конторе (Почтамтская, 15) и во всех почтово-телеграфных и телеграфных отделениях г. Петрограда и Петроградской губернии ВОЗОБНОВЛЕН БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ПРИЕМ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ КАКИХ-либо ОСОБЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЧАСТНЫХ ТЕЛЕГРАММ.

В центральной телеграфной конторе кроме того открыт прием РАДИОГРАММ.

Жителям города Петрограда предоставляется также самая широкая возможность пользоваться ТЕЛЕФОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ... Лица, пожелавшие установить телефонные аппараты у себя на дому, приглашаются заявить об этом в Управление Телефонной Сетью — Б. Морская, 22».

Оказывается, большевики после того, как в 1917 году взяли почту, телеграф и телефонные станции, так и держали их, и нельзя было без их контроля отправить телеграмму, не говоря уже о радиограмме... Непросто было поговорить и по телефону. И вот теперь — можно.

От такого послабления сразу стали организовываться всяческие веселые компании, в том числе и писательские. Происходило это тогда так ярко, что мы помним их всех до сих пор — футуристы, имажинисты, акмеисты. Появление какой-то экстравагантной художественной платформы сразу привлекало всеобщее внимание. И вот — в журнале «Литературные записки»:

«“СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ”

“СЕРАПИОНОВЫ БРАТЯ” о себе.

Фотография.

Верхний ряд:

Лев Лунц, Николай Тихонов, Конст. Федин, Илья Груздев, В. Каверин.

Нижний ряд:

Мих. Слонимский, Е. Полонская, Ник. Никитин, Всев. Иванов, М. Зощенко.

От редакции: К сожалению, среди помещаемых ниже автобиографий Серапионовых братьев нет автобиографии Ник. Никитина, уехавшего в конце июня из Петербурга».

Дальше идут их тексты (слегка сокращенные):

«МИХ. СЛОНИМСКИЙ

Первое собрание Серапионовых братьев состоялось 1 февраля 1921 года, в Доме Искусств. Были тогда: Зощенко, Лунц, Никитин, Груздев, Виктор Шкловский, Каверин, я и поэты — Вл. Познер и Е. Полонская. Через месяц явились Всев. Иванов, Федин, и позже всех — Николай Тихонов, поэт.

Решили собираться вольно, без устава. И новых членов принимать, руководствуясь только интуицией. Всё, что писали, читалось на собраниях. То, что нравилось, признавалось хорошим, что не нравилось — плохим. Пуще всего боялись потерять независимость, чтобы не оказалось вдруг “Общество Серапионовых братьев при Наркомпросе”... Пока выпустили только один свой альманах (в изд-ве “Алконост”). Этот же альманах печатается в “Русском Творчестве” в Берлине. Туда же (Алексею Толстому и Максиму Горькому) отправлен второй альманах.

Литературные традиции — неизвестны.

О себе — сообщаю: в 1914 <году>, семнадцати лет, кончил ускоренным выпуском гимназию и пошел на войну. Путь проделал такой — от Варшавы к Единорожку (в семи верстах от германской границы)... За Наревом был контужен: разрывом снаряда бросило в землю. Сломал ребро и ногу, закончил военную карьеру солдатом в Петербурге 27 февраля 1917 года. Последние три года из Петербурга уезжал редко и ненадолго. В 1917 году писал военные обзоры, теперь пишу рассказы. На днях выйдет книжка “Шестой стрелковый” (в издательстве “Время”), еще одна — в изд-ве “Былое” (“Чертово колесо” и др.).

ВСЕВ. ИВАНОВ

...С 14 лет начал шляться, был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — “дервиш Бен-Али-Бей” (глотал шпаги, прокалывал себя булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал), ходил по Томску с шарманкой, актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом.

...В 1917 году участвовал в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в Красной гвардии), когда одношاپочников моих перестреляли и перевешали, — бежал я в Голодную Степь. И после смерти отца (казаки думали: я его убил — отец был царелюб, хотели меня усамосудить), дальше за Семипалатинск, к Монголии.

...Видел растянувшиеся на сотни сажен мерзлые вереницы трупов. В снегах — разрушенные поезда, эшелоны с замерзшими ранеными... Тупики, забитые поездами с тифозными, и сам я в тифу, и меня хотят соседи выбросить из вагона (боятся заразиться), а у меня под подушкой револьвер, и я никого не подпускаю к себе (выбросят — замерзнешь, а наш вагон все же кто-то топил). И так в бреду семь суток лежал я с револьвером и кричал: “Не подходи. Убью!”

...В Петербург прибрел в январе 1921 года, здесь и стал питаться близ Дома Ученых и писать, что давно было надумано. В мае попал к “Серапионовым братьям” — “братом алеутом”. Напечатаны — книжка рассказов “Лога”, повести “Цветные ветра”, “Партизаны”, “Бронепоезд 14–69”, печатается книга рассказов “Седьмой берег”. В “Красной нови” — роман “Голубые пески” и кончаю роман “Ситцевый зверь”.

КОНСТ. ФЕДИН

Родина моя — Саратов, детство — окружные деревеньки: Евсеевка, Синенькие, Увек, Поливановка, Курдюм и Разбойщина, заброшенные сады, рыбацьи дощаники, буксиры, крепкий анис.

А еще позже — в училище забастовку устраивал, погромы с матерью в погребке отсиживал (дверь на погребницу веревочкой завязал), страшно было... бросил учиться, заложил в ломбарде скрипку, бежал в Москву... отец разыскал меня, сводил в Третьяковку и в Зоологический музей, и увез домой в Саратов... за жалованье и отпущенье смертного греха курения поставил меня в свой магазин приказчиком. Я выучился торговать.

...потом Москва... эти годы для московского студенчества прошли под знаком ночной чайной у Петровских ворот... сараевский выстрел застал меня в Баварии в Нюрнберге, жил я бедно, изучал язык, бил баклуши, дружил с рабочими из Шукерта и студентами из Эрлангена... Когда уезжал из Нюрнберга, по вокзалу расклеивали приказы о борьбе с шпионажем. В Дрездене меня перехватили власти... в городе Циттау на границе Чехии, куда выслала меня из Дрездена королевская полиция, оставил я много горя и много радостей — был все эти годы гражданским военнопленным за № 52... немецкие власти препроводили меня на Восточный фронт, любезнейше вручив советского посольства паспорт и смешав меня с толпой

хромых, безруких, чахоточных и умиравших, которые звались солдатами российской армии.

Я редактировал газету, был лектором, учителем, метранпажем, секретарем городского исполкома, агитатором, собирал добровольцев в красную конницу, сам пошел в кавалеристы, вступил в партию и был отправлен на фронт. Этот год — лучший мой год, этот год — мой пафос... Моя революция, кажется, прошла. Я вышел из партии, у меня тяжелая полка с книгами, я пишу.. Первый рассказ я написал летом 1910 года. Впервые печатался в “Новом Сатириконе” осенью 1913 года, в 1920 я познакомился с Максимом Горьким, в 1921 году подружился с “Серапионами”.

МИХ. ЗОЩЕНКО

О себе, об идеологии и еще кой о чем

Отец мой художник, мать актриса, это я к тому говорю, что в Полтаве есть еще Зощенки, например, Егор Зощенко, дамский портной, в Мелитополе — акушер и гинеколог Зощенко... из-за них, прямо скажем, мне даже знаменитым писателем не хочется быть: непременно приедут, прочтут и приедут, у меня уже одна тетка с Украины приехала.

Вообще писателем быть очень даже трудновато. Скажем тоже — идеология. Вот Вронский, хороший человек, пишет... писателям нужно точнее идеологически определяться. Этакая, право, мне неприятность! Какая, скажите, может быть у меня идеология, если ни одна партия в целом меня не привлекает... нету у меня ни к кому ненависти — вот моя точная идеология...»

Это сказано Зощенко точно и откровенно. Потом, правда, «в духе времени», он добавляет: «По общему размаху мне ближе всего большевики... и большевичить я с ними согласен».

Заканчивает Зощенко опять иронией:

«Мне 27 лет... впрочем, Оленька Зив думает, что мне меньше.

Вот сухонькая таблица моих событий:

Арестован — 6 раз.

К смерти приговорен — 1 раз.

Ранен — 3 раза.

Самоубийством кончал — 2 раза.

Били меня — 3 раза.

...нынче я заработал себе порок сердца и потомуто, наверное, стал писателем. Иначе — я был бы еще и летчиком... книга моя “Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова” — в продаже. Продается она, я

думаю, в Пищевом тресте, ибо в окнах книжных лавок я ее не видел. А разошлась эта книга в двух экземплярах. Одну книжку купила — добрый человек Зоя Гацкевич, другую, наверное — Могилянский. Для рецензии. Третью книжку хотел купить Губер, но раздумал... Кончаю. Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского. Из современных поэтов мне, дорогая редакция, больше всего нравится Оленька Зив и Нельдихен. А про Гучкова я так и не знаю...»

Идеология Зоценко — его ирония. И это неплохо. Я бы сказал — получше многих идеологий. Но продолжим цитирование.

«НИК. ТИХОНОВ

Я поэт, тут ничего не поделаешь. Первое стихотворение, которое я выучил наизусть — а было мне тогда 6 лет, это пушкинский “Делибаш”:

Посмотрите каковы: Делибаш уже на пике, А казак без головы.

С той давней поры все так и пошло через жизнь, чтобы одно было на пике, а другое без головы. Иначе невысказано... Учился, думал, коммерсантом буду, а вышел гусар... Писал в полку сатиры, популярный стал человек... Сидел в Чека, с комиссарами разными ругался, и буду ругаться, но знаю одно — та Россия, единственная, которая есть — она здесь... Закваска у меня анархистская. И за нее меня когда-нибудь повесят. Пока не повесили — пишу стихи.

Искал людей по себе — нашел: Серапионы. Народ по моей душе, чтобы одно на пике, другое без головы — иначе и жить не стоит... буржуем никогда не был. Недвижимость имею: в 9 типографии лежит моя книга “Орда” — крепко лежит, как памятник... Родился в 1896 году, когда помру — не знаю. Одна поэтесса предсказала по моей ладони, что меня закопают в землю живьем. Не верю.

В. КАВЕРИН

Скучаю. Родился 20 лет назад, к ужасу родителей и собственному неудовольствию... Писал стихи с 12 лет, имевшие чрезвычайный успех у лиц иного пола... Каверинных было много, и среди них всегда были писатели. Многие, как и я, писали рассказы. “Серапионовы братья” имели и нынче имеют влияние самое значительное... Из русских писателей больше всего люблю Гофмана и Стивенсона. Никто меня не знает и не понимает. Жить люблю и живу с удовольствием. Прощайте... Другие ребята напишут, что нужно.

Е. ПОЛОНСКАЯ

...В гимназии я училась хорошо, но трем вещам не могла научиться — не опаздывать на первый урок, не смотреть исподлобья и не говорить дерзостей... К сожалению, список предметов, которым я не могла научиться, еще увеличился... Нужно чувствовать серьезность разных положений, поступать на службу и уходить со службы, вести переговоры с редакторами и издателями, хлопотать о том, чтобы сделаться 187 кандидатом на академический паек, обижаться кстати и отвечать вовремя... Писание автобиографий относится к той же серии: писать автобиографии я не умею, я пишу стихи.

ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ

1. О себе.

Писать “о себе” становится модой. Молчать о себе, вероятно, модой не станет. Тем важнее было бы уметь промолчать.

Я не сумел.

2. О Ник. Никитине.

Никитина нет в Петрограде, и редакция просит меня сообщить что-нибудь о нем. Но я даже не знаю, в каком году родился Никитин. Для меня он родился осенью 1920, когда в студии Дома Искусств прочел нам свой “Кол”.

ЛЕВ ЛУНЦ

Я родился в 1902 году в Петербурге. В 1922 году окончил университет. Оставлен при кафедре западно-европейских литератур. Написал трагедию “Вне закона”. Вот и все. Глупо писать автобиографию, не напечатав своих произведений. А лирических жизнеописаний с претензией на остроумие — я не люблю. И не лучше ли будет, если я, вместо того, чтобы писать о себе, напишу о братстве?

Почему мы “Серапионовы братья”

...Мы назвали “Серапионовыми братьями”, потому что не хотим принуждения и скуки, не хотим, чтобы все писали одинаково, хотя бы и в подражание Гофману. У каждого из нас свое лицо и свои литературные вкусы. У каждого из нас можно найти следы самых различных литературных влияний. “У каждого свой барабан”, — сказал Никитин на первом нашем собрании. Но ведь и гофманские шесть братьев не близнецы, не солдатская шеренга по росту... А споров так много. Шесть “Серапионовых братьев” тоже не школа и не направление. Они нападают друг на друга, вечно несогласны друг с другом, и потому мы назвали

“Серапионовыми братьями”.

В феврале 1921 года, в период величайших регламентации, регистрации и казарменного упорядочения, когда всем был дан железный и скучный устав — мы решили собраться без уставов и председателей, без выборов и голосований... мы верили, что характер будущих собраний обрисуетса сам собой, и дали обет быть верными до конца уставу пустынного Серапиона... Произведение может отражать эпоху, а может не отражать, от этого оно хуже не станет. И вот Всеv. Иванов, твердый бытовик, описывающий революционную, тяжелую и кровавую деревню, признает Каверина, автора бестолковых романтических новелл. А моя ультра-романтическая трагедия уживается с благородной старинной лирикой Федина... С кем же мы, “Серапионовы братья”? Мы с пустынником Серапионом... Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность... Мы верим, что литературные химеры особая реальность, и мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать... И теперь, когда фанатики-политиканы и подслеповатые критики разжигают в нас рознь, бьют в наши идеологические расхождения и кричат: “Разойдитесь по партиям!” — мы не ответим им. Потому что один брат может молиться Богу, а другой — Дьяволу, но братьями они останутся. И никому в мире не разорвать единства крови родных братьев. Мы не товарищи, а — братья!»

Реализовался ли этот прекрасный порыв? Остались ли они братьями навек? И да, и нет!

Странное название «Серапионовы братья» врезалось всем в память, утвердилось и сыграло огромную роль в истории литературы и судьбе «братьев». Им хотелось выделиться, и — сплотиться! Пусть если и ругают тебя, то лишь те, кому ты доверяешь. Примыкал к ним и Виктор Шкловский, сильный и опытный «литературный боец», что еще больше укрепило позиции «братьев».

Когда Лунца спросили: «Вы с белыми или красными?» — он ответил слегка надменно: «Мы с пустынником Серапионом!!» Они действительно отличались от того советского стандарта, к которому власть хотела бы привести всех писателей. И, конечно, реакция на их появление была острая... Вот отрывок из статьи студента Зиновьевского университета Ф. Левина в журнале «Литературный еженедельник» (1923): «На эстраде — Слонимский. Прилизанный молодой человек — картинка из журнала

мужских мод... А вот и Зощенко — с лицом заматерелого провинциального комика...»

В 1924 году Яков Браун приголубил Вениамина Каверина, будущего знаменитого писателя, советского классика, статьей «Ушей не спрятать»: «Вся жизнь для него — шарлатанство!» Один из разделов этой статьи — про Константина Федина, будущего советского классика и литературного начальника, которого в конце жизни прозвали «комиссар собственной безопасности», а тогда раздел о нем назывался: «Про радость от узорчатых подтяжек». Шлифовали их рьяно! И реагировали они по-разному. Они и были разные.

Известна даже история дуэли Зощенко и Каверина — Каверин непочтительно отозвался о двух юных красавицах, приглашенных Зощенко на занятия в Студию... К счастью, до смертоубийства не дошло — а то, глядишь, одного классика мы потеряли бы. А то и все могли бы перестреляться: язвительный Зощенко, проводя свою «инвентаризацию современной литературы», не пожалел своих товарищей по цеху, написав пародии на Шкловского и Вс. Иванова. Вот — высмеивает броскую, резкую, но не всегда ясную и убедительную манеру Шкловского:

«...Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны.

Теперь о Всеволоде Иванове и Зощенко. Да, кстати о балете.

Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съемщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений.

В обычной же драме пропущенные жесты мы дополняем сами, как нечто привычное.

Итак, движение быстрее $\frac{1}{7}$ секунды неделимо.

Это грустно.

Впрочем, мне все равно. Я человек талантливый...»

А вот от Зощенко достается другому талантливому «серапиону» — Всеволоду Иванову, увлекающемуся тогда «нутряным», псевдонародным стилем:

«...Прохожий снял с плеча берданку и выстрелил в воздух. Сумным гулом покатило по лесам и степям, пригнулись травы еще ниже к земле, и из-за деревьев испуганно вышла луна.

— Это я в Бога, — просто сказал прохожий и матерно улыбнулся. Запахло кружевными травами сладостно и тягуче».

Друзья вроде не обижались. Любое «своеобразие стиля» нарушало привычный строй речи, легко превращалось в пародию. И гениальнее всех

защитился от пародий Зощенко — писал собственные рассказы уже как пародию. Писал так, что более острой пародии на нынешнюю жизнь и литературу уже и быть не могло. Речь его настолько смешна, что высмеять его вряд ли кому было под силу.

Каждый «серапион» «рыл свою траншею», но главный враг пока был у них общий. В сатирической стенгазете, которую выпускали они, в отделе «Героическое прошлое» был изображен некий дикарь, замахнувшийся огромным камнем. На камне была надпись — «На посту». Имелся в виду самый преданный власти журнал «На литературном посту».

В мае 1924 года Слонимский, Зощенко, Каверин, Полонская, Никитин, Вс. Иванов подписали письмо в ЦК РКП(б) «Мы протестуем против огульных нападков на нас. Тон таких журналов, как “На литературном посту”, и их критика, выдаваемая притом ими за мнение РКП(б) в целом, подходит к нашей работе заведомо предвзято и неверно».

Главным учителем «серапионов» был Евгений Замятин, один из преподавателей Студии. Великий роман Замятина «Мы» надолго был запрещен и забыт, вернулся к читателю только в 1960-е годы, и мы, содрогаясь, прочли эту страшную антиутопию — о том, что могло случиться с нашей страной, и почти что уже случилось. Замятин — в те времена, когда вокруг него сплотились «серапионы», — был писатель уже успешный, видный. Джентльмен, прекрасно владеющий английским, он стоял в литературе тех лет особняком и, наверное, хотел создать себе, как сейчас говорят, «фокусную группу», компанию талантливых последователей. В группу вошли только самые яркие, самые талантливые, самые дерзкие из студийцев.

Бдительный советский литературовед Л. Плоткин в своей убойной статье «Проповедник безыдейности — Зощенко» вспоминает и Е. Замятина.

«Сам Замятин довольно подробно рассказывал о том, как он обучал серапионов языку, сюжету, ритму и инструментровке... Что же представляло собой творчество Замятина, каковы были его литературные позиции? В статье “О литературе, революции, энтропии и прочем” (сборник “Писатели об искусстве и о себе”, 1924 год) он отстаивает право на еретическую литературу, так как-де она представляет собой единственное лекарство от энтропии человеческой мысли. Он писал: “...но вредная литература полезнее полезной: потому что она — антиэнтропийна, она — средство для борьбы с обывательством, склерозом, корой, мхом, покоем”. Он полагает, что ошибочная философия нужнее истинной: “Пусть ответы неверны, пусть философия ошибочна — ошибки ценнее истин: истина — машинное,

ошибка — живое, истина — успокаивает, ошибка — беспокоит”. “Реализм, — писал Замятин, — не примитивный... в сдвиге, в исканиях, в кривизне, в необъективности”. На этих истинах, — пишет Плоткин, — воспитывался Зощенко...»

И замечательно, надо сказать, воспитался! Замятин считал риск абсолютно необходимым делом. И это правильно!.. Хотя и смертельно опасно.

Как, в конце жизни, разошлись «серапионовы пути»? Под одной обложкой они напечатались лишь однажды — в альманахе «Серапионовы братья» в 1922 году.

С самого начала образовались два крыла — «западники» и «восточники». «Западники» (Лунц, Каверин, Слонимский) склонялись к динамичному действию в духе американских боевиков, к остросюжетной новелле, где главное — фабула. «Восточники» (Зощенко, Вс. Иванов) были за подражание фольклору, за работу с языком. Константин Федин, с биографией не совсем обычной (в 1914-м оказался на учебе в Германии, был интернирован и пробыл там почти всю войну), прославился интересным романом «Города и годы», написанным в 1924-м. Роман описывает революционные события на Волге, но события идут в обратной последовательности — от конца к началу! В 1933–1935 годах он пишет роман «Похищение Европы», который считается первым удачным политическим романом в Советской России. Вениамин Каверин стал одним из самых любимых советских писателей — все мы в школьные годы зачитывались его увлекательным романом «Два капитана». Каверин оказался одним из самых верных «братьев», поддерживал Зощенко всегда, даже в самые рискованные моменты.

Конечно, не мог не сказаться жизненный опыт «серапионов», у каждого разный. С какой стати Вс. Иванов, пришедший в Студию в военной шинели, должен был отказываться от богатого своего военного опыта? Его повесть «Бронепоезд 14–69» (1922) сразу сделала его знаменитым — и в общемто «созвучным» требованиям властей. А как еще он должен был писать? Он писал то, что видел. Пьеса с этим названием, поставленная в 1927-м, долго шла на сценах страны.

Вовсе не все «серапионы» хотели идти против господствующей идеологии, некоторым она оказалась близкой. И вскоре некоторые «серапионы» выдали сочинения вполне «в духе времени»: Константин Федин написал, как я уже сказал, «Похищение Европы», Николай Тихонов — книгу очерков о Туркмении «Кочевники» (1930) и повесть о Первой мировой «Война» (1931). Романтические поэмы Николая Тихонова

«Баллада о синем пакете» и «Баллада о гвоздях» (1921–1922) стали революционной классикой. Изысканный, интеллигентный Михаил Слонимский написал вполне лояльную власти «Повесть о Левинэ» (1935).

Евгений Замятин, глядя на своих питомцев, в сердцах заявил, что «серапионы сошли с рельс и скачут по шпалам». И в 1931 году уехал из России навсегда. Еще раньше, в 1923-м, уехал за границу лечиться Лунц. В 1924 году Никитин и Вс. Иванов переехали в Москву. Группа фактически распалась. И тем не менее — память о юношеской литературной дружбе сохранилась у них надолго. Понятие «серапион» для каждого из них многое значило, обозначало, может быть, самое лучшее, что было в их жизни, — и они всегда, по возможности, старались действовать согласованно, друг другу помогать. И это длилось довольно долго... Впрочем, для каждого был свой «срок верности», свой, присущий только ему, «запас надежности».

Один из «серапионов», подававший тогда большие надежды Николай Никитин, вспоминал: «...там царствовало бескорыстие, там не было ни ненависти, ни зависти».

Федин, будущий советский классик и крупный начальник, заметил: «Всех нас изумительно связало наше братство и вправду сроднило».

Горький писал им: «Чувство дружбы так хорошо, крепко держало вас на земле и не дало погибнуть вам».

Самыми известными из «Серапионовых братьев» сделались Николай Тихонов, Всеволод Иванов, Вениамин Каверин, Константин Федин, Михаил Зощенко. Некоторые исследователи причисляют к «серапионам» и Виктора Шкловского, который активно участвовал в их жизни. И проследив судьбу каждого из них, увидим, как влияла на людей советская власть и как они влияли на нее.

Долгое время, как уже сказано, они держались дружно. Когда Лунц, серьезно больной, оказался за границей, все «серапионы» посылали ему нежные письма, и даже сдержанный Зощенко пишет, что сын его Валерка умеет говорить слово «Люнц» — «передай ему привет от “Люнца”», — отвечает растроганный Лунц.

Лунц, которого называют иногда идеологом «серапионов», умер рано, в двадцать три года, но «серапионы» старались помогать друг другу — хотя бы в память о «Люнце»...

В 1927 году организовалось кооперативное «Издательство писателей в Ленинграде», при активном участии «серапионов», и один из них, Груздев, писан Горькому на Капри: «“Издательство писателей в Ленинграде” объединило Федина, Зощенко, Слонимского, Тихонова...»

Многое их сплавляло, а что-то разъединяло. Жизни всегда удается «вбить клин». Стремление к успеху, к власти, материальному благополучию — все это постепенно разъедает дружбу, превращает друзей в соперников, порой и во врагов. А борьба даже за простое выживание была тогда очень жестокой... В тех же «Литературных записках» — очень интересная статья о выделении пайков в зависимости от определенной «художественной квалификации»!

Кто и как будет определять твою «художественную квалификацию» — вот вопрос! Невольно хочется как-то «подсуетиться», высунуться, забежать вперед... Но пайковый вопрос разлучил их не сразу.

Жена Всеволода Иванова вспоминает (*Иванов Т.О. Зощенко// Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«С “серапионами” были у Всеволода самые прочные и длительные дружеские связи, что стало для меня сразу очевидным. Груздевы устроили специальный “прием”, на который Всеволод повез меня в 1929 году знакомиться со всеми “серапионами”.

Каждый год “серапионы” отмечали “свой” день — 1 февраля. Став москвичом, Всеволод ездил в Ленинград “на дату”. 30 ноября 1925 года Всеволод пишет Горькому: “В феврале будущего года, Алексей Максимович, исполняется пять лет Серапионов. Приезжайте в гости к первому февраля в Ленинград! Будет весело, мы собираемся каждый год и веселимся. В прошлом году было очень хорошо!”

О той встрече, когда “было очень хорошо”, рассказывал мне не только Всеволод, но и Михал Михалыч <Зощенко>, который был инициатором розыгрыша Груздевых, в чьей квартире происходили серапионовские встречи. Чем-то отвлекши хозяев на кухню, расшалившиеся, как мальчишки, “серапионы” быстро перетащили и переставили в чинной груздевской квартире всю мебель и очень радовались изумлению и растерянности аккуратных Груздевых. В черновиках “Истории моих книг” Всеволод пишет: “...Я любил и люблю поныне 'Серапионовых братьев'. Мы были и учителями, и учениками друг у друга. Когда М. Горький познакомил меня с молодыми писателями 'Серапионовыми братьями' из Дома искусств, я стал 'серапионом' и принял шуточную кличку 'брат алеут’”.

Илья Александрович Груздев рассказывал мне, как всех их поразил в первый свой приход к ним Всеволод, какое впечатление произвел прочитанный им рассказ, начинающийся так: “В Сибири пальма не водится...”. Рассказывал Илья Александрович и о реакции Михал Михалыча. Уже на второй встрече он сказал: “Не валяй дурака, Всеволод, а

скажи прямо, какой университет ты окончил. Это ведь только Веня Каверин, утомленный своим образованием, поддается на твои факирские фокусы”.

В письме литературоведу Н.Н. Яновскому Всеволод писал: “... Например, я никак не могу согласиться, что взгляды группы 'Серапионовы братья' так уж чужды нам. Во-первых, взгляды эти не представляли такую уж монолитную философию и единую эстетику, о которых, кстати сказать, мы знали тогда очень мало. 'Серапионовы братья' были разные люди, и нельзя путать статью Л. Лунца — очень молодого человека, с очень молодыми, пылкими воззрениями, — с жизненным путем многих, весьма отличных, как Федин, Зощенко, Тихонов, — советских писателей”.

Всеволод в “Истории моих книг” рассказывает: “Жили мы почти голодно, почти дружно и почти весело. Мы собирались один раз в неделю. Мы были безжалостны друг к другу. Несешь рассказ и думаешь получить одобрение, порадоваться, а приходилось порой испытывать ужас и презрение к самому себе.

Не замечая ни испуга на лице автора, ни сострадания на лицах других 'серапионов', очередной оратор — особенно хорош был в этой роли Н. Никитин, 'брат ритор' — обстоятельно разбирал, хвалил или дробил прочитанное. Слышался сердитый баритон Фебина, радостный тенор Льва Лунца, и умоляюще сопел Шкловский — он хоть и не принадлежал к 'серапионам', но был самым близким ходатаем и защитником. В. Шкловский, оглядев однажды наши голодные лица, сказал вполголоса и мечтательно:

— Хорошо бы приобрести мешок муки, поставить его в углу — и чтобы каждый приходил и брал себе, сколько ему нужно.

Мы были разные, то шумные, то тихие, то строптивые, — и литературу мы понимали по-разному, но все вместе мы полны были страстного желания совершенствоваться. Во имя этого мы были безжалостны к слабостям друг друга и приходили в кипящую радость при успехах”».

Многое случилось в их жизни... В 1943 году Федин помог Зощенко, дав положительный отзыв на его повесть «Перед восходом солнца». Но повесть эта все равно сыграла в судьбе Зощенко самую роковую роль. Николай Тихонов, «бесстрашный гусар», в декабре 1943 года — на расширенном заседании Президиума Союза советских писателей, посвященном журналу «Октябрь» (где были опубликованы первые две части повести), называет «Перед восходом солнца» «вредным

произведением», затем подвергает резкой оценке творчество Зощенко в статье «Отечественная война в советской литературе» (Большевик. 1944. № 3, 4). Впоследствии — ссылается на то, что «ему приказали»... Да — «пайковый вопрос» довольно резко повлиял на «братьев».

Заглянем в самый конец истории «Серапионовых братьев»... Некоторые из «серапионов», повторю, стали знаменитыми советскими писателями — Федин, Тихонов, Каверин. Портрет Тихонова — почтенного седого старца в строгом «партийном» костюме со звездой Героя Социалистического Труда висел в холле Дома творчества писателей в Комарове, и у дерзкой литературной молодежи никакого почтения, помню, не вызывал. Вениамин Каверин написал замечательную книгу «Два капитана», ставшую «советским бестселлером», особенно для подростков, потом было еще несколько заметных романов... В исповедальных записках, появившихся уже после перестройки, Каверин откровенно признал, что дарование его оказалось небольшим, и после «Двух капитанов» ничего значительного он не создал. Но, как говорится, дай Бог каждому такой скромности... Единственный из «серапионов», кто остался читаемым и любимым и после советской власти, — это Михаил Зощенко. Может быть, прав Марсель Пруст, утверждавший, что от литературы в веках остается только гротеск? Из всех «серапионов» самый успешный — Зощенко... Он же — самый несчастный и гонимый.

В середине шестидесятых я видел Михаила Слонимского. В Доме Зингера... Тогда наметилось что-то похожее на бурные двадцатые, и я, загоревшись литературой, пришел сюда, в знаменитый «Дом под глобусом», который воспел еще Заболоцкий: «Летел по небу шар крылатый, и имя Зингер возносил». Это — Дом книги, один из самых знаменитых литературных домов Петербурга. Здесь после революции открылось сразу множество интересных издательств, и по извилистым лестницам в стиле модерн бегали молодые гении — Хармс, Введенский, Алексей Толстой, работали редакторами Алейников и Маршак. Здесь ходил и Зощенко. Издавался в Гослитиздате. Здесь встретил самую, пожалуй, большую любовь своей жизни — Лидию Александровну Чалову.

В шестидесятые годы на третьем этаже, за широкой парадной лестницей, в узком коридоре было издательство «Советский писатель», и при нем — литературное объединение, выпустившее многих известных — и уже почти забытых — хороших писателей. Михаил Леонидович Слонимский — высокий, сутулый, горбоносый, седой, в разношенном твидовом пиджаке, грустный, доброжелательный, мудрый, сильно влиял на нас даже одним своим присутствием. Он был «из прошлого», великого и

загадочного — и уроки прошлого были нам очень важны. Шепотом между нами говорилось, что Слонимский — не лучший из «серапионов», шел на уступки власти, порой даже — недопустимые (как нам казалось из наших, довольно уже безопасных годов). О прошлом Михаил Леонидович говорил мало, и уже гораздо позже стало известно, что именно он — главный друг Зощенко, бывший с ним в самые горькие для того минуты. Да, по-разному сложились судьбы когда-то дружных «Серапионовых братьев», некоторые из них «гнобили» Зощенко... и когда было можно — помогали ему. А когда-то казалось им: братья навек.

СИРОТА

Жизнь писателя всегда щедра на разные горестные происшествия, она словно заботится: а вдруг сюжетов не хватит? Рано осиротел Лев Толстой (может, поэтому и написал с таким чувством о детстве — отрочестве — юности).

Рано остался без родителей и Зощенко — и это горе отпечаталось весьма сильно. В 1907-м, еще тринадцатилетним мальчиком, он увидел — причем своими глазами, «вплотную» — смерть отца. А 12 января 1920 года умерла его мать, причем погибла именно из-за окружающего ужаса — голод, террор, эпидемии, отсутствие врачей. И Михаил ничем не мог ей помочь! Только — написал обо всем этом:

«Двенадцатое января 1920 г.

Холодно. Идет пар изо рта.

Обломки моего письменного стола лежат у печки. Но комната нагревается с трудом.

На постели лежит моя мать. Она в бреду. Доктор сказал, что у нее испанка — это ужасный грипп, от которого в каждом доме умирают люди.

Я подхожу к матери. Она — под двумя одеялами и двумя пальто.

Кладу свою руку на ее лоб. Жар обжигает мою руку.

Гаснет коптилка. Я поправляю ее. И сажусь рядом с матерью, на ее кровать.

Долго сижу, всматриваюсь в ее измученное лицо.

Кругом тихо. Сестры спят. Уже два часа ночи.

— Не надо, не надо... не делайте этого... — бормочет мать.

Я подношу к ее губам теплую воду. Она делает несколько глотков. На секунду открывает глаза. Я наклоняюсь к ней. Нет, она снова в бреду.

Но вот ее лицо делается спокойней. Дыхание ровней. Может быть, это был кризис? Ей будет лучше...

Я вижу — как будто бы тень проходит по лицу моей матери. Боясь что-нибудь подумать, я медленно поднимаю свою руку и дотрагиваюсь до ее лба. Она умерла...

Гроб несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. И сижу рядом с нищими. Я сам нищий. У меня нет ничего впереди. И я ничего не хочу. У меня нет никаких желаний. Мне только жалко мою мать...»

Чувство сиротства определило всю его жизнь. Он пытался найти

поддержку — в друзьях, в женщинах, но всю жизнь так и прожил — сиротой!

ТРУДНО БЫТЬ МУЗОЙ

В начале июля 1920 года он женился на Вере Кербиц-Кербицкой и переехал к ней на улицу Б. Зеленина, дом 9, квартира 83. Вот как он написал об этом:

«Новый путь

На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка.
Я везу эти вещи на новую квартиру.
В моей жизни перемена.
Я не мог остаться в квартире, где была смерть. Одна женщина, которая меня любила, сказала мне:
— Ваша мать умерла. Переезжайте ко мне.
Я пошел в загс с этой женщиной. И мы записались. Теперь она моя жена.
Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону.
Это очень далеко. И я с трудом толкаю мою тележку.
Передо мной — подъем на Тучков мост.
У меня больше нет сил толкать мою тележку. Ужасное сердцебиение.
Я с тоской посматриваю на прохожих. Быть может, найдется добрая душа — поможет мне взять это возвышение.
Нет, прохожие, равнодушно посматривая, проходят мимо.
Черт с ними! Я должен сам... Если б только не перебои сердца...
Глупо умереть на мосту, перевозя кресла и стол.
Изнемогая, я вкатываю тележку на мост.
Теперь легко!»

Вера Владимировна Кербиц-Кербицкая, его жена, оставила, к счастью, воспоминания, и часто ее видение событий отличается от зощенковского. Не согласна она была и с той скупой, даже сухой сценой, изображающей создание их семьи. Да — Зощенко порой был скуп в чувствах, огорчал Веру Владимировну... Главная жизнь писателя — в его рассказах! Но тем не менее их семейная жизнь началась.

Первого августа 1920 года он зачем-то подает заявление с просьбой вновь принять его в Петроградский университет на факультет

общественных наук (филологическое отделение). Его взяли, но он не ходил на занятия и был отчислен. Отчаяние чувствуется в его метаниях, в попытках где-то притулиться, найти свое место, где можно заработать или хотя бы «отсидеться», пока не придет успех. Помимо службы в военном порту, два раза в неделю, по вечерам, он подрабатывает в сапожной мастерской на Васильевском острове. Но главное — он пишет и пишет. Это — его единственное спасение. Больше, по здоровью, он не пригоден ни к чему. И главное — талант никогда не дает человеку покоя, «требует своего»: результатов! И Зощенко посещает студию в Доме искусств на Невском. Ходит с Петроградской пешком — транспорт не работает, разруха! Вера Владимировна оставила замечательные воспоминания... но читать их — чем дальше, тем грустнее (Зощенко В. Как начинал Зощенко // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник):

«Возвращаясь вечером домой, после занятий в будни, он всегда подробно рассказывал мне о всех студийных делах, о своих товарищах — будущих “серапионах”, о писателях, которые вели занятия в студии — о Чуковском, Замятине, Ремизове, Гумилёве...

Мы спали тогда большей частью вместе на “нашей оттоманке” в гостиной — где обычно топилась печка — и Михаил шутя говорил о “выгодах семейной жизни” — о том, что спать вместе теплее.

Появления ребенка он ждал с интересом и так же, как и я, мечтал о девочке... Но когда я говорила о возможности появления мальчика и обсуждался вопрос, как его назвать, помню, сказал — “только не вздумай назвать его Дмитрием!” (так звали «первую любовь» весьма «романтической» Веры Владимировны. — В. Я.)».

И все явственнее проявляется его своеобразный характер. Прежде «околдованной» Верой Владимировной, Зощенко постепенно возвращается к холостяцким привычкам и к Вере охладевает. «“Из пальца любовь не высосешь!” — его миленькая фраза!» — записывает в дневник Вера Владимировна. Со стороны гении порой кажутся эгоистами. Но на самом деле им, конечно, самим видней, как жить и работать. И оставленные ими шедевры — доказательства их правоты. Хотя окружающим, как правило, с ними нелегко! Сам Зощенко насмешливо это называл: «нестерпимый гений».

Пятого мая 1921 года родился сын Валерий. Семья Зощенко меняет квартиру — там же, на Петроградской, переезжает на Большую Пушкинскую, дом 22. Но «каторга» писателя, его работа, всегда с ним, где бы и как он ни жил. В марте 1922 года Вера Зощенко заносит в дневник:

«Мой бедный мальчик! Он так плохо себя чувствует все время! Больное сердце. Слабые легкие!.. А работать приходится много, слишком много, не жалея себя, не щадя своих сил... днем — служба до 5 часов, вечера — за творческой работой... В ту зиму он писал свои большие рассказы — из деревенской и “старой” жизни — Черная магия, Гришка Жиган, Последний барин, Веселая жизнь, а также начал писать мелкие юмористические рассказы. Все они печатались в журналах».

Ее воспоминания, при абсолютном доверии и уважении к ним, плохо сочетаются с воспоминаниями Михаила Слонимского (*Слонимский М. Михаил Зощенко // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*): «Миша Зощенко вваливается ко мне в 3 часа ночи, с кепкой на затылке, приплясывает, напевает что-то нечленораздельное и рассказывает о своих многочисленных романах».

Зощенко то вдруг обращается к семейной жизни — то «рвется на свободу».

Вот Вера Владимировна, заботясь о свежем воздухе для младенца, живет на даче в Шувалове, а Михаил Михайлович предпочитает общаться с нею по почте: «Вера, ты странный человек! Мы условились взять твои сапоги — я взял. Заплатил 10 тысяч. Теперь ты пишешь... чтобы я тебе прислал эти деньги и еще 10 тысяч... Мне вот сейчас надо платить 6 тысяч за дрова. Черт их знает, откуда достать, придется продать крупу или селедки».

Переписка с Верой теперь мало напоминает «романтическое письмо» прежних лет. Зато ближе к его фирменным горько-смешным рассказам, с дровами и селедкой. Жизнь писателя куда надо ведет! Публике нравятся сюжеты нынешние, соответственно времени.

Чуть позже, когда ему удастся урвать продуктовый паек (благодаря Горькому их стали иногда давать писателям), тон его слегка «теплеет»:

«В.В. Зощенко.

Пущено июля 1 дня.

С совершенным своим решпектом посылаю Вам, жена моя Вера, один малый куверт песку — сахарного рафинада, другой малый куверт, но побольше — белой вермишели и вовсе малый оковалок свинины...»

Но вдруг — после такого обнадеживающего начала — убийственная фраза: «...засим предваряю Вас, что жизнь в Санкт-Петербурхе слаще в холостом образе, чем в женатом, и даже жизнь это сладчайшая!»

Вот так фрукт! Да — после многих лет переживаний, метаний, сомнений весьма своеобразная личность нарисовалась! Трудно удержаться и не сказать его же словами: «Тут-то он и развернул свою идеологию в

полном объеме!» Навестить жену в халупке в Шувалове, где ребенок их дышит свежим воздухом, ему, видите ли, вдохновение мешает!.. И в то же время совершенно не отвлекает от вдохновения звонкий смех хорошеньких поклонниц в холостяцкой его комнатенке в Доме искусств.

Нельзя сказать, чтобы он отличался особой жестокостью, но сразу и четко дал понять: «Полная независимость! Никакого принуждения!»

А Вера Владимировна мечтала о «большой любви»! Ей остается только грустно фиксировать в дневнике: «Михаил занят своей работой и своим здоровьем, да и вообще он по натуре человек замкнутый, холодный... Если и любит — не скажет, не приласкает».

В 1922 году он чувствует, что уже может зарабатывать пером, и — увольняется с места бухгалтера в военном порту в Новой Голландии, а в сентябре 1922-го, недовольный криками младенца, переезжает в ДИСК, точнее, в коммуналку в том же доме, где живут они теперь с другом Слонимским.

Вера Владимировна в курсе его амурных походов (да он их и не скрывает от нее): «В первый раз в жизни Михаила женщина, которая как-то заинтересовала его...»

То была подруга Дуси, будущей жены его друга Слонимского. С этой своей пассией Зоценко появляется везде. А Веру Владимировну никогда с собой не берет, словно подчеркивая: «Никаких обязанностей!»

Однако и в отношении к «пассиям» Михаил довольно привередлив, быстро остывает. Однажды говорит Вере Владимировне, что зайдет его «поклонница» и чтобы Вера дала ей чемодан... Потом Вере же устраивает скандал: зачем Вера отдала той самый лучший чемодан?! Своеобразная личность.

С Верой Владимировной теперь отношения суровые: «Я исправляю его рукописи, просматриваю корректуры, переписываю рукописи — т. е. являюсь товарищем-помощником, забочусь о его столе, о его белье, вообще веду хозяйство, хотя мы и живем отдельно, играю роль полуэкономки-полуприслуги...»

Но семья уже не отпустит окончательно — никогда. Вот отрывок из книги Зоценко «Перед восходом солнца»:

«23 сентября 24 года — “Дом Искусств”.

Окно моей комнаты выходит на угол Невского и Мойки. Начинается наводнение. Я вскакиваю в трамвай и еду на Петроградскую. Там живет моя семья и крошечный сын. Они живут у своих родных... Я переехал в Дом Искусств, чтобы крики младенца не мешали моей работе. Теперь я спешу к ним. Они живут в 1 этаже на Пушкинской. Быть может, им нужно

перебраться на 2 этаж. Мы едем по воде. Деревянные торцы мостовой всплыли. И вдруг — неожиданная картина — вода выступает из всех люков и стремительно заливает мостовую. Вода уже на ступеньках лестницы. С узлами мы переходим на 2 этаж. На ступеньках я делаю отметки мелом. В 5 часов вода уже плещется у дверей. Вода поднялась почти на 2 сажени. На темном небе зарево каких-то пожаров. Ужасное зрелище. На проспекте — баржа с дровами. Плывут бревна. Лодка...»

Да-а. Семья — это вечная проблема. Без тебя может утонуть... Но порой — и спасает.

Вера Владимировна совершает очень важный, определяющий ход: снимает, а потом — покупает дачу в Сестрорецке. Появление Сестрорецка в жизни Зоценко очень важно. Зоценко получил наконец «натуру», с которой можно писать — именно с Сестрорецка, маленького городка, где все видно, «списаны» все его «Сентиментальные повести». У него появляются наконец свои «Пушкинские горы», свой особый уголок земли, который он любил всю свою жизнь и где нашел наконец покой... Сначала — в хорошем, а потом и в грустном значении этого слова.

Вера Владимировна пишет в дневнике: «Михаилу мы устроили кабинет в бывшей ванной комнате — Ольга <сестра Веры> притащила досок, положила их на ванну, набили матрасник сеном — и во время своих довольно частых приездов Михаил помещался в этой ванной. В которой он и написал свою “Козу”...»

ТАЙНА СМЕЮЩИХСЯ СЛОВ

То было время, необыкновенно щедрое на таланты, «перевернувшее» старое и открывшее новое, — и это новое бурно приветствовалось «веселыми дикарями, ворвавшимися во дворцы». Ведь в то же самое время «засияли» и Бабель, и Олеша, и Пильняк, и Платонов.

И важно было — не затеряться, «определить себя».

Скрупулезный Зоценко тщательно анализирует чужие стили — и неизменно отвергает. Не случайно он начал с критических сочинений, названных «На переломе». Вот Зоценко анализирует тексты весьма тогда модного Бориса Пильняка, пытавшегося, как и он, писать «за народ», и насмешливо «выщепляет» основу авторского метода: «Все босые».

Некоторые свойства, достойные подражания, он видит скорее у дореволюционной Надежды Тэффи.

Главное, что привлекает Зоценко в ней — и к чему он, безусловно, стремится: «...какая-то тайна смеющихся слов»! В статье о Тэффи (набросанной зимой 1919/20 года) он обозначил проблему, которая «замучает» и его: «Писательница говорит: “Позвольте, я не смеюсь, мои рассказы печальны”, а мы не верим ей и смеемся».

Зоценко точно формулирует особенности ее письма: «...оставлены 2–3 характернейшие черты — и в этом все мастерство и талантливость — безобразно преувеличенные дают жизнь и движение героям». «Итак, сущность рассказов: основа их печальна, а часто и трагична, однако внешность искренне смешна...» Зоценко определяет форму рассказов Тэффи (и будущих своих): «Всё коротко. На три секунды. Всё напряженно. Нельзя скучать. Природа ушла вовсе, и если и есть, то смешная. Всё на 3-х страницах. Идея вся определена, не спрятана под конец, не растянута на сто страниц» (см.: *Зоценко М.М. Н. Тэффи Публ. В.В. Зоценко / Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974*).

Всё! Зоценко наконец нашел свою гениальную форму. Теперь только надо наполнить ее гениальным содержанием. Вот отрывок из письма младшему брату Виталию... Реальный случай — и в то же время абсолютно зоценковский сюжет:

«Я недели три назад написал тебе письмо, но при этом вышел такой случай.

Написал я на службе, запечатал уж. Думаю, опущу в кружечку сегодня. А один человек увидел письмо.

— В Луки? — говорит.

— В Луки.

— Ну, — говорит, — счастливый же вы! Везет же людям! Давайте письмо, я передам. Еду в Луки, знаете ли, и передам самолично. В собственные, значит, ручки передам. Это вам не почта какая-нибудь, которая задерживает.

Ну, я и дал ему письмо.

Только вернулся он через две недели с лица бледный и не в себе, письмо вернул помятое и в крови и на все вопросы отмалчивался. Ну, думаю, плохо ездить в Луки. Совершенно плохо. И только потом выяснилось, что в Луки он и не ездил, а “побили ему морду” в Колпино на свадьбе, из ревности».

К счастью (и к несчастью), наш русский быт просто набит подобными «зощенковскими» сюжетами. Ситуация наша, типичнейшая: «Хотели, как лучше, а вышло наоборот». Как говорится, садись и пиши! Но любой другой напишет — и читать нельзя. Сухо. Ухо дерет! Любой мужик в пивной лучше расскажет. Нужен язык! И эта истинно зощенковская речь тут уже проступает: «Ну, думаю, плохо ездить в Луки. Совершенно плохо».

И в то же время — это еще не истинно зощенковский рассказ. Слов многовато, а прелести — маловато. Но дело пошло.

Конечно, если взять вьедливых литературоведов — они, безусловно, нашли предшественников Зоценко... не мог же гений взять и появиться вдруг просто так, «не объясненный ими»! Литературовед Захаревич, покопавшись в книгах, находит почти зощенковский разговор в журнале «Сатирикон» за 1911 год. Диалог «двух поддёвок» (одежда простолюдинов), увидевших налетном поле необъяснимое:

«— Как же это они так летают?

— А что?

— Ведь чижало!»

Летом и осенью 1921 года Зоценко, все больше ощущая свое «погружение в литературу», пишет «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», принесшие ему первую популярность. В гостях у Евгения Замятина, под общий смех и крики одобрения, читает рассказ из синебрюховского цикла — «Передать князю» (впоследствии названный «Великосветская история»). Это было явление зощенковского бесподобного языка! Или вот — «Чертовинка»:

«...Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю — уже сидят двое: баба моя Матрена Васильевна Синебрюхова да Егор Иваныч. Чай кушают. Поклонился я низенько.

— Чай, — говорю, — вам да сахар! Что же тут такоеча приключилось, Егор Иваныч Клопов, не томите меня для ради Бога.

А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко.

— Вот, смотрю, спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька — все на том же месте.

Только вдруг подходит ко мне Егор Иваныч, ручкой этак вот передо мной крутит.

— Ты, — говорит, — чужие предметы руками не тронь, а то, говорит, я сам за себя не отвечаю.

— Как же, — намекаю, — чужие предметы, Егор Иваныч, если это, безусловно, мои штаны? Вот тут даже, взгляните, химический подпис: Ен Синебрюхов.

А он:

— Нет тут твоих штанов и быть их не может, тут, — говорит, — все мое добришко пополам с Матреной Васильевной.

А сам берет Матрену Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину.

— Вот, — говорит, — я, а вот — законная супруга моя, драгоценная Матрена Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону и подпись Ленина. Тут поклонилась мне Матрена Васильевна.

— Да, — отвечает, — воистинная все это правда. Идите себе с Богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для ради Бога постороннему счастью.

Очень я опять растрогался, вижу — все пошло прахом, и ударил я тут Егор Иваныча. И ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так, для ради собственного блезиру. А он, гадюка, упал нарочно навзничь. Ногами крутит и кровью блюет.

— Ой-ё-ёй, — кричит, — убийство!

Стали тут собираться мужички. И председатель тоже собрался. Фамилия — Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егор Иваныча поднимать...

А только смотрю — многие прямо-таки мной восхищаются и за меня горой стоят и даже подзюкивают в смысле Егор Иваныча.

— Побей, — подзюкивают, — Егор Иваныча, а мы, говорят, в общей куче еще придадим ему и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство.

Только замечаю: председатель Рюха перешептался с Егор Иванычем и ко мне подходит.

— Ты что ж это, — говорит, — нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты,

так твою так, выступаешь супротив Ленина? Контр твоя революция нам теперь вполне известна, и даже если на то пошло, есть у меня свидетели.

Вижу — человек обижается, я ему тихеньким образом внедряю:

— Я, — говорю, — беспорядков не нарушаю. Ни отнюдь. Но, говорю, как же так, если это мое добришко, так имею же я право руками трогать? И штаны, говорю, мои, взгляните — химический подпис.

А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает.

— Нет, — говорит, — ничего тут не выйдет. Подпись Ленина. Лучше, — говорит, — ушел бы ты куда ни на есть. Сам посуди: суд да дело, да уголовное следствие, — все это — год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть, выяснится, что ты — трудовой дезертир».

Популярен был «Синебрюхов» в основном среди братьев-писателей. Для народа нужно было что-то другое... Покороче! Проще! Нужна короткая фраза — «для бедных», для едва научившихся читать. И Зощенко на это идет — не боясь «потерять репутацию». Казалось бы, другие писатели пишут вещи более значительные, громкие, актуальные, а Зощенко так — «шустрит по мелочам», «подлаживается под неприятеля читателя»... зато печатают его охотно и много. В январе 1922-го выходит в свет рассказ «Война» (Литературная неделя. № 9), в феврале — один из «ударных» его рассказов, которым он очень гордился, — «Лялька Пятьдесят» (Красная новь. № 1–5), далее — «Черная магия» (альманах «Наши дни». 1922), «Гришка Жиган» (петербургский сборник «Поэты и беллетристы». 1922), «Последний барин» (Красный журнал для всех. 1922. № 2), «Веселая жизнь» (Петроградская правда. 1922. 25 июня), «Любовь» (Литературная неделя. № 9)... Еще три рассказа вскоре напечатаны А.К. Воронским, крупнейшим литературным деятелем той эпохи, в руководимых им альманахах «Наши дни», «Круг», «Веселый альманах».

В современном полном собрании сочинений Зощенко, составленном профессором Игорем Сухих, собрано все, вышедшее из-под зощенковского пера. И, скажем, рассказ «Гришка Жиган» идет там аж под номером 253, а, скажем, «Веселая жизнь» — под номером 275:

«— Ах, ах! — говорит циркачка, — извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть.

— Ну-с, — говорит генерал, — это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат Дидюлин, в полпивную, неси полдюжины пива. Нужно жить да радоваться.

Побежал Дидюлин в полпивную, возвращается — сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачные. Вскоре после того они и поехали. В Кисловодск».

Написано уже в чисто зощенковской интонации, с его фирменным «неуклюжим добродушием», от которого и исходит главное читательское удовольствие. Читать приятно. Есть тут и некоторое расширение «моральных устоев», чем, несомненно, привлекал Зоценко массового читателя. «По ходу» генерал получает по морде от своей циркачки, собирается застрелиться... но утром денщик видит его смеющимся! Долой старые правила! Ура! Такое новому читателю, конечно, приятно! Правда, вскоре генерал в этом же «свадебном путешествии» помирает от дизентерии — так что слишком уж большого счастья Зоценко не обещает... Рассказ уже «полузоценковский»: генерал — царский, а пересказ — народный. Но с царским генералом в героях в писатели нынче не выйдешь.

Зоценко хочет быть народным писателем, для этого нужен «рассказчик из народа». Зоценко берет пример со своего великого учителя: у Гоголя рассказчик «пасечник Рудый Панько», у Зоценко — огородник Семен Семеныч Курочкин с его «Веселыми рассказами». «Есть у меня дорогой приятель Семен Семеныч Курочкин. Превосходнейший такой человек, весельчак, говорун, рассказчик».

Вот один из ранних рассказов Зоценко (якобы Курочкина): «Рассказ о том, как у Семен Семеныча Курочкина ложка пропала».

...Пропадает серебряная ложечка — последнее богатство. Семен Семеныч «грешит» на своего другасоседа, заявляет в милицию, приходит милиция, друга арестовывают... Тут много уже истинно зощенковского: характерная для него меланхолия, безнадежность, типичный для него «сюжет-ошибка»: герой добивается справедливости — и теряет на этом последнего друга. Но и этот сюжет «опровергается жизнью»: о друге тоже не стоит особо жалеть, он — растратчик... хотя конкретную ложечку, из-за которой Семен Семеныч пошел в милицию, растратчик не брал — и смотрит на бывшего друга с укором: «И ты, брат?» Не правы получают все. Все порывы ошибочны — будет только хуже. В этом «горькая соль» многих зощенковских рассказов. Вывинтили лампочку, чтобы вороватые гости не сперли, — а пьяный хозяин лег на нее и раздавил. Надежды напрасны — спасает только смех. Притом — вовсе не «разоблачительный», как считают некоторые зощенковеды, а сочувственный, добрый, прощающий. В этом — причина всеобщей любви к автору, его читаемости: читают даже полуграмотные — написано про них! Такую «формулу успеха» открыл Зоценко, «нарыл такой ход». А кто бы его любил ради «разоблачения»?

Зоценко «поймал на лету» чаяния не только читателей, но и издателей.

В журнале «Литературные записки» (1922. № 2) помещена интересная статья «Литература и нэп». Суть статьи — вместо прежних политических догм теперь на первый план выходит коммерция. Дорогую книгу нельзя продать. Нужны книжки маленькие. И Зощенко гениально в эту систему вписывается — маленькие книжки с крохотными рассказами, интересными для масс. Что ни говори — хитрый хохол, как и Рудый Панько!

Заносчивые интеллектуалы (таких было полно и тогда) называли бы это приспособленчеством, «коммерческой литературой». Но они, интеллектуалы, на самом деле нужны только самим себе! А Зощенко знали все — хотя некоторые писатели говорили о нем свысока, явно завидуя успеху его, но как бы презирая за такое «снисхождение к плебсу». Известно письмо Федина Лунцу, где он отзывается о Зощенко весьма высокомерно: «Зощенко всерьез считает свою работу в юмористических журналах стоящей!» Ну а что — их романы народ читал? Это «высокомерие интеллектуалов» (а что такого выдающегося они написали? Однако судили строго) мучило порой Зощенко не меньше, чем давление партийных догм. Но Зощенко «не свернул», шел своим путем: «Чем хуже — тем лучше!» Есть еще такая пьеска, с созвучным названием — «Орфей спускается в ад». После закрытия ДИСКА студийцев расселили по коммуналкам. Зощенко и его ближайший друг Михаил Слонимский, как помним, получили комнаты в том же доме, но с другой стороны, с улицы Герцена. Чего только не случилось в этой «суперкоммуналке»! Более страшного — и более подходящего — жилья для Зощенко и нельзя было найти. Именно здесь Зощенко писал своих «Уважаемых граждан» и «Нервных людей» — абсолютно «с натуры»! Вот рассказ — из его шедевров:

«Нервные люди

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в

девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается.

Она думает: “С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем?”

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, — чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина.

Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, говорит, ну ровно слон работаю за тридцать два рубли с копейками в кооперации, улыбаюсь, — говорит, — покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, — говорит, — на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем, то есть, не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялись вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, — говорит, — за шум, а драки нету? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось».

Фраза — «Что за шум, а драки нету?» — стала народной. Каждый из нас наверняка слышал ее тысячи раз, в самых «горячих» ситуациях, подобных этой:

«...А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся.

Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут!

Гаврилыч говорит:

— Пушай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я тепереча уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, фобами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

“Вот те, думает, клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?”

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет <...>».

Ужас под гениальным пером превращался в «шедевры смеха». И напрасно, наверное, все-таки Вера Владимировна обижалась, что Зощенко переехал из их семейного дома сюда!

Рассказы эти быстро принесли ему славу: новый читатель страстно желал «читать про себя». Многие даже грамоте обучились ради Зощенко! И потом говорили друг другу, смеясь: «Ты прям как из Зощенко!»

Но Зощенко постоянно «трепали», ругали «бдительные товарищи»: «Откуда такие герои, такие сюжеты?» «Сюжеты взяты в аккурат из действительности». Именно такой она тогда и была, и Зощенко — никакой не выдумщик, а, говоря сегодняшними терминами, подлинный «гиперреалист». Это мастерам соцреализма приходилось выдумывать нечто несусветное, а Зощенко писал то, что есть! По воспоминаниям Тамары Петкевич (*Петкевич Т.О. знакомстве с писателем Зощенко // Альманах «XX век»*. Вып. 3. СПб.: Государственный литературный музей «XX век», 2011), тогда еще очень юной знакомой Зощенко, все так и было. В шестикомнатную квартиру ее отца, арестованного советского начальника, мгновенно въехали «герои Зощенко». В бывший круглый зал въехали муж и жена, которые велели называть их исключительно «коммунисты Коммановы». Главной их мебелью были два стола, поставленные друг против друга, и по вечерам они молча сидели друг напротив друга за этими столами и читали газеты. Когда «коммунистка Комманова» однажды

выбросила в мусорное ведро чулки с дыркой, а жиличка Паша нашла их и надела, Комманова устроила ей разнос — мол, когда я выбрасываю чулки в ведро, никто не может их брать. Жизнь была дикой, но интересной. Петкевич вспоминает, что часами сидела на кухне. И не отрываясь смотрела этот «театр». Постоянно происходило что-то удивительное. Рассказывались какие-то ужасные истории о ворах и жуликах, все жили в напряженном ожидании, что вот-вот обязательно что-то украдут. Или вдруг одна жиличка заявляла, что вчера из крана тек керосин — и завязывался общий скандал на эту тему. Хотя керосин, ясное дело, из крана не тек. Грязь была такая, что, по воспоминаниям Петкевич, соседи-врачи выходили на кухню исключительно в марлевых масках... Это ли — не Зоценко? Памятник ему надо поставить за то, что он это запечатлел! Впрочем, памятник ему уже стоит. Потому люди так и раскупали Зоценко — что это было про них! И только начальство, живущее в отдельных квартирах, никак не могло понять: откуда такие герои?

Зоценко писал «энциклопедию советской жизни», — и то и дело из-под его пера вылетали настоящие «жемчужины», уже классические зоценковские рассказы, украсившие затем его Собрание сочинений. Михаил Слонимский, его друг и сосед, свидетельствует (*Слонимский М. Михаил Зоценко // Вспоминая Михаила Зоценко. Сборник*):

«Писал Зоценко в те годы много, рассказ следовал за рассказом. Вспоминаю, как он, посидев у меня, пошел по делам в своей кепочке (он так до конца дней и не сменил кепку на мягкую шляпу). И вдруг через какой-нибудь час, может быть, даже меньше, стук в дверь, и он появился снова у меня в комнате. Он был несколько возбужден, улыбался, в глазах как бы застыл смех.

— Понимаешь, — сказал он с некоторым недоумением, — написал сейчас рассказ.

— Как так? Ведь ты же уходил...

— Да нет. На лестнице схватило, и пришлось вернуться. Все-таки, знаешь, — прибавил он вдруг, — это вроде болезни. Вообще от хорошей жизни писателем не становятся. Надо что-то претерпеть или вообще стать больным.

Смех в его глазах растаял».

Рассказ, который он написал тогда, назывался «Аристократка». Он стал, как сейчас говорится, его «хитом»:

«Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое

место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме».

Кто только не читал «Аристократку» со сцены!

Среди них — лучший наш комик Игорь Ильинский! И всюду, где бы ни читали со сцены Зощенко, народ требовал: «Аристократку» давай!

«...А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

— Да, — отвечает, — действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мурмур больше. Только глазами стришет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно».

Вспоминаешь и свои ухаживания за дамами. Сколько раз «волочился, что щука»! Зощенко про всех нас написал!

«...Ну а раз она мне и говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерейке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотурьи и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо.

Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я таким гусем, таким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит».

...Невольно вспоминаешь и свои хождения с дамами в театр: даже те, с которыми вроде наладились уже отношения, в театре вдруг начинали важничать, что-то изображать! Да — нелегко было. Галстук душит, пот стекает... Адама — «изображает из себя»! Любовь вдруг — ненавистью сменялась!

«...И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул.

И молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье. Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить. А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие.

И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чертовой матери! Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные? А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, — говорит, — за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, — говорю, — за четыре? Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

— Как, — говорю, — надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушивайте, — говорю, — гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, — говорит, — я докушаю. И докушал, сволочь. За мои деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой. А у дома она мне и говорит:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездят с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки».

После этого рассказа миллионы людей стали говорить «Ложь взад!». Грубо? Зато весело.

«Держится индифферентно. Ваньку валяет!» — сколько раз в жизни пригождалась эта фраза! Интеллигенты, конечно, произносят это с иронией: «мол, цитата, сами понимаете!» — но все равно произносят. Почему на всех встречах просили читать «Аристократку», вновь и вновь? Что за радость такая? Был тут, конечно, и мстительный смех бедняков над разоренными аристократами: «Хватит! Пожрали! Ложь взад!»

И это вполне объяснимо. Пирожное — пицца буржуйская, и отношение к «пожирателям пирожных» у простых людей нервное. Но ненависти ни к кому у Зоценко нет — об этом он сам писал в одной из автобиографий.

Понимаешь и монтера, который «слетел вдруг с резьбы», боясь не расплатиться за поедаемые лакомства, однако и сама аристократка написана вполне сочувственно и даже симпатично: вообще «женщины из общества» во всех рассказах Зоценко выглядят совсем неплохо, порой даже привлекательно. Взять тот же его рассказ про зубную врачиху, которой корыстная молочница на время продала своего мужа, а тот решил остаться с симпатичной и богатой врачихой навсегда... Вот это отсутствие ненависти к кому бы то ни было и было главной причиной преследований Зоценко со стороны тех, кто ненавистью кормился, кто отвечал за «производство ненависти» в нашей стране.

А у Зоценко — при всей грусти его жизни — в рассказах дышит доброта. Вот, например, что плохого в этом рассказе? Все хорошие, и всех жалко:

«Тяжелые времена»

Перед магазином Егорьевского кредитного общества Иван Егорыч остановился. Он успокоительно похлопал рукой по брюху лошади и сказал ей:

— Входи, Маруся... Входи, не пужайся. Чичас мы тебе хомут купим, дура твоя голова. Не понимаешь своего счастья...

Лошадь тревожно фыркнула одной ноздрей и вошла вместе с хозяином в помещение».

И кобыла — симпатичная! Волнуется, как человек!

«...Покупатели радостно удивились. Кто-то с восторгом махнул рукой и сказал:

— Ну-у, лошадь, братцы, в лавку пришедши. Ах, дуй их горой!»

Зоценко дарит нам необыкновенные происшествия, как в любимых народных сказках, где животные общаются с людьми.

«Маруся остановилась у прилавка и ткнулась мордой в конторку, рассчитывая на овес.

Заведывающий испуганно отстранился и обидчиво сказал Иван Егорычу:

— Да ты что ж это, бродяга? Ты что ж это с лошадей пришедши?

— Да мне хомут надо-то, — сказал Иван Егорыч. — Примерить чтоб...

А лошадь, ты не беспокойся, она тихая. Не пужается посторонних предметов.

Заведывающий отмахнулся от лошадиной морды счетами и с

удивлением сказал, обращаясь к покупателям:

— Да что ж это, братцы? Лошадь у меня в магазине... Да что ж это такое будет? Она и нагадить может на полу... И покупателя раздавить...

— Нету, — сказал Иван Егорыч, — она дюже смирная. Гляди, стоит, в конторке роется... Не махай на ее счетами-то. Не имеешь права махать на животную.

Заведывающий побагровел, всплеснул руками и бросился к двери, призывая на помощь милицию.

— Ладно, не расстраивайся, — сказал Иван Егорыч. — Не рви глотку-то — жрать пригодится... Ну нельзя — не надо. Эка штука. Так бы и сказал: нельзя, мол, с лошадыю. Я и уйду. Дерьма тоже.

Егорыч потянул лошадь за уздечку, чмокнул губами и сказал:

— Что ли идем, Маруська. Гонят отсюда, дьяволы.

Иван Егорыч вышел из лавки, плюнул сквозь зубы на дверь и сказал, обращаясь к публике:

— Ну и времечко. Лошадь в лавку не допускают... А давеча мы с ей в пивной сидели — хоть бы хны. Слова никто не сказал. Заведывающий даже лично смеялся искренно. А этот нашелся гусь... <...>».

Кто не улыбнется, читая такое? Просто слезы наворачиваются, «слезы счастья»! Даже лошадь узнаваемая, «наша»! О Зоценко пишут — те, кто по-прежнему требует от литературы лишь ненависти — «показал мурло», «пригвоздил»... Кто бы за это его полюбил? А в рассказах его — любовь. Они греют: каким-то нескладным добродушием, терпимостью. Зоценко нашел свое «петушиное слово», приближенное к народу, «самое правильное сочетание неправильных слов», вызывающее улыбку сочувствия, ощущение «своего человека». «Как уст румяных без улыбки, *Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю*», — сказал гениальный Пушкин, и для объяснения всеобщей любви к рассказам Зоценко фраза эта, пожалуй, подходит. Публика это обожает — «чтоб не умнее их»! Тогда — любят! И не только рассказы, но и автора! Он стал «своим среди чужих», и даже — «самым своим», роднее деверя и брата. Мало кого из классиков за всю историю литературы так любила толпа, к нему приставали на улицах, появились даже авантюристы, выдающие себя за Зоценко — это уже самый пик популярности! И даже вагоновожатые, не в силах выговорить трудное название «Улица зодчего Росси», произносили, на радость пассажирам: «Улица Зоценко Росси» — и народ смеялся. Пассажиры Зоценко знали!

На мой взгляд — «лакомость» Зоценко точнее всех уловил Роман Гуль в статье «Михаил Зоценко. Молодая проза». К сожалению, статья эта хоть

и появилась в просоветской эмигрантской газете «Накануне» в Берлине — но написана была белогвардейцем, участником Ледяного похода. Как бы она помогла Зоценко, появиись здесь! А так скорее насторожила власть еще больше — «хвалит враг»:

«...Я понимаю многое. Понимаю, например, грусть Ю. Айхенвальда и Саши Черного по причине “гибели благородного”. И знаю, что новая литература должна непременно их шокировать... Ничего не поделаешь! Всеми сотрудниками толстых журналов смех молодого Зоценко ощутится как нечто шокирующее. Его смех — голый смех! Правда, он очень русский по звуку. С русским замахом. Но абсолютно без слез, без грусти, без всех исконных аксессуаров. Смех — просто смех. Ведь смеется Зоценко над вещами — над которыми многие бы лишь грустно и беззвучно улыбнулись. “Трех, сударь, смеяться!” Ну разве весело, что у “длинноусого интеллигента” жена чуть ли не с дворником Гришкой убежала? Грустить бы да грустить. А тут — смех».

Правильная, хоть и опасная мысль (и прежде всего для Зоценко)... За что Зоценко не просто любили, а прямо-таки упивались им? Может, за снятие прежних моральных запретов? Раньше было запрещено, а теперь — все можно, и даже с хохотом.

Такая вольница, безусловно, манит! Почему мы студентами так полюбили Зоценко? Раньше было нельзя, а «при нем» — можно! «И вот при такой ситуации умирает у нее муж... А, — сначала подумала она, — ерунда, ничего особенного!»

Мы хохочем. И над смертью, оказывается, можно смеяться! Красота! Почему и студенты его читали, и вольнолюбивые интеллигенты? Да ради свободы — он нам разрешил то, чего было «низзя»! И счастья — больше в его рассказах, чем несчастья! Вылупили глаза? А что ж вы тогда его читаете, когда вам плохо? Чтобы вам еще хуже стало? Отнюдь! «И вот параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение!» И вы уже хохочете. Счастливы: землетрясение, оказывается, не трагедия, а комедия! И это Зоценко нам подарил! Стал бы его кто читать в противном случае! Порой, с точки зрения «абстрактного гуманизма» (есть такой оскорбительный термин) рассказы Зоценко выглядят жестокими. Пришел нэп, появились богатеи, шикарная жизнь!.. И герой Зоценко, которому всего этого не досталось, ясное дело, злорадствовал, когда нэпману «не фартило». Тут Зоценко тоже «попал в тон». Вот рассказец:

«Сильнее смерти»

Нэпманам, разным нашим богачам и вообще иностранным капиталистам завидовать не приходится.

Жизнь у них, безусловно, тяжелая.

У них масса лишних переживаний в связи со своими деньжатами. Приходится всю жизнь следить за своим добром, прятать, дрожать, чтоб не уперли.

Тоже и подыхать при деньгах несладко. В ад-то с собой монету не возьмешь.

А очень такую удивительную денежную историю я слышал про одного нэпмана. История очень наглядно рисует капиталистов со всех ихних сторон. Вообще это есть отчаянная сатира, обернутая против нэпманов, а также против всяких людей, которые деньги обожают больше жизни.

А жил в Ленинграде такой П.Я. Сисяев. Такой довольно арапистый человек. Он в начале нэпа парикмахерскую держал. Только, кроме стрижки и брижки, он еще иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстрипывал. Ну, и, конечно, засыпался.

Он засыпался в 26 году летом. Маленько посидел, где следует. И вскоре его, голубчика, выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то, одним словом, дали — минус 7, или плюс 7, или 8, черт его разберет. Я в этих делах пока что слабо понимаю. Одним словом, его, как плута и спекулянта, выслали в Нарымский край.

И, значит, он, хочешь не хочешь, поехал».

При нашем знании истории — звучит несколько дико. Это, надо понимать, — о репрессиях он пишет так бодро?

«...А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце не было спокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь.

И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда десять царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните — государство в 24 году выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей.

Вот он, значит, на всякий пожарный случай и подзашил свое добро в тужурку и прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да еще в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги.

И стал поджидать.

Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал куда следует.

Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорей всего, он не очень худо жил. Тем более, бумажных денег у него было вдоволь

припасено. Он знай себе подпарывал брюки и вынимал что-то из бумажника. А до золота он, между прочим, не дотрагивался.

Только живет он так больше года. И вдруг хворает.

Он хворает воспалением легких. Он там простудился. Его там просквозило на работе. И он там захворал.

Конечно, кашель поднялся, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов. В боку колет. Аппетита нету. И вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью сымает он с себя кожаную свою тужурку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди.

Только, может, он проглотил их пять или шесть штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек вместе жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит:

— Мне, говорит, не так золото жалко. Я себе золота не возьму. Но я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более, воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет и, вообще, засорение желудка.

Короче говоря, вскоре больной поправился. Грудь ему освободило. Дыхание вернулось. Но является новая беда — в желудке колет, кушать неохота и слюни не идут.

И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось.

Конечно, можно было больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Ему здоровье не позволяло. Да и он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит и хирурги разворуют его монеты.

Он только допустил разные внутренние средства и позволил себя массировать.

Разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше чем следует <...>».

Рассказ, однако, беззлобный. И нэпман, слава Богу, жив. И золото, может быть, не украли, а оно в желудке у него... Так что все неплохо!

И попытки использовать Зоценко как некую «идеологическую кувалду», мне кажется, придуманы людьми злобными: «Пригвоздил», «вскрыл»! Но кто бы стал его за это любить? А так, как любили Зоценко, не любили больше никого. Точнее всех, мне кажется, это объяснил Петр

Пильский, в статье «Простой смех. М. Зощенко, его учителя, успех и разгадка»: «Зощенко добр, ласков и мягок. И эти неслыханные теперь качества создали ему исключительно широкую популярность, читательскую любовь, имя, тираж его книг».

Это исключительно простое и единственно правильное объяснение, лишенное всех тех «идеологических судорог и припадков», с которыми обычно писали про Зощенко, проливает ясный свет на ту ситуацию. Любили — за это! Зощенко вовсе не идеализирует своих героев, составляющих в ту пору большую часть населения России. Но они зато чувствуют, что он — с ними, что рассказчик — такой же, как и они, такой же «крикун-неудачник», «сквалыга-бедолага», «пьяница-горемыка», как и они. Кто раньше знал про них? И вот — нашелся «их писатель»! Так кого ж им любить? Любят — за любовь. В мире ненависти, насаждаемой революцией, Зощенко единственный, кто любит людей — не вымышленных, а настоящих! Эта простая и нежная статья Пильского появилась, к сожалению, не в Советской России, а в «зарубежной» тогда Риге — это было предисловие к книге Зощенко «Скупой рыцарь», вышедшей там. И там Зощенко любили, и тоже, я думаю, за доброту. За злобу любят редко.

Зощенко — пошел к народу, и помог ему жить! И народ ответил ему всеобщей любовью.

Конечно, порой происходит черт знает что! И про это Зощенко пишет.

«Пассажир»

И зачем это, граждане, позволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это же полки багажные. На багажных полках и пуцай багажи ездят, а не публика.

А говорят — культура и просвещение! Или, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между прочим — такая дикая серость в вагонах допускается.

Ведь это же башку отломить можно. Упасть если. Вниз упадешь, не вверх.

А может, мне в Москву и не надо было ехать. Может, это Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездочку.

— На, — говорит, — дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота.

Братишечка, — говорю, — да на что мне в Москву-то ехать? Мне,

говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня, говорю, в Москве ни кола ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже и остановиться-то негде в Москве этой. А он говорит:

— Да ты для потехи поезжай. Даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дурра-голова, отпихиваешься.

С субботы на воскресенье я и поехал.

Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку. Еду. Три версты отъехал — жрать сильно захотелось, а жрать нечего.

“Эх, — думаю, — Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, думаю, сидеть теперь на суше в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить”».

Рассказ прелестный и абсолютно современный. Точнее — на все времена. И я совсем недавно, безвольно согласившись поехать в Москву на абсолютно неинтересное мне (да и всем) мероприятие, сокрушенно бормотал, сидя в фирменном поезде: «Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил!»

«...А народу между тем многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой. Тут же рядом и старушечку Бог послал. И какая это вредная, ядовитая старушечка попалась — все локтем пихается.

— Расселся, — говорит, — дьявол. Ни охнуть, ни вздохнуть.

Я говорю:

— Вы, старушечка, божий одуванчик, не пихайтесь. Я, говорю, не своей охотой еду. Меня, говорю, Васька Бочков втравил.

Не сочувствует.

А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа.

А только мне неохота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь да прикрыться.

А лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты.

Обращаюсь к пассажирам:

— Граждане, — говорю, — допустите хотя в серединку сесть. Я, говорю, сбоку свалиться могу. Мне в Москву ехать.

— Тут, — отвечают, — кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел.

Сижу. Еду. Еще три версты отъехал — нога зачумела. Встал. И гляжу — третья полка виднеется. А на ней корзинка едет.

— Граждане, — говорю, — да что ж это? Человек, говорю, скрючившись должен сидеть, и ноги у него чумеют, а тут вещи... Человек, говорю, все-таки важней, чем вещи... Уберите, говорю, корзину, чья она.

Старушечка кряхтя поднимается. За корзинкой лезет.

— Нет, — говорит, — от вас, дьяволов, покою ни днем ни ночью. На, говорит, идол, полезай на такую верхотуру. Даст, говорит, Бог, башку-то и отломишь, на ночь глядя.

Я и полез.

Полез, три версты отъехал и задремал сладко.

Вдруг как пихнет меня в сторону, как кувыркнет вниз. Гляжу — падаю, мать твою так. Спросонья-то, думаю, каково падать.

И как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку... Упал.

И спасибо, ногой при падении за вторую полку зацепился — удар все-таки мягкий вышел.

Сижу на полу и башку щупаю — тут ли. Тут.

А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят, не сперли бы, думают, ихние вещи в переполохе.

На шум бригада с фонарем сходится. Обер спрашивает:

— Кто упал? Я говорю:

— Я упал. С багажной полки. Я, говорю, в Москву еду. Васька Бочков, говорю, сукин сын, втравил меня в поездочку.

Обер говорит:

— У Бологое завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже резкая остановка.

Я говорю:

— Довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пущай бы, говорю, лучше бригада не допускала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его или урезонируют — дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно.

Тут и старушка крик поднимает:

— Корзину, — говорит, — башкой смял. Я говорю:

— Человек важнее корзинки. Корзинку, говорю, купить можно. Башка же, говорю, бесплатно все-таки.

Покричали, поахали, перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше.

Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале.

Выпил четыре кружки воды из бака. И назад.

А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные идут. Эх, думаю, попался бы мне сейчас Васька Бочков — я бы ему пересчитал ребра. Втравил, думаю, подлец, в какую поездку.

Доехал до Ленинграда. Вылез. Выпил из бака кружку воды и пошел, покачиваясь».

Так же и я, в результате этой поездки — «выпил из бака кружку воды и пошел, покачиваясь»... Да, некоторая наша незадачливость тут видна. Действительно — едем куда-то, а зачем, неизвестно. С полок падаем при резких торможениях, которые то и дело происходят в нашей истории. Аллегория, как говорится, на все времена!

Понятно, ясное дело, и недовольство начальства: как же это так? Все же Москва! Столица! Что там, ничего больше нет, кроме бака с кружкой на цепи?

Да есть, наверное... Но рассказ все равно — родной.

А начальство, конечно, бесится: «Нетипично!» Вон как у Зоценко баня описывается:

«Баня»

Говорят, граждане, в Америке бани очень отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

— Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подадут — стиранное и глаженное. Портянки, небось, белее снега. Подштанники зашиты, залатаны. Житьишько!»

Баня всегда, конечно, «зона риска». Как-то расслабляешься, ждешь блаженства, а тут-то и «происходит». Помню, отец повел меня в баню. Очередь — на полтора часа! У самой уже кассы отец стал искать семнадцать копеек (такая тогда плата была, дети бесплатно), вынул десятку и в зубы взял, руками роется в кармане, ищет мелочь — и тут какой-то мужик пробежал, вырвал у отца из зубов десятку и скрылся. А народ — хохотал: у бати в зубах лишь уголок остался. Выплюнул его батя, и мы домой с ним пошли, мелочи так и не отыскалось! Досадные приключения нас всюду подстерегают... а в бане — особенно.

«...А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку), — дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать, некуда.

Карманов нету. Кругом — живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь. Ну привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью шайку левой рукой придерживает, чтоб не сперли. Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпускает.

— Ты что ж это, — говорит, — чужие шайки ворует? Как ляпну, говорит, тебя шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:

— Не царский, говорю, режим шайками ляпать.

Эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим помыться. Не в театре, говорю.

А он задом повернулся и моется.

“Не стоять же, — думаю, — над его душой. Теперича, думаю, он нарочно три дня будет мыться”.

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался — не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батушки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся — опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трещь. Грех один. “Ну их, — думаю, — в болото. Дома домоюсь”. Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, — говорю. — На моих тут дырка была. А на этих звон где.

А банщик говорит:

— Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке, — говорит, — не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок — полт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется — выдам, какое останется. Я говорю:

— Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впускают.

— Раздевайтесь, — говорят. Я говорю:

— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла. Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник».

Вот такой рассказ. Народ — узнаёт. А начальство — ни в какую! Нет, мол, таких бань! Конечно — оно в такие бани не ходит... Но о народе — заботятся. Например, сразу после революции, чтобы сбить с народа религиозный дурман с разными там похоронами и отпеваниями, стали повсеместно и широко строить крематории. Чтобы без всякого религиозного дурмана: сгорел — и всё! И первый крематорий в Петрограде был как раз в бане устроен! Просто и гениально!.. О крупном, о крематориях надо писать, новом строительстве! А то — мыло пропало! Это разве тема?

А как вам такой маленький шедевр?

«Дорвались»

Ух и накрутим же мы сейчас хвост ждановским мужикам!

Дайте, братцы, только отдышаться. Дайте только дух перевести. Очень уж мы, знаете, сердимся на этих ждановцев.

Сейчас объясним все по порядку: что, к чему и почему. Ну держись, ребята!

А есть, знаете, такое село Ждановка. И было в этом селе четыре трактора. Четыре новешеньких коммунальных трактора.

И пуцай теперь ждановские мужики ответят, куда они, между прочим,

щучьи дети, позадевали эти тракторы? Ась?

Ага, небось молчат. Корежатся от совести. Вот мы им еще пару поддадим. Хватай их за бороденки!

Так вот, между прочим, насчет этих тракторов.

Первый трактор у них, видите ли, сломался.

А отчего он, позвольте узнать, сломался? Не почесавшись, ведь и чирый не вскочит.

Оттого он сломался, что Васьки Великанова корова рогом чтой-то там прободала. Одним словом, какую-то нужную штуковину смяла рогом.

Ах какие, право, несознательные хозяева эти Великановы! Ну разве ж мыслимое дело — допускать несознательную корову до трактору? Да разве ж она понимает науку и технику? Тьфу, захворать можно от таких ненормальностей! Теперь пойдем дальше. Второй трактор у них в воду свалился. Отчего он в воду свалился? Оттого он в воду свалился, что ждановский мужик Иван Николаев Косоглотов некультурно управлял этим трактором. И, будучи маленько под мухой, шибко попер на этом тракторе и с обрывчика сверзился.

Пущай этого Косоглотова теперь весь мир знает и его презирает.

У третьего трактора отчаянные ждановские парнишки какую-то немаловажную штуковину оторвали.

И теперь, ежели говорить прямо, по совести и без прикрас, то остался у них, у ждановцев, единственный один трактор.

Оно, конечно, и с одним трактором жить можно. Да только не такие это ждановские мужики. Это очень дико отчаянные мужики. Дорвались они, знаете, и до этого трактора. И трактор этот им теперь вроде автомобиля, только что без гудка. Истинная правда.

Чуть, знаете, они напьются маленько — сейчас велят трактор им предоставить. Ну и катаются на ем, что ответственные.

Председатель, подлая его душа, тоже ежедневно катается. Он до того, знаете, разленился через этот трактор, что идет, например, к куму своему, к Петровичу, через три дома — и то велит трактор себе подавать. И прет на нем стоя. А касаясь свадеб в Ждановке и говорить не приходится. Молодых обязательно даже на тракторе развозят. Гостей тоже. А ведь гость, ежели он клюкнувши, он обязательно блюет на трактор. Разве ж это мыслимое дело — блевать на трактор? <...>

Вот какие ядовитые делишки творятся у ждановцев. Пущай теперь вся республика про них знает и проклиняет. А так на остальном деревенском фронте все обстоит довольно отлично и симпатично. За исключением, значит, тракторов.

И хотя бы в центре на этот счет небольшой декретик удумали — мол, не катайтесь, черти ситцевые, на тракторах. Это ж вам не моторы. Понимать надо».

Это произведение, думаю, начальство тоже без особого восторга прочло. Газеты рапортуют — успехи в сельском хозяйстве, а тут вдруг какое-то дикое село... И таких, кстати, полно! И почему, кстати, название такое? На что намек? И вполне, может быть, Жданов, будущий член ЦК и крупный «литературный киллер» Политбюро, прочел в молодости этот рассказ и обиделся: почему это обязательно — «ждановские мужики»? Других, что ли, нет? И, как Зощенко написал, «затаил в душе некоторое хамство». И оно проявилось: «ждановские мужики» автору отомстили!

Но пока — книжечки Зощенко идут нарасхват, и издатели, чуя наживу, издадут их все больше.

В марте 1923 года выходит в свет сборник рассказов «Разнотык» («Былое». Тираж 4 тысячи экземпляров). В июле выходит сборник «Юмористические рассказы» («Радуга». Тираж 5 тысяч экземпляров). В начале осени печатается сборник «Рассказы» («Картонный домик». Тираж 3 тысячи экземпляров).

Дальше «снежный ком растет». В 1926 году выходит четырнадцать его книг, не считая десятков публикаций в многочисленных журналах!

В 1928 году — литература и книгоиздательское дело развиваются бурно — устраивают возле Дома книги на Невском целый бульвар книжных ларьков. И в каждом из них — популярный писатель. Но самое большое столпотворение — у ларька Зощенко!

Критик Е. Журбина пишет в «Вечерней Красной газете» (1929 год): «Кто самый любимый и известный человек в Ленинграде? Зощенко!»

Пробился! Есть фотография Зощенко 1928 года — красавец, щеголь. И сделанная его рукой надпись на обороте: «Благополучный человек! Таким бы всегда!»

ПРОРАБОТКА

Но «таким», ясное дело, заинтересуются. Особенно там, где «все быть должны как все», — не выделяться. Михаилом Зощенко занимались многие. Еще в 1922 году появились отзывы на сочинения Зощенко весьма влиятельных литераторов — Николая Асеева (Печать и революция. № 2) и Всеволода Рождественского (Книга и революция. № 2). Отзывы положительные. Но пора было поговорить о Зощенко «с большевистской прямотой». Было ясно уже, что Зощенко показал не «отдельные недостатки», а самую суть. Об этом, например, прямо сказал замечательный поэт Владислав Ходасевич (правда, из Парижа): «Можно сказать, что ни у автора, ни у героев, ни у предполагаемого “слушателя Зощенки” отрыва от масс не наблюдается. Напротив, все люди свои. Одним словом — “уважаемые граждане”. И вот тут-то выясняется нечто исключительное, важнейшее: все это не просто воры, пьяницы, хулиганы, пошляки, хамы сознательные, знающие себе цену, руководимые не чем-нибудь, а высшими мотивами: “пролетарской” идеологией, заветами вождей, новой добродетелью и высокими лозунгами».

То есть можно и так сказать: успехи советской власти отражены, но они, если верить Зощенко, ужасны!.. На что можно надеяться такому писателю в пролетарском государстве, которое он изобразил такими красками?

«...Приздумался Зощенко, — продолжает Ходасевич, — взяло его сомнение, стоит ли “освещать”, “клопам на смех”, ту невероятную внутреннюю и материальную бедность, в которой живут “уважаемые граждане” Советской России?»

Приздумался Зощенко. Ну и... продолжил в том же духе. Да еще шибче! Могла ли советская власть на это спокойно смотреть? То Антанта наступает, то — изнутри враги. Остается лишь маленький вопрос: за что же Зощенко все так любили? Почему эти самые алкоголики и воры, они же советские граждане, которых он «пригвоздил», читали, и ликовали, и просили еще? Даже когда он с группой писателей поехал на Беломорканал, эки, и уголовники особенно, сгрудившись на пристани, кричали радостно: «Зощенку!» Чем же он так всех осчастливил?

Послушаем умных людей.

Сергей Есенин: «В нем есть что-то от Чехова и Гоголя. Будущее этого писателя весьма огромно».

Евгений Замятин: «Отлично пользуется Зоценко синтаксисом народного говора: расстановка слов, глагольные формы, выбор синонимов — во всем этом ни единой ошибки. Забавную новизну самым стертым, запечатанным словам он умеет придать».

Виктор Шкловский: «Сделанность вещей Зоценко, присутствие второго плана, хорошая и изобретательная языковая конструкция сделали Зоценко популярным русским прозаиком. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Как поезд».

Владимир Маяковский: «Зоценко, при некотором мелководье нашей сатирической работы, большой, квалифицированный и самый популярный писатель. Его нужно всячески продвигать в журналы...»

Казалось бы, о чем Зоценко горевать, когда его так высоко ценят лучшие люди? И по количеству публикаций он явно лидировал в те годы. Поэтому, видимо, и «выбрали» его для «экзекуции» — чтобы выше власти не заносился!

За всю историю человечества людям искусства никогда не давали спокойно жить. Да и какой мог быть покой, если всегда лучшие мастера сразу оказывались при дворе какого-нибудь короля, герцога или, на худой конец, папы, и присмотр за ними был строгий. Одного античного философа, помнится, даже приговорили к смертной казни, и ему пришлось выпить предложенную чашу с ядом — настолько он не нравился правителям своим вольномыслием. Николай I брался быть личным цензором Пушкина, корил Лермонтова — почему он взял «Героем нашего времени» нехорошего Печорина, а не честного служаку Максима Максимыча... Как же большевики могли оставить литературу без присмотра?

Даже Владимир Ульянов (Ленин) не гнушался литературной критикой и, помимо отзывов на научные книги, написал отзыв на книгу Аркадия Аверченко — «Дюжина ножей в спину революции». Сначала эта книга была издана в Крыму, при Врангеле, а в 1921-м переиздана в Париже. Именно на это издание и обратил внимание Ленин. И в общем-то правильно сделал, что обратил. То была яркая, острая и, главное, вполне убедительная книга о том, как жилось в России до того, как власть взяли большевики. И Ленин, с присущим ему полемическим задором, написал на нее отзыв. Человек читающий, он не мог не знать, что до революции Аверченко был самым популярным в России сатириком. И эта книга, демонстрирующая ужасы «революционных завоеваний», была написана замечательно. Революция, утверждает автор в предисловии, это не ребенок, которого

нужно защищать.

Это молния, но мы же не будем защищать молнию, выходя на поле во время грозы! Автору революция представляется мужиком, который в любой момент выскочит из подворотни, подставит нож к горлу и снимет с вас пальто. Именно в такую революцию, как утверждает Аверченко, и надо воткнуть дюжину ножей.

Отзыв на эту книгу Ленин печатает в газете «Правда» 22 ноября 1921 года. И, по сравнению с той грубой и безапелляционной критикой, которая пошла в ход позже, статья эта кажется даже удивительной. Называется она — «Талантливая книжка».

Ленин замечает: «Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко. Уверяю Вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо о них знать, а Вы не знаете».

Рассказ этот называется «Короли у себя дома». О жизни «коронованных особ». Ленин — жена, Троцкий — муж. Они скандалят, перекидывают обязанности друг на друга, Ленин жалуется, что повелся на уговоры мужа и приехал в Россию. Решают общегосударственные вопросы в спорах и дразгах. «Вот как просто живут коронованные особы. Горностаи да порфиры — это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, — можно и в затрапезный шейный платок высморкаться».

С такой трактовкой образов «вождей мирового пролетариата» Ленин не согласился. Но в целом талант Аверченко Ленин не отрицает. Он пишет:

«Огнем пышащая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещицы, например — “Трава, примятая сапогами”, о психологии детей, переживающих и переживших гражданскую войну».

Пострадали, однако, не только дети. Аверченко пишет о вполне достойных людях, приносивших пользу и хорошо живших до революции, а теперь лишенных всего и спрашивающих: за что?

И Ленин отвечает: «Аверченко не понять, за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда. И не нуждаются в пояснениях».

То есть что же — получается, и талант, и художественная яркость блекнут по сравнению с революционной необходимостью, отменяющей и прежнюю жизнь, и ее «воспевателей»? Рабочие и крестьяне говорят: «Нет!» — и вся эта красота должна исчезнуть? Ленин, как человек

образованный, но прежде всего политик, заканчивает статью так: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять».

А заслуживают перепечатки, по Ленину, те рассказы, которые своим содержанием работают на идею революции, показывают ее неотвратимость. Однако и значимость таланта Ленин учитывает — не только идейность решает дело, но и талантливый идеологический враг может быть полезен!

Самые умные и образованные из вождей понимали, что для идейной, воспитательной роли в Советской России литература, для начала, должна появиться и подрасти, и без талантов здесь никак не обойтись. Интересные вещи мы узнаем из воспоминаний Варлама Шаламова — комсомольца, поэта, потом каторжника:

«...Александр Константинович Воронский (один из ближайших соратников Ленина), как редактор двух журналов — “Красной нови” и “Прожектора”, как руководитель крупного издательства (“Круг”) и вождь литературной группировки “Перевал”, отдавал огромное количество времени, энергии, сил нравственных и физических чтению чужих рукописей. <...> Александр Константинович читал день и ночь и ничего, понятно, путного не нашел, ни одного имени из сомотека не поднял и не мог... Мы не однажды заводили разговор с Воронским о будущем. Воронский не на новые фигуры надеялся, а на то, что все талантливые писатели перейдут на сторону советскую. А не перейдут — им не дадут писать!»

Просто — и убедительно! Позже был репрессирован и Воронский. Но пока, полный надежд, он обращается к Зощенко, уже поняв, что готового «советского гения» он среди сомотека не откопает, и надо привлекать на сторону власти гениев существующих. Воронский, как серьезный начальник, жил в гостинице в большом номере, и у него постоянно клубились деятели культуры: радушно принимал. Сначала у них с Зощенко была деловая переписка, потом, в 1922 году, Воронский напечатал в «Красной нови» довольно рискованный рассказ Зощенко «Лялька Пятьдесят». В декабре того же года и в той же «Красной нови» (1922. № 6) появилась рецензия Воронского на первый сборник Зощенко «Рассказы Назара Ильича, господина Синябрюхова». Рецензия более-менее доброжелательная (по сравнению с тем, что ждет Зощенко в будущем), но в то же время — весьма целенаправленная. Началась неусыпная работа по перевоспитанию талантливого, но «заблуждающегося» Зощенко в советского писателя. Статья так и называлась: «Михаил Зощенко. Рассказы Назара Ильича,

господина Синебрюхова»:

«Время большое, великие и счастливые дни. А у господина Синебрюхова — куча своих дел и делишек. “Были у меня сапоги, — рассуждает он, — не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны... И вот — сгнули. А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог — труба...” Он и промышляет чем судьба пошлет... Синебрюхов — жаден, животен, хитер, туп, жалок и смешон. И рассказано про него автором хорошо: свежий, сочный, молодой язык, легкость и занимательность сюжета — жалость и негодование, просвечивающее сквозь смех по поводу несчастной жвачности Синебрюховых... Зоценко идет от Лескова и Гоголя. Это — хорошие учителя. Тема о Синебрюховых очень своевременна».

Начало мягкое. Но потом тон крепчает (служба есть служба):

«...только нужно уметь по-настоящему связать ее с нашей эпохой... иначе будут получаться либо недоговоренности и неопределенности, либо прямо контрреволюционные вещи. У Зоценко есть неопределенность. Как-никак Синебрюхов орудует во время революции, даются куски революционного быта, тут беззаботность и кокетничанье по поводу своей политической неосмысленности, бравада институтской политической девственностью не только неуместна, но и прямо вредна для художника!»

Таково первое напутствие власти «самостийному» писателю. 1922–1927 годы — время роста популярности Зоценко, его востребованности, и параллельно с этим — нарастание «бдительности государства». Казалось бы, Зоценко уже недосыгаем. Защищен «броней» народной любви, восхищением и дружбой именитых коллег.

Зоценко на вершине успеха — и в то же время он чувствует, что тучи сгущаются. В январе 1926 года наступает резкое ухудшение самочувствия. Он лечится в санатории в Царском Селе, потом — в Сестрорецке, едет в Ялту, интересуется медицинской литературой (но об этом речь пойдет в отдельной главе).

Тревоги его оказываются далеко не напрасными. 1927 год — десятилетний юбилей революции. И по сложившемуся обычаю к юбилею должна быть продемонстрирована картина всеобщего процветания, счастья новой жизни, открывшейся благодаря революции. И если что-то не так, как мечталось, то надо срочно «подправить». И прежде всего, конечно, надо подправить самого популярного писателя, который рисует совсем не то, что нужно.

Воронский покрикивает: «С вершин, с вершин эпохи надо смотреть, а не копошиться в мелкостях и блекоте!»

Именно в 1927 году по Зоценко начинает бить тяжелая артиллерия.

Главное «тяжелое орудие» тех лет, направленное на писателей, — журнал «На литературном посту». Название его красноречиво: пост чужого не пропустит! У меня на столе оказался один из номеров этого примечательного журнала, предоставленный коллекционером-зоценковедом А.А. Бессмертным — дай Бог ему всяческого здоровья.

Бумага блеклая, мятая... Годы прошли! Да журнал и новый выглядел неважно. Не для буржуев, чай, делали! Полистаем ветхие страницы:

«На литературном посту»

№№ 11–12, июнь, 1927 год.

Двухнедельный журнал марксистской критики. Под редакцией — Л. Авербаха, Б. Волина, Ю. Либединского, М. Ольминского и Ф. Раскольниковца».

...Этот журнал был рупором наиболее радикальной писательской группы тех лет, назвавшей себя резко — РАПП! Российская ассоциация пролетарских писателей! Образовалась в 1925 году. Одно дело — просто писатели, другое дело — «пролетарские»: ясное дело, к кому повернется власть. С самого начала они называли свою организацию «представителем партии в литературе», сами характеризовали себя как «неистовых хранителей пролетарской чистоты» (Ю. Либединский). Именно их организация, как они громко заявляли, была призвана «объединить все творческие силы рабочего класса и повести за собой всю литературу, воспитывая также писателей из интеллигенции и крестьян в духе коммунистического мировоззрения и ощущения». Особенно тут впечатляет слово — «ощущения». В составе РАППа наиболее известны А. Фадеев, Б. Панферов, Д. Фурманов, критики Л. Авербах,

В. Ермилов. «Воспитание» они вели довольно грубо. В своем журнале позволяли себе поносить лучших писателей тех лет — М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, Л. Леонова, К. Федина, А. Толстого. Третировали их, называя буржуазными, а всех крестьянских писателей называли мелкобуржуазными. Они вели не просто литературную, но и политическую кампанию против Е. Замятина, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Платонова, В. Катаева, А. Веселого.

Что мы видим в этом журнале? Цель РАППа — противопоставить буржуазной и мелкобуржуазной литературе новую, пролетарскую... Но как раз с этим дела обстояли неважно.

Заглянем, собрав всю волю и все терпение, в заглавную статью этого номера:

«А. Фадеев

Творческие пути пролетарской литературы

...На каком этапе мы находимся? На первом месте по читаемости стоит классическая литература, на втором месте — пролетарская, на третьем — попутническая литература... Читают нас больше, чем попутчиков, не потому, что мы пишем лучше их — нет (мы еще пишем гораздо хуже их), — а потому, что темы наши и наш материал роднее, ближе, понятнее нашему читателю. Рабочий читатель в первую очередь знает имена Серафимовича, Либединского, Гладкова, Новикова-Прибоя, Фурманова, т. е. тех писателей, которые, бесспорно, относятся к пролетарскому крылу современной литературы...»

Автор, Александр Фадеев, ставит задачу создания советской, и притом качественной, литературы: «...и это не столько задача привлечения попутчиков и перевода их на пролетарские рельсы, сколько задача нашей учебы у классиков». Да, в то время задача стояла так — «классическая по форме, революционная по содержанию»... Мечтали о «красном Толстом». А «попутчиков», то есть писателей непролетарского происхождения и направления, мечтали «перековать» — почти как лошадей.

Между тем именно «попутчики» — лучшие писатели, рожденные тем временем, но, увы, не пролетарского рождения и направления! — Бабель, Олеша, Зощенко писали замечательно, и что важно, на актуальные темы. Взять хотя бы «Первую конную» Бабеля... А вот у тех, кто их стремился «перековать», дела шли значительно хуже. Чугунные заповеди «пролетарской литературы» заводили слово в тупик. Фадеев, усиленно продвигающий литературу пролетарскую, при этом упрекает ее в шаблонности. Выделяет один и тот же повторяющийся тип: «...Тип так называемого железного коммуниста в кожаной куртке или без нее, с челюстью железной или не совсем железной, но около этого. Я думаю, что наибольшей подлинной художественной высоты этот тип достиг в “Цементе” Гладкова... А теперь нескончаемое число пролетписателей штампует своих героев под Глеба Чумалова...» В конце Фадеев бросает клич: «Чаще в клуб, на фабрику, на завод, в деревню, в рабочую и крестьянскую семью — наблюдать живую жизнь во всем ее многообразии!»

Жизнь-то многообразна, да больно уж взгляд у рапповцев узкий — никакого многообразия, и даже обычной точности не допустит! А между тем есть писатель, который во всех этих местах, куда так страстно звал

Фадеев, уже побывал и замечательно о том написал, — это Михаил Зощенко! Но такой подарок руководители советской литературы не хотят принимать. «Федот, да не тот!» Им нужен какой-то другой писатель, чтобы видел разнообразную жизнь и писал про нее... но притом бы неколебимо стоял «на рельсах» — и ни шага в сторону! Может, они и чувствуют невыполнимость такой задачи — оттого и бесятся... Даже сам Фадеев в конце концов не выдержал этой жизни. Писал, что надо, по указке — «дорабатывал». И в конце концов — застрелился.

Почему сохранился до нашего времени (не в архивах — на руках) этот малопривлекательный журнал? Исключительно благодаря стараниям замечательного коллекционера — и только потому, что здесь есть про Зощенко. А.А. Бессмертный хранит все, связанное с Зощенко, что находит.

Хотели «заманить на рельсы» и Зощенко. «Говорили по душам». Посвященная ему статья в этом выпуске журнала — «На литературном посту» — так и называется «Разговор по душам». Автор — В. Вешнев. 1927 год! Пик успеха Зощенко, всенародной любви к нему! Но Вешневу это как-то не нравится.

Начало статьи довольно вкрадчивое: «Хочется поговорить с М. Зощенко, так сказать, по душам...»

Хочется со своей стороны спросить: «А кто ты такой, товарищ Вешнев, что хорошего сделал, чтобы с Зощенко “по душам” говорить?»

И тут же Вешнев показывает, кто он такой.

«Хочется ему <Зощенко> прямо поставить вопрос: “На что вы тратите свое дарование?”»

И Вешнев смело (а потом и высокомерно) поучает: «Даже остроумный, даже бесспорно остроумный смех не всегда бывает уместен».

А какой, интересно, смех Вешнев предпочитает? Неостроумный? Неужто уместнее его занудство? Владимир Вешнев писал тогда много, публиковался во многих журналах, сочинял монографии (о революционном писателе Серафимовиче, например), сам пописывал рассказы, был редактором журналов с бодрыми названиями «Горн» и «Общее дело»... но имя его сохранилось до сих пор исключительно благодаря нападкам на Зощенко.

«Во-первых, нас прочтет не только М. Зощенко, но и его читатели», — самонадеянно пишет Вешнев. Не думаю, чтобы читатели так уж рвались читать его статью... Зато он мог гордиться «партийной позицией»: «Партийность и социальное происхождение — эти два важнейших понятия... являются излюбленной мишенью для иронических строк М. Зощенко...» А шутить этим, как дает понять Вешнев, не стоит. Зощенко,

пытаясь укрыться от партийной критики, называл себя «певцом мелких тем». Вешнева, однако, не проведешь. Вешнев настаивает: «Но и маленькие темы имеют свою общественную значительность, а последняя всегда требует большого подхода...»

А кто такой Вешнев, чтобы о каком-то «большом подходе» говорить? Наверняка — обычный писака, «взявший идеологию на вооружение» и зарабатывающий этим... К пафосу таких критиков вполне приложимо высказывание Тынянова: «Мещанин, даже вороватый и пьяный, всегда требовал, чтобы порок в книге был наказан!»

И «в полном своем объеме» начинает вырисовываться главная драма — «Зощенко и критика», «Зощенко и власть». Все эти «вороватые мещане» требуют, чтобы Зощенко в его сочинениях «наказал порок». Так он уже и так наказал. Главный порок того времени — чугунные рыла начальников, которые то и дело мелькают на его страницах! Это их и бесит: не чернить надо, а идеологию проводить! Зощенко, как мог, хитрил, в различных предисловиях, послесловиях пытался, конечно, «соломку подстелить», как-то «отбрехивался», или, говоря его словами, «ваньку валял» — мол, и не слышал ни о какой политике, политически безграмотен, а если даже вдруг случайно и узнаю, кто какой партии, то Пушкина от этого меньше любить не буду, и так далее, в таком роде... Но кого обманешь? Сам же, как он говорил, «вкапался»! Кто бумажку подписал, по которой у Синебрюхова все отобрали, включая жену?.. Ленин подписал! А если это даже авторский вымысел или просто выдумка диких поселян, то это и еще хуже: «Клевета!» Куда ни кинь — всюду клин!

Оказывается, Вешневу (читай — власти) не нравятся столь любимые народом рассказы. Строгий Вешнев презрительно перечисляет профессии зощенковских героев: сторож авиационной школы («Агитатор»), мужик из деревни Гнилые Прудки («Беда»), крестьянка Пелагея («Пациентка»), кустарь-переплетчик («Богатая жизнь»), полотер («Жертва революции»), крестьянин, сделавшийся ответственным работником в городе («Пелагея»), ломовой извозчик («Три документа»), слесарь («Контролер»).

Чувствуется, что Вешневу, хоть он и пишет вроде бы от имени «народной власти», такой социальный состав неприятен. Вся острота в том, что с народом-то как раз Зощенко, а начальники, заматерев, всячески пытаются от народа подальше отойти, и даже упоминание о народе, какой он есть, им неприятно. Зощенко-то как раз и вошел в «убогие хижинки», не побоялся и не побрезговал. Отсюда и лютая ненависть начальников к Зощенко: с народом-то он, а не они! Народ даже читать начал — настолько книги его полюбил. А за что? Да за то, что и Зощенко любит их, даже

иронизируя, добродушно пишет!

Вешнев возмущается: что за сюжеты берет Зоценко? Мужик купил лошадь, а потом пропил! Беда. Так и рассказ называется. Но в рассказе Зоценко гораздо больше сочувствия, чем в высокомерных поучениях критика. Вот еще одна презрительная ремарка Вешнева: «В рассказе “Агитатор” сторож авиационной школы, будучи в деревне в отпуску, занялся пропагандой авиации и на сходе только про одни несчастные случаи рассказывал — о вреде, причиняемом авиацией коровам, лошадям и прочим животным. И заключил свою речь просьбой жертвовать на авиацию. “Мужики, мрачно посмеиваясь, разошлись без охоты что-нибудь жертвовать для такого пакостного дела”».

Ну и что? — скажем мы. Рассказ абсолютно народный. Мужики, как обычно, придуриваются, вроде поддерживая все передовое, на самом же деле, видя конкретный вред за «высокими лозунгами», уклоняются. А критику, по большому счету, плевать на народ, лишь бы «новое торжествовало».

Вешневу не нравится и рассказ с красивым названием «Счастье» (помню, в годы студенчества один из самых цитируемых наших рассказов): «В рассказе “Счастье” солдат разбил в трактире зеркальное стекло. Тут же и стекольщик оказался, заработал 75 рублей. Счастье привалило неожиданно, выпил, купил серебряное кольцо и теплые стельки, еще хотел купить “брюки с блюзой”, но не хватило денег. И только».

Ну и что? Так и надо относиться к деньгам и мимолетному счастью. Спокойнее надо! За это добродушно-ироническое отношение и к дарам жизни, и к ее лишениям мы и любим Зоценко. Наш удел — стоицизм. Быть собой, сохраняя критическое отношение ко всему прочему. В нашей компании это был любимый рассказ. Когда кто-то получал премию или гонорар, мы спрашивали: «Ну что? Стельки купил?» — «Стельки купил. И все!» Это по-нашему. Только такой народ и выживет в суровых условиях!

Поэтому Зоценко и был так любим массаами. И ненавидим бдительным начальством, напускавшим на Зоценко своих «шавок». Вешнев негодует. Уж свои-то «тридцать сребреников» он, конечно, истратит с большей выгодой, чем зоценковский герой... Но того величественного спокойствия, с которым истратил свой «гонорар» наш любимый стекольщик, критик не обретет никогда.

КАК КРОКОДИЛ БЕГЕМОТА ПРОГЛОТИЛ

А время между тем благоприятствовало литературе. Вряд ли еще будет такое! Выходило двести пятьдесят сатирических журналов — и все раскупались. Новая жизнь, новые люди — и все хотели видеть в печати свой «портрет». И Зощенко этот «групповой портрет» дал! Причем выходили эти журналы на деньги государства! Журналы, которые бы читали все, были необходимы. Телевидения тогда не было — а нужно было управлять сознанием масс. Через журналы! Многие талантливые люди работали там. Задача была: высмеять старое, возвеличить новое! «Направление творчества» было задано резко. Наиболее четко это сформулировал «поэт-трибун» Маяковский: «Я хочу, чтоб к штыку приравнили перо!» А штык, как известно, к врагам беспощаден. Соответственно назывались журналы. Из мира животных, птиц, рыб, насекомых и даже растений выбирались самые агрессивные: «Крокодил», «Бегемот», «Ерш», «Шмель», «Скорпион», «Коршун», «Москит», «Комар», «Оса». Из людских типов выбирались самые грубые — «Бузотер», «Дуболом», «Крысодав». «Дуболом» имел такой подзаголовок: «Журнал кривой улыбки и дьявольского хохота». Из орудий труда для названий выбирались самые «членовредительские» — «Резец», «Тиски», «Клещи», «Мясорубка» и даже — «Паяльник». В одном из тех журналов задача формулировалась так: «Мы построим гильотину без железа и без дуба». То есть — одним лишь «пером» будем казнить! Главный «слоган» журнала «Крокодил» был весьма «кровавый»: «Вилы в бок!» Но я уже помню по себе, что читалось это с бодрой усмешкой: «Вилы в бок!» — это правильно!

Эти журналы читали массы, и общественное сознание соответственно изменялось. Примерно так, как сейчас меняется оно под влиянием телевидения. Появлялась прежде невиданная реальность, жизнь обозначалась теперь новыми, неуклюжими, резкими словами: агитпроп, управдом, бронеподросток, лишенец, выдвигенец, ударник... И журналы несли это новое в жизнь. Вот карикатура. «Вы почему толкаете гражданку?» — «Она не гражданка! Она — мещанка!» То есть, понимает читатель, кое-кого даже нужно толкать! Да — такие настроения были тогда. Про Ильфа и Петрова, наших любимых писателей, кто-то из «бывших»

сказал: «Талантливые варвары». И это можно было сказать про многих будущих знаменитостей, начинавших тогда. Все старое отменялось. Покуражиться над уходящим молодежь любит — и этим расчетливо пользовалась новая власть. Страницы заполнялись не только «письмами трудящихся» (чему придавалось тогда огромное значение), но и сочинениями вдруг появившихся как из-под земли новых ярких авторов, замечательными карикатурами, сделанными не как сейчас, на компьютере, а «вручную», смело и талантливо. Задача была поставлена четко: «Старый быт будет бит!» И сколько талантов тут объявилось вдруг! Ловушка, обман, надругательство — скажете вы? Но в те времена это воспринималось в среде новой интеллигенции иначе: «Новое веселое время пришло!» Кажется, не было журнала «Людоед» — но «молодые людоеды» веселились от души. Прочтите «Двенадцать стульев» — сколько там карикатур на «бывших»! Правда, и герой романа — не комиссар, а обаятельный жулик. Дерзость авторов порой распространялась и туда, куда ей не следовало распространяться. Особенного почтения к власти в тех журналах тоже не прослеживалось. Вот одна из карикатур: за столом сидит тупой бюрократ, а над ним видна лишь часть портрета в раме, и торчат очень всем знакомые ботиночки с задорно загнутыми носами... Так ведь это они нашего дорогого Ильича так изобразили!

Из писателей (называю лишь имена, сохранившиеся до наших дней) в тех журналах работали: В. Шишков, В. Ардов, А. Архангельский, А. Бухов, Э. Кроткий, Л. Лагин, В. Лебедев-Кумач, Л. Лунц, Ю. Олеша, В. Инбер, В. Маяковский, Н. Никитин, Вс. Рождественский, В. Катаев.

Многие художники-графики, появившиеся тогда и заполнявшие журналы своими рисунками, выросли затем в классиков, составили славу советского изобразительного искусства: П. Бродаты, Кукрыниксы, В. Лебедев, Н. Радлов, Б. Ефимов. И все они получали тогда неслабые гонорары — государство не скупилось.

Успешно работал там и Зощенко. Более того — он был там «король»! Вот краткий перечень тех журналов — лишь самых главных: «Смехач», «Бузотер», «Ревизор», «Мухомор», «Огонек», «Чудак», «Дрезина», «Бегемот», «Красный ворон», «Красный журнал для всех»... Преобладание красного цвета, как сами понимаете, не случайно — советская власть под красным знаменем сметает с земли прежнюю «нечисть», а заодно и «отдельные недостатки» нынешних времен. Одна из знаменитых карикатур того времени — Ленин с ласково-хитрой улыбкой и с метлой в руках сметает с земного шара все лишнее: и летят вверх тормашками цари в коронах, капиталисты в цилиндрах, попы в рясах и высоких шапках.

Зощенко в своих журнальных опусах, однако, проходится больше не по классовым врагам, а по типам «социально близким». Возьмем лишь несколько его журнальных публикаций:

«Ругатели»

Сейчас во всех углах России идет самосильная борьба с руганью. Способы борьбы существуют разные: ругателей и штрафуют, и наказывают, и бьют по носу (щелчком, что ли?). Результаты борьбы тоже разные. Вот, например, результат борьбы на станции Кущевка:

Задумали у нас, — пишет рабкор, — благое начинание — не ругаться, а выругавшихся штрафовать рублем. Завели специальную квитанционную книжку...

Рабкор сам принимал в этом живейшее участие. Он даже побежал в местком за этой книжкой.

— Прибежал, говорит, я в местком, открываю дверь и — о ужас!.. Сам предместкома крепкими словечками так и переливается. И мне, имеющему большую практику в этом деле, — аж уши вянут. Растопырил я глаза, посмотрел, плюнул и пошел откудова пришел.

Растопырил это он глаза, плюнул и бросил, наверное, квитанционную книжку к чертовой бабушке.

И действительно: на что теперь квитанционная книжка? В книжке-то всего сто листиков, — одному предместкому едва-едва на день хватит. А разве один предместкома? На всех же и книг не напасешься».

Пожалуй что, выходит по Зощенко, и не надо даже пытаться бороться с нашими вечными бедами — одна показуха идет, и еще хуже людишкам. А вот еще:

«С перепугу»

Чего только люди не делают с испугу! Вот, например, замначальника ПЧ-13 Р.-У. ж. д. Иванов услышал, что едет комиссия, испугался, заторопился и сломал поскорее плохую уборную около казармы красноармейцев. Но не засыпал ее и не закрыл, куда и свалились 1 ребенок, 7 служащих, 1 теленок, 2 поросенка, 1 жеребенок... Бедняга этот Иванов — как еще он сам не ввалился? Ну да, впрочем, он и не мог ввалиться. Он в это время побежал разыскивать начальника ПЧ-13, который забился под

кровать и долго не хотел оттуда выходить, боясь встретиться с комиссией.

А чудак! Чего он боялся? На наш взгляд, во всем виновата комиссия — ну можно ли так пугать человека?»

Зощенко вовсе не «раздувает недостатки» (в чем его обвиняли) — все его короткие заметки основаны на реальных сообщениях с мест и лишь слегка обработаны им для придания «окончательного блеска»... Или вот еще один «яркий факт»:

«Комар носа не подточит

У начальника станции Бежецк помер делопроизводитель отдела. Испугался начальник станции.

“Вот, думает, клюква. Чего я теперь с помершим человеком делать буду? А ну — придет охрана труда... 'Ага, скажет, мертвые души у вас имеются! Померших тружеников эксплуатируете?..”

Растерялся совсем начальник станции. Думал, думал — и написал такую бумажку: “В отдел труда. Согласно отношения нач. 5-го отдела за № 7864, вследствие смерти делопроизводителя вверенного мне отдела. Шариков Ефим уволен с 21.1 с. г.”.

Подписал начальник эту бумажку и весело потер руки. “Ладно, думает, сделано согласно кодексу. Теперь никакая охрана труда носа не подточит”».

Зощенко весьма нравилась та работа: ведь он работает с правдой жизни, сообщениями с мест. Получается, жизнь и его рассказы — почти одно! Вот он ночью пишет очерк про баню:

«Уже первые строчки... смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук.

Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело.

От смеха я чувствую боль в животе.

В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно.

Я кричу:

— Извините, Петр Алексеевич...

Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку.

Через двадцать минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал.

Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А

завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать».

Вот так родилась знаменитая зощенковская «Баня», над которой хохочет уж не знаю какое по счету поколение людей! Принято с тяжелым вздохом вспоминать о времени, в котором Зощенко жил. Но посмотрите, сколько издательств, сколько журналов, печатающих литературу! Золотая пора! Не повезло Зощенко?.. Повезло! «Стоило ему появиться на каком-нибудь людном сборище, и толпа начинала глазеть на него, как глазела когда-то на Леонида Андреева, на Шаляпина, на Вяльцеву, на Аркадия Аверченко».

С 1924 по 1928 год в разных сатирических журналах печатаются шедевры Зощенко, оставшиеся навсегда, — «Агитатор», «Собачий нюх», «Диктофон», «Рассказ про попа», «Счастье», «Не надо иметь родственников», «На живца», «Рабочий костюм», «Стакан», «Тормоз Вестингауза», «Нервные люди», «Бочка», «Режим экономии», «Кинодрама», «Монтер», «Прелести культуры», «Лимонад», «Гости», «Качество продукции», «Мелкий случай», «Царские сапоги», «Больные», «Хамство», «Землетрясение», «Серенада», «Иностранцы», «Любовь»... Что заставляло писать так много? Гонорары? Не только! Думаю, манило что-то новое, прежде невозможное. Новая власть дала какую-то новую волю, сняла многие прежние «табу», объявив их «пережитками». Прежде невозможное стало возможным. И это поначалу пьянило. Скажем, рассказ «Дрова» — как жильцы прячут в полене патрон, чтобы дрова не крали... «Жертв была одна. Серегин жилец — инвалид Гусев — помер с испугу. Его кирпичом по балде звездануло». Или — рассказ «Любовь». Вася Чесноков провожал барышню, слова разные ей говорил, а когда бандит потребовал скидывать пальто, пытался переключить внимание на нее — «у ей и шуба и калоши». Вот рассказ «Несчастный случай»: «А ведь я, ей-богу, чуть собственную супругу не уморил. Она у меня дама, как бы сказать, подвижная, нервная... Другой раз для скорейшего успокоения накапаешь ей капель 50, а то и все 70. Хоть бы что. Вылакает и еще просит!..»

Смеяться, оказывается, можно (и даже нужно) над всем, что раньше было свято — над старостью, любовью, женой, смертью (жизнь — копейка!). Долой предрассудки! В рассказе «Водная феерия» гость, зашедший к другу в номер помыться, затопил нижний этаж, «размыло херувимов» на нижнем этаже... Но гость «на другой день все же пришел в гостиницу и там принял ванну»... А что такого? Нельзя? Предрассудки! Воля, данная авторам для выметания прежнего, уже перехлестывала, как вода из ванны! Власти спохватились: волю дай — они и на главное

замахнутся!.. Да, журналы временами «отбивались от руководящих рук». Как вам такая шуточка: «Как будет множественное число от слова “человек”?» — «Очередь!»... Или вот такая карикатура: художник, стоя за мольбертом, спрашивает у «рисуемого»: «Вас как изобразить — как ударника или как человека?»

Да, порой художники и писатели, по причине своего таланта и буйства натуры, «не ценили оказанное им доверие», изображали не совсем то, что хотели власти. И особенно выделялся «неуправляемый» Зощенко. В новелле «Сирень цветет» он пишет: «Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают. И ручки ей лобзуют. И вот, конечно, арестовывают хозяина, инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не пухнет. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобзает. И вообще пугаются, как бы эти бывшие знакомые не кинули на них тень...»

Это уже чересчур! Что этим он хочет сказать: «И вот, конечно, арестовывают хозяина...» Что значит — «конечно»? «Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не пухнет». О чем это он? На что намек? Да, дай только им волю — тут же потеряют чувство меры! Власти «завинчивают кран». И делают это по обычаю грубо. 9 июля 1927 года был конфискован номер «Бегемота» (№ 27) из-за «политически вредного» рассказа Зощенко «Неприятная история». Заспорившие о политике гости решили вдруг позвонить в Кремль товарищу Троцкому. Не дозвонились — но все равно паника их вдруг охватила! Тем более что один дурак вышел на улицу и строгим голосом позвонил им из автомата — якобы из Кремля. Гости разбежались!.. «Разгулялся» Зощенко! Не туда «гнет»!.. Над женой, конечно, смеяться можно, над болезнями — можно, над инвалидами — можно, над любовью — можно. Даже над смертью можно. А вот над вождями — нельзя! И еще одна опасность — вдруг назовешь не того вождя, и окажется, что он уже «враг народа»! Так с Троцким вскоре и вышло... Этот рассказ Зощенко переиздавал еще несколько раз, и каждый раз вождь был новый... За ними не уследишь! Нервничали вожди — и их можно понять: скоро всех убрали! И судьбы всех тех журналов (за исключением одного) заканчивались печально. Приведу перечень «взлетов и падений».

Журнал «Бузотер». Выходил как приложение к газете «Труд». Главным редактором был В. Косиор, позднее репрессированный. С журналом активно сотрудничал Маяковский, вышли его материалы — «Даешь изящную жизнь», «Пиво и социализм»... В 1927 году журнал был обвинен

в «очернении рабочих».

Журнал «Смехач». Был открыт при газете для железнодорожников «Гудок». Публиковал весьма популярные «комиксы» с постоянным героем Евлампием Надькиным. Закрыт в 1929 году.

Журнал «Чудак». Выпускался издательством «Огонек». Тираж достигал 100 тысяч! Журнал имел весьма популярные рубрики: «Биржа чудачков», «Биржа сплетников», «Рычи — читай», «Крики с мест». В журнале под псевдонимом Толстоевский Ильф и Петров печатали «Истории Колоколамска» и «1001 ночь, или Новая Шехерезада», которые были «эскизами» к будущим знаменитым романам — «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Эти «веселые ребята», к которым также можно отнести и Олешу, да и Зощенко тоже, как бы выполняя заказ советской власти по «выметанию старого» и «критике недостатков» (Олеша, например, под псевдонимом Зубило писал фельетоны в газете «Гудок»), постепенно создали свою яркую литературу, пережившую все те советские политические кампании («чистка», «перековка» и т. д.), которым они якобы служили. Фиг! Даже высокомерный и привередливый Набоков высоко ценил из всей советской литературы Зощенко, Ильфа и Петрова и Олешу. В одном интервью он сказал: «...Было несколько писателей, обнаруживших, что если они станут придерживаться определенных сюжетов и персонажей, то сумеют вывернуться — в политическом смысле... В итоге Ильф с Петровым, Зощенко и Олеша ухитрились опубликовать несколько безупречных по качеству литературных произведений...» Вывернулись из «тисков»! Советская власть, заметив эти «выверты», на время их прикрыла. Но замечательные их книги навсегда встали на наши полки. А журналы те, которые сейчас хранятся в библиотеках, по-прежнему поражают буйством веселья, порой грубоватого...

Журнал «Бегемот» был особенно популярен, особенно тем, что в него писали «корреспонденты с мест», что вызывало огромный интерес. Печатались там и реальные, но смешные объявления, увиденные на заборах: «Поченяю и полерую. При желании — разделяваю под орех».

Финиш всей этой «варварской вольницы» был недалек. 3 августа 1928 года вышло Постановление секретариата ЦК ВКП(б) «О сатирических журналах»: «...организовать систематическое инструктирование редакторов сатирических журналов... Журналы “Бегемот” и “Бич” закрыть... Вопрос о закрытии “Лаптя” отложить на 2 месяца... Вопрос о целесообразности журнала “Смехач” передать на рассмотрение...»

К 1933 году все эти журналы были закрыты властями. Остался один.

Их «проглотил» более законопослушный и притом, как ни покажется странным это сочетание, самый кровожадный — «Крокодил».

ДРУГОЙ ЗОЩЕНКО

Журналы позакрывали... Но Зощенко-то остался! Его так просто было не «закрыть». На это понадобилось несколько десятилетий «неустанных усилий». Но сказать, что все эти «уколы» не действовали на Зощенко, — нельзя. Зощенко — а личность его совсем не совпадала с его персонажами, «людоедами» — грустил. И об этом тоже писал — причем с самого начала. Да — был Зощенко и «другой»... Можно тут с сожалением добавить, что и «другой», увы, не пользовался расположением начальства. «Сентиментальные повести» Зощенко издавались одновременно с его знаменитыми короткими рассказами — но повести надо отметить отдельно. Нельзя сказать, что это как бы совсем другой автор. Но герой — точно другой. В рассказах — новый герой приходит, грубо и нахально топчет все, что было и есть. Герои «Сентиментальных повестей» — уходят, вспоминая прошлое, оглядываясь, прощаясь. Впрочем, это не совсем точно: уходить-то им некуда. Точнее сказать — они «сходят», «сходят на нет», гибнут там, где раньше жили, чувствовали, любили. Они — «привидения», а те, кто явился — «пришельцы», завоеватели, захватчики. Но и «привидениям» уйти некуда — они мучаются тут, в этом аду. Рассказы Зощенко написаны с голоса «победителей», с указанием всех ужасов их «победы». «Сентиментальные повести» — от имени побежденных. О том, счастливы ли «победители», мы уже знаем из рассказов... О том, счастливы ли побежденные, спрашивать не приходится. «Сентиментальные повести» о том, как эти люди «доживают».

Почему Зощенко взялся за эти повести? Потому что они-то как раз, в отличие от рассказов, — про него самого. Испытывает он примерно то же, что герои повестей.

В 1923 году, одновременно с рассказами, Зощенко пишет «Сентиментальные повести»: «Коза» и «Аполлон и Тамара». В 1924 году к ним добавились «Мудрость» и «Люди». В следующем — «Страшная ночь» и «О чем пел соловей». В 1926-м — «Веселое приключение». И в начале марта 1927-го они вышли книгой под названием «О чем пел соловей. Сентиментальные повести» (Госиздат. Тираж 10 тысяч экз.).

Этот жанр, безусловно, «требовал оправдания». С чего бы это — воспевать «уходящую натуру», ненужных людей, не «в духе революционных завоеваний»? При чем здесь «уходящие»? Кому нужны?

Книга вышла с предисловием: автор, как говорится, попытался

«постлать соломки», чтобы не больно было падать.

Вот предисловие к первому изданию:

«Эта книга, эти сентиментальные повести написаны в самый разгар нэпа и революции. И читатель, конечно, вправе потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса — одним словом, полной и высокой идеологии.

Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге не много будет героического.

Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, во всей его неприглядной красе.

Пущай не ругают автора за выбор такой мелкой темы — такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано. Один писатель широкими мазками набрасывает на огромные полотна всякие эпизоды, другой описывает революцию, третий военные ритуартели, четвертый занят любовными шашнями и проблемами. Автор же, в силу особых сердечных свойств и юмористических наклонностей, описывает человека — как он живет, чего делает и куда, для примера, стремится.

Автор признает, что в наши бурные годы прямо даже совестно, прямо даже неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном незначительном человеке.

Но критики не должны на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь. Автор и не лезет со своей книгой в ряд остроумных произведений эпохи.

Быть может, поэтому автор и назвал свою книгу сентиментальной.

На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни, действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой.

Однако ничего не поделаешь. Придется записать так, как с этим обстояло в первые годы революции. Тем более, мы смеем думать, что эти люди, эта вышеуказанная прослойка пока что весьма сильно распространена на свете. В силу чего мы и предлагаем вашему высокому вниманию подобную малогероическую книгу.

А что в этом сочинении бодрости, может быть, кому-нибудь покажется маловато, то это неверно. Бодрость тут есть. Не через край, конечно, но есть. Последние же страницы книги прямо брызжут полным весельем и

сердечной радостью.

Март 1927 г.

И.В. Коленкоров».

Зощенко как бы отрекается от повестей, приписывая их некоему «правому попутчику», не нашего, не пролетарского происхождения — И.В. Коленкорову. Но все эти «уловки» не помогли: в одной из главных советских газет — в «Известиях» 14 августа 1927 года появляется грозная статья М. Ольшевца «Обывательский набат». Отрывок:

«...Стяжав себе славу, как веселый и занимательный рассказчик, он в данной книжке занимается тем, что “пужает” читателя и сам “пужается”... для некоторой категории читателей это кажется особенно “пикантным” и привлекательным. Это для них, до некоторой степени, сладкий отдых от громких лозунгов революции с возвеличиванием коллектива пролетария и крестьянина, поднявшихся на борьбу за лучшие идеалы человечества».

Читать эту фальшивую статью, конечно, стыдно. Ясно, что на самом деле М. Ольшевец никакого отношения к «коллективам пролетария и крестьянина» не имел, жил, приспособливался... А для Зощенко эта статья была опасна.

Зощенко, однако, и не думал сдаваться. Вдохновение поднимает высоко, все преграды кажутся мизерными.

К. Чуковский рассказывает в дневнике о своей встрече с Зощенко в октябре 1927 года:

«“...Ах, какую я теперь отличную повесть пишу... для второго тома 'Сентиментальных повестей', вы и представить себе не можете...”

Мы вышли на улицу, а он <Зощенко> продолжал искренне восхищаться своей будущей повестью. “Предисловие у меня уже готово. Знаете, Осип Мандельштам знает многие места из моих повестей наизусть — может быть потому, что они как стихи. Он читал мне их в Госиздате. Героем будет тот же Забежкин, вроде него, но сюжет, сюжет”.

— Какой же сюжет? — спросил я.

— Нет, сюжета я еще не скажу... Но я вам первому прочту, чуть напишется».

После этого разговора первый том был дополнен лишь одной вещью, «Сирень цветет», и появилась примыкающая к «сентиментальному циклу» повесть «Мишель Синягин» (1930).

Ко второму изданию повестей Зощенко пишет второе предисловие:

«Ввиду многочисленных запросов сообщаем, что вышеуказанная подпись И.В. Коленкоров — есть подпись подлинного автора сентиментальных повестей.

Вот краткая биографическая справка о нем.

И.В. Коленкоров — родной брат Ек. Вас. Коленкоровой, тепло и любовно выведенной в повести “Люди” наряду с другими героинями. Он родился в 1882 году в городе Торжке (Тверской губ.) в мелкобуржуазной семье дамского портного. Получил домашнее образование. В молодые годы был пастухом. Потом играл в театре. И наконец, мечта его жизни воплотилась в действительность — он стал писать стихи и рассказы.

В настоящее время И.В. Коленкоров, принадлежащий к правому крылу “попутчиков”, перестраивается и, вероятно, в скором времени займет одно из видных мест среди писателей натуральной школы.

Сентиментальные же повести написаны им под руководством писателя М.М. Зощенко, ведущего литературный кружок, в котором около пяти лет находился наш славный автор.

И в настоящее время, выпуская эту книгу, Иван Васильевич приносит т. Зощенко свою благодарность и желает ему дальнейшей удачи в многотрудной педагогической деятельности».

Прием подставного рассказчика использовался в литературе многократно, к примеру, Пушкиным в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» (Иван Петрович Белкин), Гоголем в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (пасичник Рудый Панько). Делается это для того, чтобы создать ощущение подлинности: вещь, мол, не сочинена, а «найдена» или «пересказана писателю» — и, значит, во-первых, является абсолютно подлинной, а во-вторых, писатель ответственности за нее не несет — «я не я!..».

Однако, по мере «нарастания напряженности» вокруг повестей, Зощенко потребовалось писать предисловия и к третьему, и к четвертому изданиям. Так все силы могут уйти на написание предисловий!

«Предисловие к третьему изданию»

В силу постоянных запросов сообщаем, что роль писателя М. Зощенко в этом труде свелась, главным образом, к исправлению орфографических ошибок и выравниванию идеологии. Основная же работа принадлежит вышеуказанному автору И.В. Коленкорову. Так что по-настоящему на обложке книги надо было бы поставить фамилию Коленкорова. Однако И.В. Коленкоров, не желая прослыть состоятельным человеком, отказался от этой чести в пользу М. Зощенко. Гонорар же Иван Васильевич получил полностью.

Сообщая об этом, пользуемся случаем сказать, что некоторые сентиментальные нотки, нытье и кое-какое идеологическое шатание в ту и другую сторону — следует отнести не к руководителю литкружка, а отчасти к автору, И.В. Коленкорову, отчасти же к тем литературным персонажам, которые выведены в этих повестях.

Тут перед вашими глазами пройдет целая галерея уходящих типов.

И новому современному читателю необходимо их знать, чтоб увидеть уходящую жизнь во всех ее проявлениях. Июль 1928 г.».

И третье издание было раскуплено (не этими ли самими «уходящими», которых якобы уже нет? Сколько же их на самом деле?).

Гнев начальства нарастал... Начальственный гнев вообще только и делает, что «нарастает». Пришлось писать аж четвертое предисловие!

«Предисловие к четвертому изданию»

В силу прошлых недоразумений, писатель уведомляет критику, что лицо, от которого ведутся эти повести, есть, так сказать, воображаемое лицо. Это есть тот средний интеллигентский тип, которому случилось жить на переломе двух эпох.

Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего “выдвиженца” — И.В. Коленкорова. Сам же автор — писатель М.М. Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей, — давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность и розы распускаются. А если в другой раз эти розы вянут и нету настоящего сердечного спокойствия, то совершенно по другим причинам, о которых автор расскажет как-нибудь после.

В данном же случае это есть литературный прием.

И автор умоляет почтеннейшую критику вспомнить об этом замысловатом обстоятельстве, прежде чем замахнуться на беззащитного писателя.

Апрель 1929 г. Мих. Зощенко

Ленинград».

В общем — виноват во всем Коленкоров этот! Говоря словами Зощенко: «В какую поездку втравил!» Что же это за повести, требующие такой многослойной защиты?

Вот повесть «Аполлон и Тамара». Начинается повесть до революции и до войны. Тапер Городского собрания Аполлон Перепенчук приходит

свататься к юной красавице Тамаре Омельченко, восхитившейся накануне его музыкальным мастерством:

«Аполлон Семенович Перепенчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара, пришел просить руки Тамары, она, с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, невзирая на просьбы своей матери и домочадцев.

— Мамаша, — сказала она, — да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным, знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену.

Во время ее реплики Аполлон Перепенчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову.

Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать, она боялась бедности и необеспеченной жизни, той жизни, которую влачат почти все люди...»

Аполлона забирают в армию, о нем долго нет никаких известий, и единственная его родственница — тетушка — продает его артистический наряд, в котором тот выступал когда-то с таким блеском... И тут Аполлон возвращается — измученный войной, потерявший весь свой блеск и кураж. Тамара даже не узнает его. Узнав, говорит, что выходит замуж за коммерсанта. Аполлон впадает в апатию, целыми днями лежит дома, потом — пытается лечь на рельсы. Обходчик спасает его и, узнав, что тот не владеет никаким ремеслом, устраивает его на кладбище, и там Аполлон и находит успокоение, сначала — в работе, а потом — в могиле.

Повесть «Мудрость» — о человеке, который вдруг теряет интерес к жизни, потом вдруг внезапно снова обретает его, созывает в гости прежних веселых друзей, готовит к встрече замечательную трапезу... и вдруг — умирает.

Повесть «Страшная ночь» была написана еще в 1923 году, удостоилась одобрения «братьев-серапионов» и самого Горького.

Герой повести тоже музыкант, по фамилии Котофеев, но, как и у Перепенчука, талант его не слишком ярок, скорее посредствен. Он играет в оркестре на таком незначительном и вообще малоизвестном инструменте, как... «треугольник». И даже эта жалкая должность вызывает у него трепет — а вдруг все рухнет? Вдруг изобретут какой-нибудь «электрический треугольник» и надобность в нем, Котофееве, отпадет? Постепенно этот страх нарастает, переходит в ужас, Котофеев в страшном состоянии

мечется по городу, преследуемый злобной толпой, и в конце концов забирается на колокольню и бьет в набат. Пожара никакого в городе нет — но свой ужас перед жизнью Котофеев «транслирует» всему городу...

Почему Зоценко было так важно написать эти повести, хотя он чувствовал всю их «несозвучность передовым идеям» и понимал, что идет на риск? Он писал о себе, о постоянном страхе «недобитого» революцией, о боязни оказаться в конце концов «изгоем общества», как и его герои. И теперь мы знаем, что он тревожился не напрасно — так и вышло. Стоит ли спрашивать: зачем он написал эти повести?

Он вспоминал, что образы нищего и протянутой руки почему-то пугали его еще в бессознательном, младенческом возрасте, появлялись в кошмарных снах.

И уже в зрелом возрасте на него самое гнетущее впечатление производил поэт Тиняков, сделавшийся вдруг профессиональным нищим и стоявший на Литейном проспекте. Образ нищей, неприкаянной старости преследовал Зоценко... Хотя тогда, казалось, ничто не предвещало этого: вторая половина двадцатых годов — пик популярности Зоценко, его благополучия. Он снимает шикарную квартиру на улице Чайковского, в самом фешенебельном районе Ленинграда, Вера Владимировна шикарно обставляет ее, в своем вкусе... А он пишет «Сентиментальные повести» — о гибели людей «своего круга».

Повесть «Коза» — история бедного чиновника, коллежского регистратора Забежкина — напоминает гоголевскую «Шинель». У обоих героев возникает страстная мечта: шинель у Башмачкина, коза — у Забежкина. Он даже хочет жениться на хозяйке, у которой снимает комнату... имея в виду на самом деле козу. Но коза оказывается не ее! Любовь трагически гибнет. Сосед, владелец козы, утешает Забежкина: «Ну как, брат Забежкин... Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтоб не терпеть. Терпи, брат Забежкин».

Приходит в голову подозрение, что Зоценко не просто следует классическим образцам, но пишет пародию.

И в иронической автобиографии «О себе, о критиках и о своей работе» Зоценко признавался:

«Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям.

В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора, и сентиментальную тему, которая сейчас

характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план...»

Один из исследователей творчества Зоценко — И. Сухих пишет:

«Название цикла (“Сентиментальные повести”) напоминает о Карамзине с его “Бедной Лизой”.

...История драматической любви Аполлона Семеновича Перепенчука и Тамары Омельченко варьирует уже тургеневские сюжеты (скажем, “Дневник лишнего человека” или “Накануне”).

Короткая повесть “Мудрость” с главным мотивом запоздавшего прозрения и внезапной смерти отсылает к “Обломову” и чеховским рассказам. Чеховскую миниатюру “О брэнности” (1886) можно считать прямым анекдотическим источником драматической новеллы Зоценко.

“Страшная ночь”. Новелла эта переводит в гротескно-фантазмагорический план сюжет еще одного чеховского рассказа — “Упразднили!” (1885). Чеховский отставной прапорщик Вывертов потрясен и поражен неожиданным упразднением его прежнего чина: “Ежели я теперь не прапорщик, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало быть, ежели я вас понимаю, мне может теперь всякий сгрубить, может на меня тыкнуть?” В его воображении возникает и такая картина: “Вылезая из брички, он робко взглянул на небо: не упразднили ли уж и солнца?”

Повесть “Веселое приключение”, напротив, в анекдотическом ключе трансформирует фабулы “Пиковой дамы” и “Преступления и наказания”: молодой человек является причиной смерти богатой старухи и получает наследство. Однако у Зоценко дело вовсе не в философии, не в желании “мысль разрешить” и позволить себе “кровь по совести”, а всего-навсего в поиске денег на поход в кино с любимой девушкой.

“В чем, собственно, дело? — успокаивал себя Сергей. — Ну, эка штука — денег нету! Подумаешь, какая нестерпимая беда! Дерьмо какое. К чему же это последнюю свою кровь отравлять вопросами? Пойду и скажу, мол, нету — мало ли”.

Философская трагедия Достоевского сменяется у Зоценко драмой семи гривен».

«Сентиментальные повести» Зоценко привлекают интерес литературоведов по многим причинам.

«Замечателен язык “Повестей”, — писал К. Чуковский. — Это почти литературный язык, но — с легким смердяковским оттенком... Это язык полуинтеллигента тех лет, артистически разработанный Зоценко во всех

своих оттенках и тональностях».

Повести эти — при всей их серьезности и даже трагизме — есть пародия на прежний «высокий стиль»: «Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени»; «Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: ну, как? Что? Есть ли надежда? И что пускай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека!»

Высокий стиль вдруг резко снижается словом «пущай»... Зоценко прощается не только с великой литературой, но и с прежней жизнью, достойной великих романов, — теперь и жизнь, и язык превратились в пародию. В классике встречались «высокие сюжеты», когда бедный влюбленный не мог жениться на возлюбленной из богатой семьи. Здесь планка «резко опускается». В повести «О чем пел соловей», давшей название книге, материальный мотив, разлучающий жениха и невесту, пародийно-ничтожен: любовь и брак расстроились из-за того, что мать невесты отказалась дать молодым... комод. Понятно, комод — только повод, искра, из которой возгорелся пожар самолюбий, амбиций, обид... Свадьба расстроилась. Но ничего такого уродливого, безобразного, в чем обвиняли Зоценко критики, здесь нет. Только раньше свадьба расстраивалась из-за недоданных за невестой золотых приисков. А теперь — из-за комода. Жизнь такая пошла! А любовь настоящая, и даже после того, как вспыльчивый жених сгоряча женился на другой, влюбленные порой встречаются и плачут... И опять-таки, по мнению критики, «плачут не о том»!

Четырнадцатого августа 1927 года «Известия» печатают разгромную рецензию «Обывательский набат» (автор М. Ольшевец) — на книгу «О чем пел соловей».

Из воспоминаний Веры Владимировны Зоценко:

«Сестрорецк, 16.8.27.

На другой день к вечеру приехал Михаил... Приехал расстроенный... я сразу стала спокойной и внимательной. И он сразу заговорил о том, что его заботит. Сказал, что его «обложили» в «Известиях». Какой-то критик (Ольшевец) написал статью «Обывательский набат» — о «Сентиментальных повестях» Зоценко. И в этой статье называет его перепуганным обывателем, который чего-то напугался в жизни и пугает других. Который видит только черненьких, маленьких людишек, пишет Революцию с большой буквы и не понимает величия эпохи».

Критик винит Зоценко, что как-то не видеть у него завоеваний

революции, величия эпохи. Но это проблема скорее авторов революции, нежели автора повестей. Однако вину, конечно, перекалдывают на Зощенко и его героев.

Повести, разумеется, были признаны «неправильными». Кто тут прав — нетрудно понять. «Неправильные повести» Зощенко переиздавались подряд четыре раза, и раскупались, и читались. Оказывается, не изжили люди до конца чувства сострадания — этим их Зощенко и привлекает, и будет привлекать!.. А чтобы найти статью Ольшевца, семь потов пришлось пролить: кто его теперь помнит?

В те самые дни, когда еще не утих шум после статьи Ольшевца, Зощенко бесстрашно обращается в Ленинградский обком партии с просьбой пересмотреть дело двадцатилетнего брата жены, сосланного по обвинению в шпионаже.

Демонстрируя свой небывалый литературный успех, снимает уже упомянутую роскошную квартиру на улице Чайковского и съезжается с семьей. Он — не «уходящий»! Живой! Нужный людям! И на кладбище, как Перепенчук, не пойдет работать! Жизнь его в эти годы — на пике! Не из одних сволочей состоит мир... Одна из поклонниц Зощенко вспоминала, как они были с ним в гостях у знаменитого Леонида Утесова — и люди, можно представить, там были знатные. И находясь среди них и чувствуя всеобщее уважение, Зощенко понимал свою «настоящую цену».

Власть была где-то там... А «тут» люди старались жить достойно, и «лучшее общество» давало свои оценки — и было очевидно, что уж эти оценки точнее, именно здесь определялось, «кто есть кто».

В январе 1930 года — Зощенко в гостях у Осипа Мандельштама, и там же Мейерхольд, Маяковский, Олеша, Катаев, Лиля Брик... Золотой список — и Зощенко в нем!

Тридцатого июня 1930-го Зощенко снова в блестящем обществе — на премьере пьесы «Баня» Владимира Маяковского. Маяковский, если кто не знает, писал не только революционные стихи, его перу принадлежат еще и гениальные сатирические пьесы — «Баня» и «Клоп». Их стиль напоминает рассказы Зощенко — и они, безусловно, чтит друг друга!

И так, чтобы Зощенко непрерывно думал о критике в своей адрес, — это вряд ли. Гораздо более положительное представление о себе он получал, общаясь с гениями, знаменитыми людьми! В Театре сатиры состоялась премьеры его пьесы «Уважаемый товарищ», где главную роль играет Леонид Утесов.

И Зощенко, в зените славы, пишет то, что считает нужным. В 1930 году к «сентиментальным повестям» добавляются еще две повести. В июне

в альманахе «Звезды» публикуется новая повесть Зощенко «Сирень цветет», а в июле она выходит отдельной книгой.

Зощенко в это время — король! А повести — отчаянные.

«Сирень цветет» — еще одна история о страданиях бывшего «приличного человека» в новой жизни. Приключения героя повести, Володина, отчасти даже автобиографичны: судьба бывшего прапорщика царской армии, «к тому же слегка контуженного в голову» и «потрепанного революцией».

Потеряв все, он притулился в мастерской друга, фотографа Патрикеева, а потом с отчаяния женился на вовсе не любимой женщине. Однако, чуть подправив здоровье, он вспоминает о своих «художественных наклонностях» и становится вполне ценным специалистом — ретушером, подправляющим изображения местных жителей в фотоателье своего друга Патрикеева. Вернув себе уверенность, он осматривается уже внимательно и находит более интересный «предмет», чем его унылая супруга, — молодую девицу Сисяеву. Однако его любовный роман мало напоминает прежнюю классику — все вокруг, да и он сам, играют уже по нынешним нотам, всё мелко и убого.

Враги Володина — не дворяне-дуэлянты, а зощенковские герои. Особенно колоритен родственник жены, медбрат Сыпунов, который, взывая к совести Володина, бьет его булыжником по голове. А жена, подойдя на улице, пытается брызнуть ему в лицо серной кислотой, раздобытой все тем же неумолимым медбратом Сыпуновым.

К тому же в момент самых решительных объяснений с возлюбленной на Володина, в результате всех потрясений, находит икота, и возлюбленная, хотя дает согласие с ним соединиться, смотрит на него с некоторой брезгливостью. Жениха, в довершение всего, одолевают мучения: любит ли она его бескорыстно или зарится на его большие деньги, заработанные ретушерством? Заканчивается все мирно — молодые женятся, и даже медбрат Сыпунов вдруг относится к ним добродушно... Но — ощущение трагедии остается.

Повесть «Мишель Синягин», примыкающую к «сентиментальным повестям», автор начинает в апреле 1930-го — и в декабре она уже выходит в журнале «Новый мир» (№ 12), и в том же году за рубежом — в берлинском издательстве «Петрополис». Это история поэта-романтика, оказавшегося в суровых советских буднях. Куда он попал? Уже Ленский, поэт-романтик, как вы помните, был «не совсем ко времени». А уж Синягин! Выглядит он совсем не к месту... но его все равно жаль! Дожилтаки, несчастный, до наших дней.

Мишель Синягин, этокое «нежное растение» дворянского происхождения, поэт сладостных грез, которые теперь звучат пародией, оказывается в результате революционных событий в Пскове с матерью и теткой и, думая лишь о возвышенном, случайно становится отцом и женится поневоле на весьма простецкой местной барышне Симочке, примечательной лишь веснушками. Не в силах переносить подобную банальность, он устремляется к тетке, переехавшей в Петербург и живущей там среди остатков прежней роскоши, которых на жизнь пока хватает, в том числе и Мишелю. Возвышенные порывы, красивая любовная связь, разорение, нищенство.

Несомненно, в основе повести — странный образ, преследующий Зоценко — поэт Тиняков. Он все время оказывается на пути Зоценко, в те годы еще вполне успешного, с протянутой рукой...

В конце концов, дойдя до крайности, Синягин возвращается в Псков, к простой и забытой им Симочке, которая, уже будучи замужем, дает ему, однако, последний приют... Пророческая повесть — через много лет, после всех страданий Зоценко именно в Сестрорецке, у Веры Владимировны, которой он столько лет пренебрегал, найдет последнее успокоение.

А жизнь уже и сейчас тревожит его. И эти повести — попытки как-то изжить свои тревоги, «отдать» их бумаге...

НА СЕМЕЙНОМ ФРОНТЕ

А что у нас «на семейном фронте»? Да и там беспокойно!

Вот горестная запись в дневнике Веры Владимировны: «28 июля 1930 года. 13 лет нашей совместной жизни!.. Покер, преферанс, радио — классическая музыка. Последнее время разговаривает по телефону с девицами. Больше я не знаю о его жизни».

Брак Зоценко стал к тому времени почти условностью. Вина в том была не только мужа — сама Вера Владимировна была особа, как бы сказать, романтическая, обожала поклонников, компенсировала, как могла, холодность Зоценко, который никогда никуда ее с собой не брал. Причиной его окончательного охлаждения был один совершенно вопиющий факт, о котором рассказывает в дневнике сама Вера Владимировна, увлекшаяся перспективным партийным работником, настоящим мужчиной, «хозяйном жизни», аж вторым секретарем Петроградского райкома партии Авдашевым. Их роман протекал бурно, но вот вышел суровый партийный приказ — Авдашева переводили в другой город. Вера Владимировна пишет: «Забывшись в тот последний вечер, я сделала непоправимую ошибку... Я не могла отказать в близости любимому... А Михаил... Михаил был за стеной. И он все понял... я была не права перед ним, я не пощадила его гордости, его мужского самолюбия — в его доме, почти на его глазах, я отдалась другому».

Супруги теперь жили каждый отдельной жизнью — хотя Зоценко не прекратил обеспечивать семью, давал деньги сыну Валерию (откупался?) — и этим испортил его... И Веру Владимировну, конечно, жалко. Вот воспоминание их соседки по дому (С. Гитович): «В нашем дворе я иногда встречала манерную говорливую даму, одетую во что-то воздушное голубое с оборочками, в немыслимых шляпках. Мне сказали, что эта дама — жена Зоценко».

Писательница Тамара Петкевич, тогда еще совсем юная, придя к ним в гости с чтецом В. Яхонтовым, была поражена красотой Зоценко — и его мрачностью, неразговорчивостью. Жена его, Вера Владимировна, была, наоборот, очень оживлена, и как-то даже слишком. Она вдруг сказала Петкевич (которой было тогда 18 лет), что у них наверняка найдутся общие «женские секреты», и увела ее в свою комнату, и вдруг прочла ей восторженное письмо от одного своего поклонника. Юная Тамара Петкевич была сильно смущена такой откровенностью. Так же ее несколько изумила

излишне пышная, по тем временам, обстановка квартиры — кровать под балдахин, подушечки... Особенно ее поразила картина на стене — безмятежный морской пейзаж. Картину эту она уже видела. На Невском — в красивом здании банка Вавельберга, напминавшем роскошное палаццо Медичи (в нем потом располагались кассы Аэрофлота), где в тридцатые годы был комиссионный магазин. Не совсем, впрочем, обычный: туда сдавали свои вещи «лишенцы» — лишённые прав и высылаемые из Ленинграда. На сборы всем уезжающим в ссылку времени практически не давали — объявляли о выезде за трое суток, и люди вынуждены были всё распродавать в спешке. Там лежали роскошные ковры, висели красивые люстры как напоминание о чьей-то счастливой, но уничтоженной жизни. Тамара Петкевич, однажды зайдя туда со своим другом, запомнила картину, которую ее друг хотел купить, но так и не накопил денег. Петкевич пишет: «Картина меня мучила чем-то. Наверное, тем, что была связана с несчастьем людей». И вдруг она увидела эту картину на стене в гостиной у Зоценко! Разумеется, ее приволокла сюда Вера Владимировна, сходявшая от антиквариата с ума. Если бы Зоценко узнал, откуда эта картина, какая «тайна» стоит за ней! А впрочем, он и так наверняка догадывался! Не случайно он все больше «отгораживался» от Веры Владимировны — его комната была отгорожена неким «бункером» с умывальником, где Зоценко сам себе стирал носки и платки.

А Вера Владимировна вовсе не собиралась отказываться от прежних привычек, где самое главное — восхищение поклонников. В дневнике 1931 года она пишет об отдыхе в Новом Афоне с Зоценко и сыном Вале́й (как по-домашнему звали Валерия). Потом Зоценко уехал — и, как пишет Вера Владимировна: «...после его отъезда начался мой “Афонский декамерон”. “10 дней, которые потрясли мир”».

Однако Вера вовсе не собиралась рвать с Зоценко. Роль «жены самого знаменитого писателя» по-прежнему не безразлична ей. Хотя ее высказывания о нем порой высокомерны... Вот запись в ее дневнике: «... говорит, на него “гонения”. Было совещание цензоров и членов ГПУ по вопросу о Зоценко... Решили: “он — порождение советской власти”. Михаил, конечно, их!»

Да, «духовного слияния» у них не было. Вера Владимировна, конечно, душою осталась «там», в прежних романтических мечтах... Поворот Зоценко к «теме простого народа» ей не нравился. Даже в обстановке их комнат ощущалось их расхождение: аскетическая комната Михаила Михайловича — и роскошный «будуар» Веры Владимировны в стиле неизвестно какого Людовика... И творчество мужа она порой

рассматривала сугубо материально, о чем говорит ее запись в дневнике: «Он давал по 5 рублей на день — на семью из пяти человек — он, Валя, я, Ольга и Соня... И он в то же время прекрасно зарабатывал — без конца выходили его книжечки!»

И еще: «...Михаил сообщил мне, что собирается издавать книгу “Письма читателей”. Половину гонорара думает пожертвовать на бедных родственников».

О надеждах, которые он связывал с этой книгой, они, видимо, не говорили...

ЗАЩИТА ЗОЩЕНКО

А Зощенко связывал с этой книгой большие надежды. Нападки критиков на него не прекращались, даже усиливались. Чуковский, наиболее обстоятельный летописец литературной жизни тех лет, в очерке «Зощенко» вспоминает:

«Дерзость писателя, отказавшегося видеть “красоту и величие” там, где “в каждую минуту нашей жизни” (подумать только: в *каждую* минуту!) ему видится вероломство и злая корысть, показалась им <критикам> до того возмутительной, что они еще громче, чем прежде, объявили его сатиры фантастикой. Один из них с сердитым недоумением спрашивал:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

Как-то в это самое время мы проходили с Михаилом Михайловичем по Литейному в сторону Невского. К нам подошел незнакомый субъект и накинулся на него с тем же упреком:

— Где вы видели такой омерзительный быт? И такие скотские нравы? Теперь, когда моральный уровень...

Он не договорил... <...> Мы в этот миг проходили мимо большого четырехэтажного дома, и вдруг прямо к нашим ногам упала откуда-то с неба оципанная, обезглавленная, тощая курица. И тотчас из форточки самой верхней квартиры высунулся кто-то лохматый, с безумными от ужаса глазами и выкрикнул отчаянным голосом:

— Не трожьте мою куру! Моя!

<...> Вся сцена была словно выхвачена из зощенковских “Уважаемых граждан”. <...> ...Зощенко усмехнулся своей медленной, томной, усталой улыбкой и тихо сказал своему обличителю:

— Теперь, я думаю, вы сами увидели.

<...> Впрочем, характер его ничуть не испортился. Напротив. К этому времени уже почти ничего не осталось от того высокомерного, “шершавого” и даже как будто заносчивого Зощенко, каким мы знали его в студийные годы. Он стал мягче в обращении с людьми, более приветлив, уравновешен и прост.

Слава подействовала на него благотворно: во всех своих словах и

поступках он сделался увереннее, спокойнее, тверже и четче. Чувствовалось, что все эти качества достались ему как достойный итог его длительной работы над собою, над своим трудным и сложным характером».

Особенно «сложным» характер Зоценко казался представителям власти: с ним «по-хорошему», а он гнет свое! И вместо того, чтобы притихнуть, ведет себя вызывающе. Когда в ноябре 1928 года распоряжением ленинградских властей были уволены из журнала «Пушка» бывшие сотрудники «Сатирикона» (дореволюционного сатирического журнала), а один из них, В. Воинов, арестован, Зоценко пишет протест в Ленинградский обком. В конце апреля 1929 года он подписывает коллективное письмо (Литературная газета. 1929. № 13) в защиту О. Мандельштама. Осенью 1929-го его приглашают, как одного из самых популярных писателей (вместе с В. Кавериним, М. Козаковым, Н. Никитиным, В. Шишковым и другими «попутчиками») в гостиницу «Европейская» к приехавшему в Ленинград Л. Авербаху, который зазывал их в РАПП, то есть, несомненно, в Российскую ассоциацию пролетарских писателей («Европейская» вообще неплохое место для вербовки в «пролетарию»), — но гости, по разным причинам, отказываются от столь заманчивого предложения, и Зоценко тоже.

У него своя линия. В ответ на критику он придумывает «ответные ходы», которые, как кажется ему, должны если не победить противника, то, во всяком случае, убедить его в нужности зоценковской работы.

В марте 1929 года он читает Чуковскому уже подготовленную книгу «Письма к писателю» — книгу, которая должна его защитить. Писем он получал огромное множество. И писал ответы — начал отвечать еще в «Дрезине», сатирическом приложении к газете «Гудок».

Теперь он решил издать эти письма, показать властям, кого на самом деле любит народ. И летом 1929 года эта книга выходит (тираж 10 000 экз.). Помогла ли эта книга ему «как-то отбиться»? Он, как всегда, справедливо опасаясь за судьбу очередной своей книги, в предисловии подводит «правильную базу»: «Я не могу и не имею права держать в моем столе такой исключительный материал. Я эту книгу собрал для того, чтобы показать подлинную и неприкрытую жизнь».

И действительно, судя по этим письмам, никого «ближе к народу», чем Зоценко, нет. К нему идут письма и серьезные, глубокие, от вдумчивых читателей, и письма смешные, анекдотические.

Вот одно из писем, приведенных в книге, с предваряющим текстом Зоценко:

«Беспризорный гений»

Письмо получено из Бухары в 1928 году. Я печатаю его с точным сохранением орфографии. Иначе не видать лица автора.

3 мая 1928.

“Мой Лучший Привет Михаилу Зощенко.

Я для вас не известный

Но будущий непризорный гений — юморист

С сцены хочу поставить себя в известность и доказать от

Всех непризорных что значит дитя с улицы а по

Этому хочу попросить вас

О сочинении для меня Репертуара что нибудь из сатиры и юмера так как у меня

Репертуар хромает старыми Вещами.

А для того чтобы доказать

Современностью я обращаюсь К вам как к Спецу Вашего дела и на деюсь вы охотно приметесь за работу Как Помочь мне А также заработать Себе.

А теперь я хочу кое что на писать о себе я два года тому назад Пел и ценители моиго Искуства слушая Меня В лохмотьях и со взерошаноми Волосами говорили только: на ять.

А теперь я немного мозмужал и голос уменя стал довольно салидной и выступая на все возможных Вечерах я делаюсь ка кто любимцем Публики и теперь я призываю Вас как можно по-скорейи по остроумнее и вы окромья платы после некторых выступлениях получаете от mine вознаграждение.

Что я хотел иметь В репертуаре чтобы кончалось на припевы — 'обидно и досадно' и попури из опер и кокия нибудь Аникдоты, монолог что нибудь из современности Вопщем соображайте что нибудь по остро умнее — С приветом...

Если Возьметесь то соопщите по адресу г. Бухара... и я высылаю задаток. А также соопщите сколько вещь будет стоит”».

Зощенко комментирует:

«В ответ на это письмо я послал будущему “гению Сцены” свою книгу “Уважаемые граждане”.

Что я мог еще сделать? Я бы охотно ему чего-нибудь сочинил, но боялся не справиться с припевом “Обидно, досадно”».

Потрясает в этой книге то, что именно к Зощенко обращаются люди

несчастные, измученные жизнью — с последней надеждой на спасение, присылают свои жалобы, даже в стихах:

«Стихотворение “Старуха и ее дочь” было прислано с просьбой напечатать.

Печатаю с сохранением орфографии:

Старуха и ее дочь

Худая ветхая избушка
И как тюрьма темна
Слепа мать старушка
Как полотно бледна.
Бедняжка потеряла
Своих глаз и ух
Прожила не мало
И чуть переводит дух.
Прожила уже много 65 лет
Потеряла силу, а счастья нет
А у ней девченка там в углу сидить
Бедная рыдает, в холоду дрожить
Голод донимает
Есть она хочет
Руки не согреет
И дрожа сидит
Но темно в избушке
Не с кем ей играют
И осталось к подушке
Припасть и зарыдать
Бедная девченка
Рано она встает
И дрожа по улече
Бедная снует
Каждой избушке
Под окно стучит
Сердце ее тревожит
Есть она хочет
Наберет немного фунта 1¹/₂-ра

И бежит домой бистрая она
Чтобы не прозябнуть
Чтобы не простыть
Чтобы не остаться
И как мать не быт».

Зоценко подбирает письма так, чтобы видны были сдвиги к новому, он вовсе не хочет сказать (в чем его обвиняли), что революция ничего не изменила в сознании людей. «Темный класс» поднимается, обретает голос... И хотя порой слова их напоминают рассказы Зоценко — в этом уж никак не он виноват. Вряд ли они подражают ему — скорее, наоборот. Вот письмо — с вступлением Зоценко:

«Стихи о Ленине

Пролетарская революция подняла целый и громадный пласт новых, “неописуемых” людей. Эти люди до революции жили, как ходячие растения. А сейчас они, худо ли, хорошо, — умеют писать и даже сочиняют стихи. И в этом самая большая и торжественная заслуга нашей эпохи.

Вот в чем у меня никогда не было сомнения! В этих стихах есть энтузиазм.

Учитель Ленин

Я пишу О вас тов. Ленин
Что ты родной отец мой,
Что ты дал большое знанье
И научил читать меня.
Я неграмотный мальчишка
До семнадцать лет ходил
И не знал я первой буквы
И не видел даже книг.
А теперь счастливый
Я читаю и пишу
И О вас товарищ Ленин
Я сечинения пишу».

Поэзии, как показывает Зощенко, не чужды и военные:

«Я получаю изрядное количество стихов. Многие авторы просят оценить ихний поэтический дар. Некоторые требуют напечатать, предполагая, что мне известны какие-то необыкновенные ходы для этого дела.

На первый взгляд довольно трудно понять, почему именно мне присылают на отзыв стихи. Я прозаик. Известен читателям главным образом как автор юмористических рассказов. И вдруг мне стихи... В чем дело?

А дело в том, что нету другого “товара”.

Стихи оказались более доступны, чем проза. Стихи легче складываются. Это почти песня.

Дети, как известно, начинают писать именно со стихов. Со стихов начали свою литературную судьбу почти все писатели. И всякая молодая, так называемая “варварская”, литература тоже начинается с песен и со стихов. Мне некоторые авторы так и пишут: “Стихи на мотив 'Светит месяц' или 'За что он полюбил меня’”. Эти мои соображения мало подходят к этому письму и к этим ниженапечатанным стихам. Стихи эти сравнительно грамотные».

«19 марта 1926 Уважаемый т. Зощенко.

Читая Ваш юмористический рассказ “Самородок из деревни” мне пришла такая же мысль, может быть и я стану темой для нового рассказа, но тогда прошу не называть мою фамилию. Если Вы бегали в редакцию два месяца со стихами, то в двух словах пришлете мне свое мнение о моих стихах, здесь я напишу одно, чтобы не затруднить Вас чтением.

Я сам из Башкирии, кончил сельскую школу. Жил в горах на хуторе, теперь нахожусь в армии. Нахожусь в г. Житомире в артиллерии.

Посылать куда-нибудь в редакции я из дому не решался, потому что не знал, как это делается. В армии мне ребята посоветовали послать один с них в журнал “Красноармеец”. Я послал туда “Памяти Ильича”. Но что его постигло, я не знаю — вестей об этом нет.

Слушая политграмоту о Красной Армии, я ко дню 8-й годовщины написал один стих, но уже послать его никуда не решался. Напишу его Вам:

Уж восемь лет с тех пор минуло,

Как наша армия растёт,
В свои ряды неколебимы
Бойцов трудящихся зовет.
Шли восемь лет дорогой славы
Окружены врагов кольцом,
Но враг не видел наши спины
Наш строй встречал его лицом.
Ты создавалась под ударом
Врагов свободной стороны.
А закаляло тебя пламя
Освободительной войны.
Разбиты банды,
Скоропадский, поляки, немцы и Краснов,
Побеждены чехословаки, Каледин и опять Краснов.
Колчак с востока двинул войско,
Надеясь быть у нас царем,
Но наша армия встречала
Пришельца дерзкого свинцом.
Пришлось ему проститься с мыслью
Увидеть красную Москву.
К востоку шли остатки войска
Через Урал и по току.
Деникин с юга двинул силы
Надеясь сердце страны взять
Но под напором нашей силы
Ему пришлось на юг бежать.
Был сброшен Врангель в Черноморье
И север весь освобожден...
Вот при каких трудах и битвах
Дух Красной Армии рожден.

По одному Вы будете судить о всех. Какие нехватки, я знаю, что страдаю от нехватки образования.

Напишите, бросать или нет мне это (как многие говорят) баловство. Пишите прямо, обижаться не буду.

Уважающий Вас...

Адрес: УССР, г. Житомир...

Пишите без марки.

Недавно послал в журнал “Безбожник”. Что будет?»

«К сожалению, мне не пришлось ответить на это письмо. Письмо было послано по какому-то запутанному адресу и пришло ко мне чуть не через полгода.

Такой большой промежуток времени отбил у меня охоту сразу отвечать. Я отложил письмо, чтоб ответить после (все равно уж!). Так оно и завалилось. Прошу прощения у автора.

Если не поздно — могу посоветовать: “баловство” не бросайте. Пишите. И одновременно ликвидируйте нехватки своего образования.

Еще раз прошу извинить за мою небрежность».

Были и письма «пикантные» — и к этой «теме», довольно существенной в его жизни, Зощенко также не мог остаться равнодушным:

«Драма на Волге»

Осенью 1926 года я получил странное и непонятное письмо. Я прочел его два раза подряд и ничего не понял. И только читая в третий раз, я стал более или менее понимать все события, которые развернулись на Волге.

Какой-то жуликоватый человек, какой-то проходимец, неизвестно из каких соображений, выдал себя за Зощенко и в таком положении “прокатился” по Волге, срывая славу и светские удовольствия.

Этот человек имел, судя по письму, некоторый успех и среди женщин.

Вот письмо от одной из его героинь:

“Добрый день, Михаил Зощенко!

Шлю Вам свой искренний привет.

Вчера, разбирая хлам в ящиках письменного стола, я натолкнулась на открытки с видами тех мест, где мне пришлось побывать за время моего учительства.

Виды волжского побережья и Жигулевские горы навеяли на меня воспоминанья и вот результаты — письмо к Вам.

Дорогой Михаил Зощенко, мне так бесконечно жаль, что пришлось встретиться с Вами в такой пошлой обстановке. Именно из-за этого я не могла быть с Вами такой, как мне этого хотелось. Я боялась, что Вы примете меня за искательницу приключений.

Кроме того, на меня подействовали слова профессора, что мое ‘дурное поведение’ может отразиться нежелательным образом и на Вас, таком известном писателе.

Поэтому уйти из их общества я решила еще в Вашей каюте.

Этим и объясняется, что я под конец стала холодной к Вам относиться, но я решила, что так лучше будет для всех.

Разбирая открытки с видами Волги, я снова вспомнила Вас, я снова мысленно рисую Ваше лицо, Ваши умные глаза, полные грусти и затаенного смеха. Дорогой Михаил Зощенко, простите меня за эти строки. Я должна Вам сказать — у меня было мало хорошего в жизни. Главное — чем больше я сталкиваюсь с людьми, тем больше и больше я разочаровываюсь в них.

Но вместе с тем мне их становится как-то жалко. Я отыскиваю всякие причины, экономические и социальные и др., которые могут их оправдать, и пришла к выводу, если принять во внимание совокупность всех причин, то все люди должны получить оправдательный приговор. Нет плохих людей на земле. Всякие действия их оправдываются.

Но почему же, в таком случае, есть какое-то мерило хороших и плохих людей?

Я рассуждаю об этом и снова запутываюсь в неразберихе происходящего.

Много времени я трачу на чтение литературных произведений. Жаль, что не могу до сих пор прочесть Ваши 'Сентиментальные повести'. В нашей жалкой библиотеке их еще нету, заметку же о них я прочла.

Мне кажется, там верно подмечено Ваше разочарование, Ваш пессимизм. Я, говоря с Вами, подметила это. В тоне Ваших слов сквозило какое-то равнодушие к своей жизни, какое-то разочарование в ней, да и Ваши ежедневные попойки, эти 8–9 рюмочек, я думаю, сами говорят за себя.

Мне бы очень хотелось знать, какой из своих рассказов Вы считаете самым удачным. Жалею, что не пришлось слышать чтение Ваших рассказов в Вашем исполнении. Вы так отказывались. И я понимаю, что Вам не хотелось забавлять этих веселящихся людей.

Кажется, я наговорила много лишнего. Простите. Ставлю точку. А если Вы вспомните хоть немного обо мне, о Волге и о нашей встрече, то напишите. Я буду бесконечно рада.

Жму крепко Вашу руку.

Мой адрес..."

Я хотел было сначала оставить бедную разочарованную женщину в неведении, но потом обозлился на своего развязного и счастливого двойника. А главное — мне захотелось узнать все подробности.

Я написал ей письмо, приложил свою фотографическую карточку и попросил поподробней описать замечательную встречу.

Вот что ответила мне доверчивая женщина:

“4 февраля 1927

Следуя Вашему совету 'быть более осторожной', боюсь начать письмо с пожелания доброго дня М.М. Зощенко, так как не уверена, к кому именно обращаюсь. Ваше письмо с фотографией я получила. Хохотала много над своим глупым положением, в которое я попала благодаря тому, что в общезжитии не принято требовать документы, удостоверяющие личность человека, с которым приходится знакомиться.

Фотография и оригинал мне знакомого Зощенко, конечно, различны между собой. По Вашей просьбе приступаю к описанию времени, места и обстоятельств знакомства с злополучным 'Зощенко'. Приступаю.

Из Нижнего в обратный рейс до Сталинграда я с другой учительницей из нашего города, мало знакомой мне, выехала приблизительно, точно не помню, 15 июля на пароходе 'Дзержинский'. Во время обеда в салоне мы познакомились с профессором К... и его женой (мнимыми или настоящими?). Профессор, по его словам, читает в ...веком университете судебную медицину, гигиену, а в педвузе основные методы психологии. Жена — очень яркая, интересная блондинка лет двадцати восьми, бросающаяся в глаза. Милые, славные люди показались нам.

Каюты наши оказались по соседству, и мы быстро сдружились. На палубе к профессорше подсели два каких-то 'типа', познакомились. Один из них понравился ей, другой — моей попутчице. Я же в то время была не с ними. Подъезжали к Самарской Луке. Жигулевские горы должны были проезжать в три часа ночи. Хотелось не проспать. В салоне вечером организовался целый концерт. Там были и мы с профессоршей и одним из 'типов'. Иван Васильевич Васильев, работающий в издательстве 'Прибой', — как он отрекомендовал себя. Чтобы прогнать сон, Васильев предложил выпить в его каюте по кружке пива. Было около десяти часов вечера. Я вообще терпеть не могу никаких напитков, но против того, чтобы посидеть в компании таких 'симпатичных' людей, не имела ничего против.

В каюте мы уселись и начали пить пиво. Каюта была трехместная. Стук в дверь. Вошли два — один из 'типов', другой — выдававший себя за Зощенко. Моим соседом оказался Зощенко. Это был субъект высокого роста, мускулистый, загорелый, здоровый, с рыжеватой волнистой шевелюрой и серо-голубыми глазами, в которых светился ум и по временам искрился затаенный смех. (Я невысокого роста. У меня черные волосы. Английская прическа. — М. З.) Одет он был в чесучовую рубашку, вобранную в брюки, с расстегнутым воротом и засученными рукавами. Говорили кой о чем. Заказали 'типы' ужин. Выпить первую рюмку

предложили на брудершафт каждому со своей дамой. Меня покорило такое быстрое сближение. Я запротестовала. Остальные пары быстро пошли к сближению. Поцелуи, объятия. На моем лице ужас и отвращение.

Вам, может быть, это тоже покажется смешным, как и им, но я была жестоко разочарована — такое быстрое сближение пятнадцать минут тому назад познакомившихся людей на меня произвело отвратительное впечатление. Надо мной начали смеяться, объяснять мое негодование мещанством и провинциализмом. Мой сосед вел себя по отношению ко мне довольно корректно, повторяя, что он не циник и понял меня. Я почувствовала, что я мешаю моим 'плохим' поведением, как выразилась одна из наших спутниц, им разойтись как следует. И тогда я ушла.

Попозже 'Зоценко' встретил меня на палубе и завел разговор о себе, о своей жизни, работе и поездке в Германию. Я узнала, что он партиец с 1918 года, работал до войны на Сормовском заводе (так, по крайней мере, он говорил), затем ушел на войну, потом с 1917 года начал писать. Зарабатывает в месяц 225 рублей, 100 проживает, а остальные — на приобретение книг для своей библиотеки, которая состоит из книг русских и иностранных писателей; его снова посылают в Германию учиться и совершенствоваться в стиле. Вообще его поведение все время по отношению ко мне было безукоризненно. Вообще он очень редко показывался на палубе днем, объясняя, что он едет инкогнито. Он уходил в четвертый класс собирать материал, всегда был выпивши и всем раздавал мелкие книжки с рассказами Зоценко на память, вечерами сидел на носу и задумчиво глядел вдаль.

Вот и все. Писала откровенно, ничего не прикрашивала. Простите, что мое первое письмо было не по адресу, но, как видите, я здесь совершенно ни при чем”.

Между первым и вторым письмом есть, конечно, существенные противоречия. Но это весьма понятно. Автор письма, несомненно, хотел сгладить какие-то углы. И хотел, видимо, рассеять мои сомнения о любовном приключении. Но я на это и не имею претензий.

Я допускаю, конечно, что мой двойник не слишком постарался использовать свою вывеску. Тем не менее я не верю в его сплошную корректность. Не такой это человек, чтоб он только “сидел на носу и задумчиво глядел вдаль”.

Ах, сукин сын!.. А, впрочем, черт его знает!

Во всяком случае, я рад, если этот развязный гражданин не причинил кому-нибудь из пассажиров серьезного вреда».

Но приходили Зоценко и письма более жизнерадостные:

«Уважаемый Миша!

Дело в сорте такого!

Нас двое. Мы любим Вас! Вернее, любим читать только Ваши произведения. Они пленили, но не вполне очаровали нас, так как мы убеждены в том, что, кроме рассказов, которые пропущены цензурой, у Вас еще имеются и другие, а запретный плод сладок и нам очень желается почитать их.

Мы просим прислать нам свои нецензурные (неизданные) произведения.

Очень просим не отказать нам в нашей просьбе. Вас побеспокоит наше письмо. Очень извиняемся.

Стоимость Ваших произведений мы оплатим, хотя мы студентки. Адрес: Москва... А просто — Валька с Нюркой».

«Этим милым и развязным студенткам я ответил, что неизданных и запрещенных цензурой рассказов у меня не имеется.

И в самом деле, у меня не было таких рассказов. Цензура мне все пропускала. Крайне признательный за это, я и сам в дальнейшем вел себя добропорядочно и не писал рассказов, которые могли бы не пойти».

А вот уже письмо абсолютно наглое:

«Лялечка и Тамочка

Сейчас редко какой человек берет на себя ответственность за свои действия.

Магазины открываются сообща. Пьесы и романы пишут также не менее двух авторов.

Я видел стихи, подписанные двумя скромными фамилиями. Один поэт, небось, рифмы подбирал, а другой перо в чернильницу макал.

И даже письма пишутся на пару.

Ну что ж! Вдвоем больше мужества, наглости, развязности и успеха».

И еще письмо не особо приятное:

«“Я” — это одна из Ваших читательниц и которой безумно нравятся Ваши юмористические рассказы и очень хотела бы с Вами познакомиться. Может быть, у Вас нет ни малейшего желания к увеличению своих поклонниц, таких назойливых, как я.

У моей приятельницы тоже желание не меньше моего с Вами познакомиться и поболтать.

Если захотите нам ответить, то 25-ое почтовое отделение “до

востребования”...

Не подумайте, что мы письмо Вам посылаем без марки, она быть может отклеилась по дороге.

Можете и позвонить... Нечего разыгрывать барина!

Будем ждать Вашего ответа с нетерпением.

Лялочка и Тамочка».

От этой «душистой» темы Зоценко переходит к более серьезным письмам — на тему, сильно волнующую его самого:

«Обычно думают, что я искажаю “прекрасный русский язык”, что я ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочно пишу ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую публику.

Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица.

Я сделал это (в маленьких рассказах) не ради курьезов и не для того, чтобы точнее копировать нашу жизнь. Я сделал это для того, чтобы заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел между литературой и улицей.

Я говорю — временно, так как я и в самом деле пишу так временно и пародийно.

А уж дело других (пролетарских) писателей в дальнейшем приблизить литературу к читателям, сделать ее удобочитаемой и понятной массам.

И как бы судьба нашей страны ни обернулась, все равно поправка на легкий “народный” язык уже будет. Уже никогда не будут писать и говорить тем невыносимым суконным интеллигентским языком, на котором многие еще пишут, вернее, дописывают. Дописывают так, как будто бы в стране ничего не случилось. Пишут так, как Леонид Андреев. Вот писатель, которого абсолютно нестерпимо сейчас читать!

А как говорит и думает улица, я, пожалуй, не ошибся. Это видно из этой моей книги, из этих писем, которые я ежедневно получаю.

Вот любопытное письмо. Оно написано, как будто бы я его писал. Оно несомненно написано “моим героем”.

Я получил это письмо по почте от неизвестного человека».

«Дорогой Зоценко!

Мне случайно попало в руки “любовное” письмо, которое получила одна моя знакомая.

Не пригодится ли оно Вам? Оно очень напоминает Ваш стиль и Ваших героев.

С приветом К. Л.».

Далее приводится это самое письмо:

«Уважаемая гражданка, зачитайте это письмо и примите от заинтересованного вами это подношение. Не побрезгуйте, не погнушайтесь.

Желательно с вами познакомиться всурьез. Не покажется это вам за предмет любопытства, а желательно с целью сердечной, потому что с каких пор вас увидел, то сгораю любовью.

Замечательный ваш талант, а пуще всего игривость забрали меня за живое и как слышал, что вы лицо, причастное к медицине, то понять должны, что кровь во мне играет и весь я не в себе.

Если вам не противно, то буду ждать Вас у входу в буфет.

В военном обмундировании, расту как обыкновенно, собою видный, волосом русый, а на груди пять всесоюзных значков.

Остаюсь в ожидании С. С.

Имя скажу при свидании».

И далее — комментарий Зощенко:

«Так называемый “народный” язык стоит того, чтоб к нему приглядеться.

Какие прекрасные, замечательные слова: “Зачитайте письмо”. Не прочитайте, а зачитайте. То есть “пробегите, просмотрите”. Как уличный торговец яблоками говорит: “Вы закушайте этот товар”. Не кушайте (т. е. целиком), не откусите (т. е. кусочек), а именно закушайте, то есть запробуйте, откусите только раз, сколько нужно для того, чтобы почувствовать прелестные качества товара.

Язык стоит того, чтобы его изучать!»

В комментариях Зощенко к этой книге есть и его «взгляд на себя»:

«У меня была легкая и удачная литературная судьба. Мне не пришлось мотаться по редакциям. И не пришлось вкручивать свою продукцию.

Я начал работать в двадцатом — двадцать первом годах.

В те счастливые годы ответственные редакторы сами приходили за рукописями на квартиру и несли в зубах деньги.

Молодые писатели работали тогда почти вне конкуренции. И от хорошей молодости все они впоследствии стали классиками».

...А вот и хорошее письмо, тоже приведенное в этой книге, и со вступлением Зощенко:

«Это интересное письмо получено мною от рабочих М. Б.-Б. ж. д. Москва, 2 января 1928».

Послание, замечу от себя, и в самом деле любопытное, наводящее на некоторые размышления... Но — читаем:

«Дорогой т. Зощенко! Простите, пожалуйста, нас, что надоедаем вам этим письмом, но просим не смотреть на него как на обычное письмо какого-нибудь поклонника (а они у вас, конечно, есть), расхваливающее ваши произведения и оканчивающееся слезной просьбой “пристроить рассказик”. Этого вы здесь не встретите.

Вам пишут простые рабочие люди, интересующиеся вашими рассказами, как рассказами совсем другого рода, чем юмористические рассказы других авторов, а именно: краткими, общепонятными, без размазывания и присюсюкивания, без подделыванья под чужой язык, и дающими здоровое развлечение, но, вместе с тем, обрисовывая живых типов из стоячего болота обывательщины.

В 1924 году один из наших товарищей по общежитию купил сборник ваших рассказов издательства “Огонек” (“Искусство Мельпомены”, “Баня” и проч.).

С первых же строк слушатели хохотали: рассказы были поняты, а затем мы не пропускали ни одного номера “Бегемота” и ни одного сборника ваших рассказов разных изданий.

Некоторая заминка произошла с “Веселым приключением” (“Прожектор”) и сборником “О чем пел соловей”, но потом стало очевидным, что там очень тонко, сквозь общий язык сентиментальных повестей, сквозит то же презрение к мещанской тине и остро высмеивается заезженный шаблон “изящной литературы”.

“Сентиментальные повести” были поняты, и теперь, читая какой-нибудь роман, поневоле замечаешь эти шаблоны, выведенные вами.

Почему ваше имя знакомо всем, даже в среде с низким культурным уровнем, не говоря уже про более развитых рабочих и интеллигенцию?

Почему даже меланхолический человек при упоминании имени Зощенко оживляется? Почему на человека, не слышавшего о вас, смотрят с сожалением? Объясняется это тем же простым стилем, общепонятностью и вообще тем, чего безуспешно добиваются современные авторы юмористических рассказов. Ведь иногда, читая ваш рассказ, смеешься не всему рассказу в целом, а одному удачно подобранному слову или фразе.

В этом-то и сила, это-то и заставляет внимательнейшим образом, следя за каждым словом, читать ваши рассказы. Это не хвала вашему достижению, это подтверждение факта.

Смешно читать некоторых авторов, вроде... и некоторых других, которые, рабски копируя вас, не замечают того, что получается сплошная ерунда и сюсюканье, или же замечают, но думают, что “публика — дура, не поймет” — выражаясь вашей фразой. Но публика понимает, и каждый

читавший вас определенно заявляет, что написано “под Зощенко”.

Так же обидно становится, когда выступающий артист коверкает ваши рассказы, руководясь тем же непониманием публики-дуры, делая их топорными и лишая тончайшего юмора пошлой отсебятиной. Единственный хороший исполнитель ваших рассказов — это Ильинский: этот передает их слово в слово. Мы ни за что не будем слушать их в исполнении Вл. Хенкина и других, которые перевирают текст и допускают отсебятину.

Это в Москве. А что делает из ваших рассказов провинциальная халтура! Искренне приходится сожалеть, что нельзя им запретить делать это.

Дорогой товарищ Зощенко! Разрешите попросить вас ответить на такой пустяковый по виду, но очень взволновавший нас вопрос: с целью ли было вставлено вами слово “зануда” в рассказе “Каторга” или же вы не совсем понимаете это слово. Оно уличное, позорное для женщины и звучит так же, как и проститутка.

Мы по этому поводу много спорили, среди нас есть несколько рабкоров, которые утверждают, что это недоразумение и что у вас раньше подобного нигде не встречалось, даже в таком рассказе, как “Лялька Пятьдесят”, где другой бы автор насажал черт знает сколько разной похабщины.

Другие же уверяют, что вы это сделали с целью, следуя примеру некоторых своих собратьев по перу.

Мы очень просим ответить на этот вопрос.

Еще просим: нельзя ли как-нибудь устроить хотя бы в центре, чтобы ваши рассказы не подвергались извращению при исполнении их некоторыми московскими артистами. (Хенкин отлично читает мои рассказы, однако к тексту он, действительно, относится несколько небрежно. — М. З.)

Мы назовем вам их имена, и вы подействуйте на них письмом, как автор.

Ей-богу, уж очень обидно становится, когда знаешь каждый ваш рассказ почти наизусть и вдруг слышишь, как его коверкают.

Не подумайте, прочитав наше письмо, что это простой грошовый интерес вами. Это не так! Вами интересуются люди из среды массового читателя и, надеемся, не чуждые вам.

Сообщите также, пожалуйста, ваше отчество и домашний адрес.

Ждем ответа.

Наш адрес: Москва, Курбатовский пер., д. № 28. Общежитие рабочих

М. Б.-Б. ж. д.».

Зощенко особо выделяет это письмо:

«Это исключительно неглупое и интересное письмо. Правда, оно мне льстит. Но я стараюсь быть выше каких-то своих корыстных ощущений и оцениваю это письмо беспристрастно.

Письмо замечательно интересное. Я несколько раз читал его и только диву давался — откуда взялись такие наблюдательные критики.

Я послал им обширное письмо, в котором, кроме всего прочего, написал о происхождении злополучного слова “зануда”.

Прежде всего я коснулся ругани вообще. Я написал, что нельзя абсолютно изгонять бранные слова из литературы. Надо прежде изменить быт. Надо перестать ругаться. И тогда литература сама выкинет все прискорбные слова. А иначе получится сильное несоответствие между литературой и бытом.

Волей-неволей иногда приходится допускать в рассказах бранные и грубые слова. Лично я делаю это в самом крайнем случае.

Что же касается нашего злополучного слова, то оно как раз не имеет особо бранного значения. Слово “зануда”, несомненно, происходит от слов — нуда, нудный, нудить. Так что оно имеет более обширное значение, чем предполагают мои корреспонденты.

В частности же, этим словом называется также и проститутка, та женщина, которая пристаёт, надоедает, нудит. Только зазорного в этом слове ничего нету.

Слово совершенно литературное».

И далее Зощенко снова приводит доказательство того, как тесно его творчество связано с жизнью — и как ему верят, надеются на него в самых критических ситуациях:

«Это письмо мне послужило темой для небольшого рассказа-фельетона “Поэт и лошадь”.

Рассказ помещен в сборнике “Над кем смеетесь”.

Должен сказать, что письмо написано страшно безграмотно и неуклюже, хотя автор письма — “старый газетный работник” — так подписана жалоба.

Письмо несомненно написано в минуту сильного душевного волнения».

Что же — оценим:

«14 июня 1927. Не зная, как обратиться к тов. Зощенко, беру на себя решимость беспокоить Вас, тов. редактор, с тем, что если материал подходящий — Вы дадите ему данную тему, явившуюся из жизни.

Проходя 14/6–27 в Детском Селе по улице Белобородова уг. Колпинской, мимо дома, где жил А.С. Пушкин, о чем гласит и прибитая к дому надпись, — я неоднократно наблюдала в небольшом палисаднике с зеленью, окружающем этот прелестный домик, — рабочую лошадь, которая, не будучи даже стреножена, бродила под окнами и ломала и объедала всю молоденькую зелень распускающихся кустов жимолости и сирени, между тем, как позади домика имеется зеленая лужайка и даже деревья, к которым можно было бы привязать эту лошадь, предоставив ей траву, вместо веток сирени и вламывания в кусты.

В означенный день 14/6 — с. г. я проходила с представителями музыкального мира опять мимо этого дома, и мы решили узнать, почему такая заброшенность в памятнике старины, которую теперь чтит вся Россия. Оказалось, что дома был даже сам заведующий домиком и на мой вопрос о лошади сказал, что кусты выросли после А.С. Пушкина и что лошадь дом не ест. А если ломает кусты и грязнит перед окнами (из которых тысячи экскурсантов любуются теми видами, которыми любовался и А.С. Пушкин), то это ничего не значит; ибо лошадь животное очень полезное, а на следующее возражение, что полезное животное можно привязать на втором плане к дереву, на траву, начал сыпать отборными выражениями до тех пор, пока я заявила, что я представитель литературы, т. е. прессы, — он тогда сказал, что много, мол, их тут шляется, а я благодарность имею за сохранение дома.

Тогда я сказала, что я не знаю, что он будет иметь в будущем, если я напишу в журнал с соответствующим рисунком о его сохранении памятников старины, на что живущие в нижнем этаже рабочие и сам он громко захохотали, а завед. домом даже плюнул из второго этажа.

Сердце кипело выкинуть таких держиморд, не смыслящих ничего в чем суть старины и полагающих, что довольно того, что лошадь не ест дома, а кусты не при Пушкине выросли — и назначить на их место таких, которые бы берегли все, что создавало бы полное для памяти впечатление для ума и сердца.

С совершенным уважением...»

Конечно, писатель не идеализирует своих корреспондентов. Он знает, что должен соответствовать званию «разоблачителя пошлости и мещанства» — ни в каком ином качестве власть его не признает. Он отмечает, что в письмах читателей «можно видеть настоящую трагедию, незаурядный ум, наивное добродушие, жалкий лепет, глупость, энтузиазм, мещанство, жульничество и ужасную безграмотность». Но «резко осуждать», да тем более «с правильных позиций», Зощенко не умел, любой

пафос у него принижался иронией, поэтому никакого «безоговорочного осуждения недостатков» не получилось. Враждебная критика на книгу набросилась с прежним остервенением, а критика дружеская реагировала вяло... Книга, написанная не самим Зоценко, а лишь им скомпонованная, не вызвала большого энтузиазма. Но — опять же — «пристальное внимание» книга привлекла.

БЕШЕННЫЙ ОГУРЕЦ

Девятнадцатого ноября 1930 года в кабинете председателя ФОСП (Федерального объединения Союзов писателей) в Москве было собрано специальное совещание по поводу книги «Письма к писателю». Заодно решалась и судьба Зощенко. Снова — «проработка», очередная дурацкая попытка «исправить» гения, сделать его, как все... Но при этом чтобы он писал ярко!

Собрание вел М. Чумандрин, председатель ФОСП, хозяин кабинета.

Вопрос был поставлен по-большевистски, ребром: «Чей писатель — Михаил Зощенко?»

Как раз «чей писатель Зощенко» — мы хорошо знаем: наш! А вот кто это — Чумандрин? Чтобы представить ярче литературную ситуацию тех лет, стоит рассказать о нем несколько подробнее. Родился в 1905 году в Туле, в семье котельщика, рано осиротел, воспитывался в детском доме. Когда воспитатели дома с голоду разбежались, Михаил не растерялся, собрал «ячейку» из таких же сирот, как он, совсем еще пацанов, пришел с ними в местный исполком и чего-то добился, даже сумел что-то убедительно написать. Потом приехал в Ленинград, поступил на завод прессовщиком, одновременно стал, как это приветствовалось тогда, рабкором, писал в газеты — «о бюрократизме в службе тяги пути», «об отсутствии кипятильников в общежитии». Стал писателем, писал о революционных событиях в Туле. В 1928 году написал интересный роман «Фабрика Рабле» — о частной фабрике времен нэпа. В 1930 году сочинил роман «Бывший герой» — о борьбе с оппозицией, за что потом имел неприятности (как-то слишком уж хорошо знал оппозицию!). Был одним из активистов РАППа, потом, когда РАПП власти разгромили, энергично вклинился в ленинградскую литературную группу «Смена», куда входили замечательные поэты — Ольга Берггольц, Борис Корнилов, с которым у Чумандрина сразу же начались столкновения: Корнилов олицетворял вольницу, Чумандрин — партийную дисциплину. При этом, как ни странно, они все дружили. Чумандрин умел смягчить свои наскоки веселой шуткой. Характер имел неугомонный, за что получил кличку «бешеный огурец». Был инициатором возведения в Ленинграде так называемого «Дома счастья» — и он был построен! В нем, по замыслу Чумандрина, должны вместе жить «инженеры человеческих душ» и просто инженеры — общаться, духовно обогащаться... Так поначалу и было — все ходили друг

к другу в гости в любое время суток, двери не запирались. Потом начались коммунальные склоки, дом, построенный в стиле лаконичного конструктивизма, был устремлен весь в будущее, и поэтому в нем мало было так называемых бытовых удобств. В 1930-е годы многие из жильцов этого дома побывали в Большом доме, в ЧК, а потом и в тюрьме. Среди этих многих — поэт Ольга Берггольц, «муза Ленинграда»... После всего, что выпало на долю жильцов этого дома, он стал называться «Слезой социализма». Ольга Берггольц прожила тут свои последние горькие годы и, говорят, спускала с балкона на веревке корзинку с деньгами — чтобы алкаши положили в корзинку бутылку, — и они это делали. Сейчас этот серый, прямоугольный, конструктивистский дом на углу улицы Рубинштейна и Графского переулка стоит грустным памятником эпохе социализма. Большие конструктивистские окна, на суровую зиму не рассчитанные, местами прикрыты фанерой или заклеены газетой — слишком дует, малость не рассчитали... По мысли строителей дома, при социализме должна установиться вечная весна. Вообще конструктивистские серые дома, которых в Ленинграде возвели немало, дома несбывшихся надежд, смотрятся мрачно — в отличие от домов других стилей и эпох. Сейчас, что интересно, в скверике возле «Слезы социализма» собираются поставить памятник Сергею Довлатову, который жил совсем рядом и считается похожим, с его рассказами, на Зоценко.

Но вернемся к тому обсуждению. Чувствуется, что Чумандрин искренне хочет защитить Зоценко. Хотя делает это своеобразно... Чумандрин был знаменит тем, что не признавал классиков, поскольку они все дворяне, отрицал зарубежную литературу, поскольку там сплошные буржуи. Однако Зоценко он пытается защитить, как может. Порой его речь напоминает речь зоценковских персонажей:

«...Меня в данном докладе интересует лишь общественное лицо Зоценко как писателя, но все же нельзя не заметить, что Зоценко является исключительно сильным и талантливым писателем... Вот нас и интересует: каково же то знамя, под которым борется Зоценко?.. Зоценко совершенно беспощадно, с поразительной жестокостью, разоблачает мещанство, разоблачает с колоссальной к нему ненавистью».

Жестокость и ненависть, по понятиям докладчика, — главное достоинство! Чумандрин в целом одобряет его рассказы и повести, но указывает и на недостатки: «...нет указаний на то, откуда придет гибель мещанства». Известно откуда — от Чумандрина. Он продолжает:

«Меня в данном случае интересуют не столько его прославленные рассказы, сколько его повести и недавно вышедшая — плохо встреченная

книжка “Письма к писателю”. Эта примечательная книжка была встречена очень странно, благожелательно настроенная критика конфузливо отмалчивалась, а критика враждебная резко и вульгарно напала на эту книжку... Эта книга означает решительный перелом в нашу сторону! <...> Зоценко пишет во вступлении: “Это сознательные граждане, которые задумались о жизни, о своей судьбе, о деньгах и литературе... это целый ряд лиц, начиная от явных пройдох и мошенников, кончая прекраснодушными, 'гуманными' человечками и обывателями...”»

Эти «гуманные человечки», по Чумандрину, хуже всех!

«...Таким замечанием Зоценко резко отделяет себя от людей, проповедующих гуманность, в наше время беспощадной — очень часто кровавой борьбы за социализм!»

При слове «кровавой» присутствующим, наверное, пришлось встать и захлопать. В общем, моральный диапазон М. Чумандрина ясен. «Гуманизм» — дело последнее. Слово «кровавый» — нашенское, «доброе». Вопрос: стремился ли на самом деле Зоценко соответствовать людоедским восторгам Чумандрина? Однако главное литературное достоинство, а именно — ненависть, Чумандрин в книге находит и в целом книгу одобряет: «И вообще, приятно отметить яркую публицистичность этой книги Зоценко!»

Радовался ли Зоценко такой «защите»? Соответствовало ли это его замыслу? Вы, конечно, «благородно» воскликнете: «Да чтобы Зоценко... да такого не может быть!» Вас бы в то время! Это вы сейчас смелые. А как бы вы говорили в то время, когда взгляды Чумандрина разделяло (хотя бы на словах) абсолютное большинство. Зоценко понимал, что резко Чумандрину не возразишь. Тот свое дело знает! Чуть похвалил, и дальше — пугает:

«...для меня не случайным является тот факт, что Зоценко особенно охотно печатают за границей. Нет такого белогвардейского издания, где бы не печатали Зоценко... Например, Либединского, насколько я знаю, запрещено перепечатывать в Латвии, Польше и ряде других стран».

Это, по мнению оратора, признак подлинно пролетарской литературы!

«...Лишь некоторые произведения Слонимского перепечатывают за границей, не все вещи Фебина печатаются белой прессой. Однако Зоценко идет за границу целиком, оптом!»

Умело вбивает клин в отношения «серапионов», и без того непростые. Можно сказать, Слонимского и Фебина почти похвалил — не все их вещи печатают за границей, а вот Зоценко бдительность утратил!

Далее выступает Либединский, чьи вещи, как мы только что узнали,

вообще запрещены в Латвии и Польше — в устах Чумандрин это высший комплимент. Либединский продолжает мысль основного докладчика: «Зоценко особенно ценен тем, что является разоблачителем».

Куда же деться от таких комплиментов? На разоблачителей тогда был большой спрос — заговоры мерещились всюду.

Стенич, друг и поклонник Зоценко, в своем выступлении возмущенно говорит о том, что не только рапповцы, к коим прежде принадлежал Чумандрин, раньше не признавали Зоценко, но и высокомерные «попутчики» «замалчивали Зоценко из-за чистоплюйства»: мол, печатается в «Ревизоре» и «Бегемоте», дешевых журнальчиках... Но сам Зоценко говорил: «Если б я знал, что массовый читатель интересуется мною, я с удовольствием бы печатался на обертках конфет в миллионном тираже!..» «А вы, — обращается Стенич к Чумандрину, — восемь лет говорили о Зоценко как о писателе непристойном... и только “Письма к писателю”, где он точно и по-простецки высказывается, заставили вас опомниться!»

«Старый друг Зоценко», «серапион» Николай Тихонов, в своем выступлении поясняет: «...Отношение к нему, правда, было не особенно доброжелательным со стороны толстожурнальных... но все же факт, что Зоценко — невероятно читаемый автор. Нам говорят, что серапионы хотели снизить его значение как литератора — это неправда! Мы ему говорили, в определенные моменты, что он идет не по тому пути... Сейчас намечается новый творческий подъем у него — это “Письма к писателю”».

Можно сказать, что после долгих лет официального непризнания Зоценко начинают признавать «своим»... В заключительном слове Чумандрин снова суров: «Кто не хочет подчиниться и переработаться — тот будет уничтожен!»

Но не лишает и надежды: «Приближение Зоценко к рабочему классу будет зависеть от того, в какой мере быстро и решительно он будет отмежевываться от тех особенностей своего творчества, которые делают его не совсем четким писателем».

Этим «ласковым заседанием» дело не заканчивается — «проработка» продолжается...

РИСКОВАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Да — не зря беспокоился Чумандрин о слишком частых публикациях Зоценко в зарубежных изданиях! Нехорошие они, эти издания. Мы видим там не только произведения Зоценко, но заодно узнаем много нехорошего о жизни тех лет.

У меня в руках чудом сохранившаяся газета «Новое русское слово» от 15 июля 1931 года (Нью-Йорк, 2-я авеню). Каким «чудом» сохранилась она, вы уже, наверное, догадываетесь — благодаря коллекционеру А.А. Бессмертному. Но кроме Зоценко там еще есть что почитать. Эпоха встает перед нами!

«Из Вашингтона: Сильная жара, стоящая в западных и центральных штатах, не ослабевает, местами она достигает 110 градусов и нигде не опускается ниже 100!»

Может, кому-то хотелось бы, чтобы там было 100 градусов по Цельсию, но, очевидно, все-таки — по Реомюру (то есть на сорок градусов ниже), но все равно — жарко!

«Засуха повредила уже хлеба. За 5 дней в Соединенных Штатах умерло от жары 220 человек... В Нью-Йорке и в штатах Новой Англии благодаря сильному ветру жара не чувствовалась так сильно...»

«Таинственный “Мистер 3-х”, совершивший три убийства в Нью-Йорке и одно в Ньюарке, теперь появился в Питтсбурге. Начальник питтсбургской полиции Бойд получил из Нью-Йорка письмо, посланное в Нью-Йорк из Питтсбурга 23 июня сего года: “Ха-ха-ха! Моим собственным эффектным способом я удалил с этого света еще одну нежелательную. На очереди питтсбургская девушка в возрасте между 18 и 25 годами. Скажите питтсбургской полиции, пусть следят за мной и попытаются меня поймать!”».

«Биржа. Цены на бирже пали, число сделок уменьшилось до 2 500 000 акций!»

Как говорится — дальше некуда! Убийства, кризисы, забастовки!

«Кливленд. На шахтах Блейр Клерксон Конл Компании в Сент Клейрс-Вилле возобновили работы 600 шахтеров. Полагают, что возобновятся работы и на шахте Провидент. Всего в забастовке участвует 4000 шахтеров. Ее организовали коммунисты ввиду отказа компании вести переговоры с их Нешионал Майнерс Юнионом. Суд отдал приказ об аресте стражников Элм Гров Кол Компании за применение без надобности газовых бомб при

рассеянии пикетчиков».

Да — плохо дело! Видимо, дни капитализма сочтены. Но — поскольку газета предназначена для русских эмигрантов — немало корреспонденции о жизни в Советской России, и это, пожалуй, для нас самое важное.

«Полярная экспедиция на “Малыгине”

Москва. Ледокол “Малыгин” заканчивает в настоящее время ремонт перед отправлением в полярную экспедицию на Землю Франца-Иосифа. Он отойдет из Архангельска 15 июля, посетит Землю Франца-Иосифа и оттуда пройдет в Карское море. На обратном пути он встретится в полярном районе с “Графом Цепелином”. “Малыгин” берет с собой письма со специально отпечатанными марками. Письма будут переданы на “Граф Цепелин” (гигантский аэростат) и доставлены им обратно в Европу. Плата за поездку установлена в 2000 долларов (для корреспондентов 1000 долларов). Руководит экспедицией проф. Визе».

Приводятся сведения, которые были известны, наверное, тогда и в Москве — но мы в наше время можем их уже и не помнить:

«Смещены ряд высших чинов в Красной Армии. В числе других — уволены в отставку командующий советским флотом Ромуальд Муклевич и начальник гражданской авиации Петр Баранов. На место первого назначен 36-летний Владимир Орлов, командующий Черноморским красным флотом, на место Баранова — 34-летний Яков Алкснит-Астров».

А вот сведения, которые в Москве вряд ли опубликованы:

«...В осведомленных кругах сообщают, что, несмотря на ударные кампании, урожай этого года в СССР меньше, чем в 1930 г. Из 82 миллионов акров погибло 7,5 миллионов акров посевов, посеянных слишком поздно».

Дальше — для нас, знающих историю по советским учебникам, — сообщение совсем неожиданное:

«В Новороссийске, в связи с недавними демонстративными выступлениями рабочих, постоянными нападениями в городе на представителей партии и власти, буйствами и беспорядками, устраиваемыми матросами госпароходства и грузчиками, которые бастуют по каждому незначительному поводу, усилены местные части войск ГПУ новым отрядом и запрещены в городе появления на улице толпой, в порту запрещены любые сборища».

Оказывается — и внешние дела у СССР весьма напряженные:

«Сенатор Кинг против введения эмбарго на советские товары. Сторонник торговли с СССР член финансовой комиссии демократ сенатор Кинг, ездивший дважды в СССР, заявил, что он будет требовать вмешательства Конгресса для недопущения введения эмбарго на советские товары, как этого требует министерство финансов с 1 января. Эмбарго это — полнейший абсурд, — заявил он, — нельзя возлагать такие кары на целый народ. Он заявил, что предложит в Конгрессе избрать комиссию для обследования советско-американских взаимоотношений. Конгресс сможет в декабре задержать осуществление планов министерства финансов. Кинг заявил далее, что предложение Хувера о моратории помогает большевикам. Германия и другие страны смогут закупать сырье, которое СССР будет вывозить в усиленном масштабе. Глава советского информационного агентства в Вашингтоне Борис Сквирский заявил, что ввиду многочисленных препятствий торговля СССР с Соединенными Штатами сильно падает».

Но еще страшнее другое... Письмо из Москвы: «...Положение наше здесь с каждым днем и во всех решительно отношениях и сторонах жизни все более ухудшается. Что было сносно еще более или менее месяца назад, теперь стало вовсе невозможно. Питаемся без жиров, по-свински, не имеем ни обуви, ни одежды, ни белья — в продаже этого добра нет, приобретается все это (самого, конечно, плохого качества) с большим трудом и только по ордерам и только рабочим. Если попадетс я что-нибудь в вольной продаже, то стоит безумно дорого. Например, стакан молока 20–25 копеек, яйцо 30–35 копеек за штуку, масло коровье — до 10 рублей за фунт, а растительное — до 8 рублей за фунт. Говядина 2 рубля за фунт, курица — до 25 рублей. Самые паршивые сапоги стоят 150 рублей, починить обувь — подметки 15 рублей. Жить тяжело, задыхаемся, особенно же исключительно тяжело мне. Ибо я с женой никаких карточек и ордеров не имею, живем вне Москвы, платим за стены 55 рублей в месяц, донашиваем свою прежнюю одежду и обувь, нередко сидим голодные, глубоко скорбим и горько подчас плачем. Я оставлен здесь на окончательную погибель, на бесконечные и нестерпимые муки. Прощай! Должно быть, мы с тобой больше не увидимся, ибо при этих убийственных условиях я больше не проживу».

Существование людей в Советской России тяжелое, как при всякой исторической пертурбации. Но большевики, конечно же, гнут свое — все беды из-за вредителей:

«В г. Алачаевске около Луганска на заводе им. Ворошилова раскрыта, по сообщению чекистов, крупная организация вредителей, состоящая из рабочих — литейщиков, инструментальщиков, прокатчиков, кузнецов и

модельщиков».

Надо же, — напрашивается реплика, — какими, оказывается, пролетарскими профессиями овладели вредители!

«Организация действовала в течение 8 месяцев и принесла огромные убытки заводу. В числе арестованных 39 вредителей находятся три партийца из цеховых комячеек, один партиец, входящий в бюро заводского парткома, шесть комсомольцев и 29 беспартийных, у вредителей при обыске найдена зарубежная белогвардейская литература, вплоть до соглашательского толка и даже особо важная переписка в копиях между Бюро ЦК ВКП(б) и Бюро ЦК УКН».

Эта переписка двух ЦК компартии — Всесоюзного и Украинского — и оказалась, видать, самой вредительской! Да — враг не дремлет. И внутри, и снаружи! Вот еще заголовки:

**«ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФИНЛЯНДИЕЙ И СССР ОБОСТРЯЮТСЯ.
ФРАНЦИЯ ТРЕБУЕТ ОТ ГЕРМАНИИ ВВЕДЕНИЯ ЭМБАРГО
ПРОТИВ СССР».**

И в такой напряженный для советской власти момент (а не напряженных вообще-то и не бывает) Зоценко публикует во враждебном органе печати, в Нью-Йорке, «веселенький рассказик» «Доктор медицины». О чем? Как чуть не арестовали на вокзале заслуженного доктора, борющегося с эпидемией, случайно приняв его за мешочника. У Зоценко — веселый конец: «Прямо, говорят, мы и сами не рады, что вас схватили... вскоре после этого поезд тронулся».

Все, однако, прекрасно понимают — у нас если арестовывают, то редко отпускают, и вряд ли доктор-мешочник отделался так легко! Умные люди понимают Зоценко так, как надо! И власти — тоже, хотя и по-своему: такие публикации вряд ли радуют их.

САМ СЕБЕ ДОКТОР

В 1933 году к Зоценко обратился П. Лавут — как сейчас бы сказали, продюсер, организовавший широкие выступления Есенина, Маяковского (Маяковский в стихах даже упоминает его). Зоценко не любит публичности, меланхолия его с каждым годом усиливается. Однако он пытается побороть себя и соглашается на предложение Лавута. Они совершают большую гастрольную поездку по маршруту Харьков — Ростов — Баку — Тифлис — Минеральные Воды — Пятигорск — Кисловодск. Выступления проходят в переполненных залах, но тут открывается еще одна драма Зоценко — широкий слушатель не принимает его серьезных вещей: «Что ерунду читаешь?! “Аристократку” давай!»

А Зоценко — уже не до веселья. Здоровье его с каждым годом ухудшается, хандра почти не покидает его. Еще в начале 1926 года он вдруг чувствует резкое ухудшение здоровья, лечится в санатории в Царском Селе (или, как оно уже именуется в те годы, — Детском Селе имени М. Урицкого). В санатории он увлеченно читает книгу М. Марциновского «Борьба за здоровые нервы». Тема здоровья, в том числе и психического, все больше увлекает его. В сентябре 1926-го он едет в Ялту, тратит массу времени на консультации у местного психотерапевта. В этом году издается и переиздается множество его книг! Но это почему-то уже не радует его.

В апреле 1927 года он едет с семьей в Ялту, оттуда на пароходе «Ильич» — на Кавказ, но вдруг, почувствовав себя крайне плохо, сходит в Туапсе на берег, расстается с семьей, едет в Сочи, оттуда в Москву — словно пытается убежать от самого себя, от постоянной хандры и страданий.

В сентябре 1927-го — впервые за все время его работы — конфискуется номер журнала «Бегемот» из-за «вредного рассказа» Зоценко «Неприятная история», что еще больше повергает его в тоску. И все больше он пытается убедить себя в том, что причины его страданий — медицинские, читает массу научных книг и, как ему кажется, находит «спасение»... Весь 1932 год он кропотливо собирает материалы для повести «Возвращенная молодость», изучает книги по физиологии, психоанализу, медицине, подробно знакомится с учениями З. Фрейда и И. Павлова. Начинается так называемый «научный цикл» творчества Зоценко. Он вступает в отношения с многими корифеями науки того времени, они активно интересуются его мыслями — или, может, уважая писателя,

делают вид, что медицинские темы в творчестве Зощенко крайне интересны. Нобелевский лауреат, великий физиолог Иван Петрович Павлов даже приглашает его на свои «научные среды».

Зощенко теперь уже свысока относится к старым своим «рассказикам», считает, что гораздо важнее то, что он пишет сейчас.

В июне 1933 года в журнале «Звезда» начинается публикация его повести «Возвращенная молодость» — и в декабре выходит отдельной книгой. И снова делает совсем не то, что «советовали» ему критики, что видел в своих «пролетарских снах» М. Чумандрин. Появление этой книги Зощенко поясняет так: «Автор встретил одного человека, который до некоторой степени открыл секрет своей молодости. Нет, это не был, вероятно, тот секрет, которым владели великие люди. Но все же это был секрет, благодаря которому человек после целого ряда неудач и даже катастроф возвратил свою утраченную молодость».

Зощенко все больше угнетают приступы хандры, боязнь смерти, порой у него возникает страх перед глотанием — боится задохнуться. Но, как истинный писатель, он считает своим долгом проанализировать все, что с ним происходит, и тем самым помочь не только себе, но и облегчить страдания людей. Похоже — еще ни к одной своей книге он не относился с такой страстью. Книга выходит с большими цензурными поправками. Зощенко, преодолев свою обычную замкнутость, жалуется Горькому — и тот пишет письмо в Главлит с просьбой отозвать цензурные замечания к повести.

В том же году выходит эмигрантское издание книги (Рига: Граматница). Без купюр!

Книга вызывает бурную полемику, отчасти это происходит из-за активности самого Зощенко. Никогда не любивший людных сборищ, теперь он принимает в них самое активное участие — поскольку они касаются его книги, которая ему кажется самой главной.

Двадцать первого марта 1934 года он участвует в диспуте о «Возвращенной молодости» в Доме ученых. На обсуждении некоторые ученые говорили о том, что повесть Зощенко есть настоящий квалифицированный научный труд.

Тринадцатого апреля он участвует в диспуте о повести в Институте охраны здоровья детей и подростков.

Шестого апреля в «Литературной газете» опубликована статья наркома здравоохранения Н. Семашко «Можно ли вернуть молодость?». Повесть вызывает интерес на самом высоком уровне. 10 мая происходит обсуждение повести «Возвращенная молодость» на собрании президиума

Оргкомитета Ленинградского отделения Союза писателей СССР. Просто так подобные обсуждения не возникают. Каверин, самый, пожалуй, преданный Зощенко «серапион», председатель того собрания, пользуясь своим положением, во вступительном слове говорит, что книга эта очень важна, поскольку она наметила новый жанр в литературе.

Книга получает много отзывов. Вот один из них:

«Фельдшер, член ВКП(б).

Нужно сказать, что, несмотря на огромную ценность книги “Возвращенная молодость”, критика до сих пор не отозвалась на нее как следует... ибо книга очень полезная и как раз актуальна на сегодняшний день... Это хорошая книга, она лечит людей от хандры, надо сказать спасибо М. Зощенко».

Появляется серьезная статья одного из самых преданных Зощенко критиков, Цезаря Вольпе «О “Возвращенной молодости” Мих. Зощенко» (Звезда. 1934. № 8). Вот отрывок из этой статьи:

«...Тот читатель, который привык читать Зощенко как комического писателя, открыв “Возвращенную молодость” и прочтя несколько первых глав и комментариев, вдруг ощущает, что он, пожалуй, смеялся в кредит напрасно. Серьезный и искренний голос автора с первых же страниц овладевает читательским вниманием. И читатель со вниманием всматривается, вглядывается в новое, незнакомое лицо известного ему писателя. <...> Автор “Возвращенной молодости” — человек очень грустный и больной. Который очень устал жить, которому тяжело прежде всего от самого себя. Автор цитирует Сенеку:

“О, Люцилий, чему ты дивишься, что путешествия тебе не помогли. Ведь ты повсюду за собой возил себя самого”.

В “Возвращенной молодости” Зощенко показывает нам “автора” человеком, который тяготится своей постоянной меланхолией и который много думает о том, как вернуть вкус к жизни... “В течение многих лет в меня стреляли из ружей, пулеметов и пушек. Меня травили газами. Кормили овсом. И я забыл то время, когда я лежал на траве, беспечно наблюдая за полетом птичек...” “Возвращенная молодость” открывает читателю автора так глубоко, как ни одно из его произведений. За комическим автором стоит подлинный автор.

“Эту книгу, — пишет Зощенко, — я написал в назидание себе и людям... Мне попросту захотелось быть полезным в той борьбе, которую ведет наша страна за социализм. Я всегда удивлялся крайнему непониманию людей и крайнему незнанию самых элементарных правил руководства своим телом”».

Вообще физическому развитию, физкультуре, здоровью уделяли тогда в СССР много внимания. Первые фотографии моих родителей — пока еще не знакомых друг с другом: оба веселые, спортивные, в майках и трусах, сияющие, после каких-то соревнований. Помню, еще и в моей молодости нужно было сдавать спортивные зачеты и обязательно зарабатывать спортивные значки — сначала БГТО («Будь готов к труду и обороне»), а потом обязательно — ГТО («Готов к труду и обороне»). Как написано в бодром стихотворении Сергея Михалкова той поры: «Знак ГТО на груди у него. Больше не знаем о нем ничего...» Но действительно ли книга Зоценко посвящена здоровью, «возвращенной молодости»? Вряд ли вообще большой писатель когда-либо что-то напишет «на заданную тему». Все научные мысли содержатся в основном в отступлениях и комментариях — а сама повесть похожа скорее на его «Сентиментальные повести». Хотя книга Зоценко вроде бы совсем новая — по интонации она все равно зоценковская. Вот как изображен главный герой повести, профессор Волосатое (Зоценко придумывает ему фамилию явно не без издевки):

«Он был в душе горячим и пламенным революционером, пока не пришла революция. И он мечтал о равенстве и братстве, пока не наступило социальное переустройство».

И как же он «вернул молодость»?.. Как-то странно. Рецензент Ц. Вольпе от имени «иронического читателя» ставит диагноз: «Зоценко, — полагает этот иронический читатель, — не мог всерьез вступить на путь столь откровенной и элементарной дидактики. Комментарии — это издевательство над тем человеком, который бы мог так писать всерьез». Рецепт «Возвращенной молодости», изложенный фирменным зоценковским языком, вызывает сомнения и порой издевательский смех. Ц. Вольпе от лица того же «иронического читателя» насмешливо спрашивает: «Что же — я должен пуститься в марьяжное путешествие с некой Тулей, с которой, видимо, не совсем по силам вел жизнь молодого человека... а потом, получив от амурной эскапады удар, заняться беганием на коньках? Действительно, что называется, гора родила мышь!.. Писателю не удалось органически соединить научный материал с повестью». К такому выводу приходит Ц. Вольпе.

Пожалуй, тут получилось так: Зоценко прежний, насмешливый, боролся с Зоценко новым, просветительски-дидактическим, и Зоценко прежний победил.

Согласился бы с таким определением сам Зоценко? Да ни за что! Он считал, что его новая, дидактически-поучительная, позиция гораздо важнее прежнего «зубоскальства»... Такое порой случается с гениями. Нечто

подобное случилось и с Гоголем. В его итоговом сборнике, составленном им самим, нравственно-дидактические вещи стоят в самом начале, оттесняя его замечательные шедевры, которые мы все обожаем. «Поучительством» закончил и Лев Толстой, и тоже считал это самым важным. Такая «творческая полоса» наступила и у Зощенко.

Ц. Вольпе заканчивает свою рецензию так: «...двойное видение темы в одном и том же произведении и выражает то неустойчивое равновесие, к которому пришла творческая система Зощенко на путях самоопределения... Эта противоречивость вещи и является показателем больших жанровых исканий, предопределяющих пути жанрового новаторства».

... А кто сказал, что писать легко?

ПЕРЕКОВКА

Ясное дело — писателями надо было руководить. И усилия, надо сказать, к этому прилагались немалые. В конце августа 1933 года Зощенко с группой писателей приглашают проехаться на пароходе по Беломорско-Балтийскому каналу, только что в ударные сроки построенному заключенными. Видимо, Зощенко соглашался на это с непростыми чувствами. Возможно, он связывал с этой поездкой какие-то надежды... Новые сюжеты? Более теплые отношения властей к нему? Раз приглашают, причем вместе с самыми лучшими писателями, значит, все-таки ценят и уважают? В самом деле, собрали весь цвет новой, советской, литературы — А. Толстой, В. Катаев, Вс. Иванов, Вера Инбер, В. Шкловский, Бруно Ясенский и много других, и никто не смог отказаться. Во главе экспедиции были два литературных начальника: руководитель Российской ассоциации пролетарских писателей Леопольд Авербах и — Максим Горький.

Обставлено все было солидно. По свидетельствам очевидцев, всех собрали в Ленинграде, в роскошной гостинице «Европейская». И три дня, пока собрались все, отменно кормили и поили. Кого-то, может быть, даже и в бессознательном состоянии погрузили на пароход, и он, очнувшись, поразился: «...Да! Суровые берега!» Плыли по Неве, по Ладожскому озеру, по Свири, потом по Онежскому и вошли в Беломорско-Балтийский канал.

Результатом этой поездки стала выпущенная в двух вариантах (обычном и роскошном) книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931–34 годы. Под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина».

Открываем том. Впечатление сильное. Да, Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, безусловно, одно из наиболее могучих деяний советской власти — в инженерном плане, в плане экономическом и, разумеется, идеологическом. Некоторые из нас еще хорошо помнят папиросы «Беломор» с изображением схемы канала на мятой пачке... То были самые популярные папиросы большей части населения СССР, многих поколений трудящихся, и таким образом слово «Беломор» входило в наше сознание как что-то хорошее — курили тогда почти все, начиная с подростков.

Как написано в одном из комментариев к этой книге: «...Даже популярное слово “бычок” произошло отсюда. Говорили: “Дай Б-ка” — в смысле беломорину... а окурки называли “бычок”».

Строительство канала весьма активно освещалось всеми газетами, радио... Тогда власть отдавала пропаганде значительно больше сил, чем сейчас. И вот — по каналу плывут лучшие писатели. Их долг — создать не просто книгу, а эпос... ведь только эпос остается в веках! Из своего детства — помню богато изданный карельский эпос «Калевала». А книга о Беломорканале — эпос советский. Читаем:

«ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВСЕГО АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА, РАБОТАВШЕГО ПО ЗАДАНИЮ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ “ИСТОРИИ ФАБРИК И ЗАВОДОВ” НАД КНИГОЙ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА им. СТАЛИНА,

ЭТА КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ

XVII СЪЕЗДУ

ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ.

ЭТОЙ КНИГОЙ ОРГКОМИТЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РАПОРТУЕТ XVII СЪЕЗДУ ПАРТИИ О ГОТОВНОСТИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СЛУЖИТЬ ДЕЛУ БОЛЬШЕВИЗМА И БОРОТЬСЯ СВОИМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЗА УЧЕНИЕ ЛЕНИНА-СТАЛИНА, ЗА СОЗДАНИЕ БЕСКЛАССОВОГО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР».

Метод работы над книгой представлен в ней так:

«За текст книги отвечают все авторы. Они помогали друг другу, дополняли друг друга, правили друг друга. Поэтому указание индивидуального авторства было нередко затруднительным. Мы указываем здесь авторов основных частей, вошедших в ту или иную главу, еще раз напоминая, что действительным автором всей книги является полный состав работавших над историей Беломорско-Балтийского канала имени Сталина:

Л. Авербах, Б. Агапов, С. Алымов, А. Берзинь, С. Буданцев, С. Булатов, Е. Габрилович, Н. Гарнич, Г. Гаузнер, С. Гехт, К. Горбунов, М. Горький, С. Диковский, Н. Дмитриев, К. Зелинский, М. Зощенко, Вс. Иванов, Вера Инбер, В. Катаев, М. Козаков, Г. Корабельников, Б. Лапин, А. Лебеденко, Д. Мирский, Л. Никулин, В. Перцов, Я. Рыкачев, Л. Славин, А. Тихонов, А. Толстой, К. Финн, З. Хацревин, В. Шкловский, А. Эрлих, Н. Юргин, Бруно Ясенский».

Тема политическая задается в книге сразу, четко и строго:

«История строительства Беломорско-Балтийского канала им. Сталина, осуществленного по инициативе тов. Сталина под руководством ОГПУ,

силами бывших врагов пролетариата. Яркие примеры исправительно-трудовой политики советской власти, перековывающей тысячи социальноопасных людей в сознательных строителей социализма. Героическая победа коллективно организованной энергии людей над стихиями суровой природы севера, осуществление грандиозного гидротехнического сооружения. Типы руководителей стройки — чекистов... По идее Сталина руководство строительством канала было поручено ГПУ».

Идея действительно гениальная. В 1932 году у власти были большие проблемы — пришел срок возвращения иностранных займов, взятых на индустриализацию. Так что на новую технику рассчитывать не приходилось... «Так построим Беломор практически вручную — и тем самым еще раз докажем миру, что наш труд — самый самоотверженный». У нас умеют выдавать плохое — за хорошее, мучительные усилия людей по выживанию — за героический подвиг! И масштабы действительно поражают.

В главе, написанной начальником ГПУ Г.Г. Ягодой, сообщается, в частности:

«...Канал прорежет Карелию от Онежского озера до Белого моря. Глухой и дикий край заживет культурно и богато. При царизме Карельский край пребывал в полной заброшенности. Богатства этого края велики. Карельская древесина — ель, сосна и береза — первоклассна. Около Карелии огромные залежи апатита. Энергия водопадов тысячи лет растрачивалась бесплодно. Есть в Карелии железо, медь и даже золото — на озере Выг. Карельский гранит — замечательный материал для построек. До сих пор все эти богатства лежали не только неиспользованными, но даже и неизведанными. Карелия была и будет верным форпостом Союза советских республик на границе с фашистской Финляндией. Беломорский канал, поднимая хозяйственную мощь Карелии, укрепляет и ее обороноспособность».

Канал был проложен через скалы, топи полуголодными и бесправными людьми всего за 20 месяцев. Экономический успех очевиден — путь в северные моря из центра страны по времени вместо прежних двадцати дней составил теперь четыре! Но главное, что предлагалось воспеть писателям (и они воспели), — это перековка людей под руководством ГПУ (это название — Государственное политическое управление — сменило прежнюю аббревиатуру — Ч К). Правильное направление задал младшим писателям «старейшина цеха», великий Горький, незадолго до этого посетивший Соловецкий лагерь особого

назначения и увидевший там только то, что полагалось увидеть, и отозвавшийся о работе чекистов вполне восторженно. Надо признать, что «представление» и на Соловках, и на Беломоре было поставлено весьма масштабно и умело — и из воспитателей-чекистов, и из числа «перевоспитавшихся» писателям были представлены люди весьма колоритные. Большинство глав «Большой книги» было написано сразу несколькими писателями и никем не подписано, так что авторство установить трудно — но работа сделана весьма добротна. Вот, скажем, «портрет маслом» одного из главных «перевоспитателей», М.Д. Бермана, начальника лагерей ОГПУ. Еще в ранней молодости он попросился в Ч.К. Его сразу же поставили к стенке и выстрелили в стенку рядом с его головой. Это он вынес, не дрогнув, и ему сказали: «Вроде годишься». Теперь, как следует из описания, он сам работает в суровых условиях вместе с заключенными, показывая пример самоотверженного труда. А вот портреты «перековавшихся»:

«Самозащита инженера Маслова»

Вот он — инженер первых дней Беломорстроя. Он еще ничего не забыл и ничему пока не научился. Наука еще впереди. Сейчас он в Особом конструкторском бюро составляет эскизный проект для новой фантастической затеи большевиков: для Беломорско-Балтийского канала.

Сорокалетний инженер Маслов — спокойный, корректный, подчеркнуто опрятный, уважающий себя человек. Маслов — крупный специалист, профессор, питомец европейской инженерии. В условиях лагерного заключения он, что называется, в полной мере соблюл себя. Но ему этого мало. Ему надо, чтобы об этом знали все окружающие. Вот для чего выбрасывает он каждое утро опознавательные свои знаки: идеально-белый воротничок и бритые щеки. Инженер Маслов решил быть на Беломорстрое олицетворением вынужденной лояльности в виде бритого джентльмена в потертом костюме и чистом воротничке. Что можно возразить против этого? Он сразу же правильно был понят, и деловые взаимоотношения установились быстро и безболезненно: с чекистами и с товарищами...

<...> Проф. В.Н. Маслов, бывший вредитель. Работал над проектом канала, изобрел способ постройки деревянных шлюзовых ворот. Награжден орденом Трудового Красного Знамени».

Само плавание писательского парохода охарактеризовано так: «В свое

путешествие по только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу лучшие советские литераторы отправились в качестве желанных и почетных гостей, тогда как роль хозяев, радушных, скромных и тактичных, взяли на себя чекисты».

По словам участника того плавания, Льва Никулина, каторжные «читательские массы» из всего множества писателей на пароходе знали и любили только Зощенко. Огромные толпы в серых одеждах стояли по берегам канала и иступленно орали: «Зощенку! Зощенку!» А Зощенко лежал в своей каюте великолепно одетый, в костюме и галстукe, словно для выхода, но, несмотря на все уговоры, на палубу не выходил. Что так угнетало его? Фальшивость всей этой поездки, которая к тому же вряд ли поможет ему хоть в чем-то? Или, может, раздражали его слишком буйные читатели, желающие даже тут, на каторге, «поржать» как следует?.. А он теперь ненавидел это больше всего.

Зощенко, согласившись на это плавание, обязан был внести свою лепту в «главную книгу». Единственное, что ему удалось выторговать, — что его материал будет напечатан в книге не анонимно (не в общем «вдохновенном труде»), а персонально, под его фамилией. На что он тут уповал? Что улучшит наконец свои отношения с властью? Или, может быть, именно в «местах лишения» поймает какой-то новый материал, новое дыхание? Писатели всегда надеются на это... Вдохновения он поначалу не испытывал. Но он хорошо понимал, что с такого «шикарного спектакля» ему не удастся ускользнуть, ничего не написав. Как говорится — куда ж ты денешься с подводной лодки? Зощенко, по его словам, «вдохновение посетило» во время митинга трудящихся Беломорканала, когда из каюты он все-таки вышел. Герой его очерка — Роттенберг, крупнейший международный аферист, «фармазон». Умение убеждать окружающих в искренности намерений, в неоспоримой пользе того, что они делают, — это основа их профессии. И Зощенко, «купившись» (или тоже «войдя в роль»), пишет свою главу в эту книгу — как обычно, от имени «персонажа». Но в начале дает свое разъяснительное вступление. Зощенко часто прибегал к такому приему, пытаясь объясниться, оправдаться... Вот его глава:

«История одной перековки»

...Я скептически относился к вопросу перевоспитания. Я полагал, что эта знаменитая перековка людей возникла на единственном и основном мотиве — на желании выслужиться, на желании получить волю, блага и

льготы... А если эта перековка сделала бы из всех правонарушителей идеальных людей — перо сатирика заржавело бы от бездействия».

Но далее, продемонстрировав свою «непредвзятость», Зоценко «приступает к работе». Он рассказывает, как на одном из митингов на Беломорканале услышал и увидел нечто поразительное:

«...И вот среди этих удивительных ораторов и докладчиков выступил человек лет сорока, с темным обветренным лицом, высокий, крепкий, несколько лысый, и, как мне показалось, необычно мужественный и энергичный. Этот человек был известный международный вор, фармазон и авантюрист, ныне заслуживший почетный значок за свою отличную и даже героическую работу на строительстве. Этот человек за несколько месяцев до своего выхода написал свою биографию (удивительное совпадение — прямо как раз для Зоценко! — В. П.) ...Я “причесал” эту книгу. Но сделал это как бы рукой самого автора».

В руки Зоценко действительно попал интересный материал. Герой, несомненно, человек преступный, но яркий (в предисловии Зоценко сравнивает его автобиографию со знаменитыми мемуарами итальянского скульптора, ювелира, писателя XVI века «Жизнь Бенвенуто Челлини»). Зоценко подправляет биографию явно не без интереса. И даже пишет от имени персонажа своим любимым «слогодом»:

«Я живу в Тифлисе. И живет в Тифлисе одна такая дама, я вижу, весьма интеллигентная и культурная. И она занимается проституцией».

После долгих международных приключений и афер, красивых любовных историй, разнообразных тюрем и чудесных из них освобождений герой вынужденно возвращается в Россию и, продолжая свою «веселую жизнь», оказывается на Беломорканале... И вот тут-то и начинаются главные чудеса! Сначала Роггенберг, как «правильный вор в законе», не хотел работать — тем более что надо было долбить скалу. Но потом начальник Сапронов угостил его чаем, папиросами, и Роггенберг сообщает: «...на другой день, скорее, из симпатии к нему, я выбил 87 процентов!» Потом начальник сказал ему: «По-моему, ты наш, социально близкий» — то есть уголовник, а не политический. И наш герой на радостях сделал уже 140 процентов плана! Свое рвение Роггенберг объясняет так: «...совесть меня убивала». И вскоре он уже выдавал 150 процентов! Начальники приходили на его участок и говорили: «Мы на тебя пришли полюбоваться!» В общем, предприимчивый Роггенберг сумел и тут «провернуть дельце»: «И тогда нам стали отпускать в ларьке все, что нужно, и мне выписали хорошую одежду и сапоги».

Увы, большинство строителей Беломорканала не имели «все, что

нужно» и работали отнюдь не в жарком климате рваными и босыми. Безусловно, «чуткие» руководители строительства имели свои рычаги управления производительностью труда. Главный рычаг — это так называемая «котловка», то есть «норма кормления» зависела от выработки. И «котла» хватало только «своим». Роттенберг «вписался». И даже неплохо все сочинил: не так, конечно, убедительно, как Бенвенуто Челлини, но все же... Далее, по словам Роттенберга, он поднимает на трудовые подвиги целый барак блатных (которым, как известно, их «устав» запрещает работать). Верит ли в это Зоценко? Наверное, ему хочется в это верить... Не врать же он приехал сюда? В заключение своего очерка он написал (можно только гадать — с какой степенью искренности): «Вот за новую жизнь этого человека я бы поручился. Но я оговорюсь: я бы поручился только при наших, не капиталистических условиях».

Зоценко сделал то, что требовалось от него. Вот она, «перековка»! Правдива ли эта история? Не зря ли Зоценко «поручился»? Люди, знакомые с блатными ближе, тот же Варлам Шаламов, пишут, что никогда настоящий блатной не пойдет на сотрудничество с властью, возможна только «разводка», то есть обман. А кто на самом деле «ссучился» — тому конец. Помню блатную песню, которую пел в вагоне мурманского поезда один недавно «откинувшийся с зоны» о том, как Маруся поехала проведать своего «Кольку-ширмача» на Беломорканале. И вот видит его: «...под мышкой держит какие-то бумаги, а на груди — ударника значок». Но заканчивалась эта песня довольно мрачно: «...и как-то утром, зорькою бубновой, не стало больше Кольки-ширмача!» Конечно, способных строителей и организаторов чекисты выделяли и даже прикармливали, но в искреннюю перековку такого вора, да еще со стажем, как герой этой истории, не очень-то верится. Не очень верится и в доброту и скромность надсмотрщиков, которые, по словам одного «раскаявшегося» бандита на митинге: «По утрам с нами одним снегом умываются!» Может, конечно, пару раз и умылись. В их доброту и скромность верил — или трогательно это изображал — только Максим Горький, который то и дело упрекал чекистов лишь в одном недостатке — «болезненной скромности», из-за которой якобы маловато в книге рассказано чекистами о их заслугах в «перековке». Впрочем, это дело подправил сам Горький, который на прощальном митинге, стирая слезы с усов, растроганно воскликнул: «Черти драповые! Вы сами не знаете, что сделали!» Чекисты скромно улыбнулись.

Разделял ли чувства своего учителя Михаил Зоценко? Надеялся ли все еще, что поездка даст ему новый, спасительный материал? Или пребывал в

уже привычном для него предчувствии катастрофы, смутно догадываясь, что и вся эта одиссея хорошим не кончится?

Мрачные предчувствия Михаила Михайловича и здесь (как и вообще по жизни) не обманули. Ничего хорошего из этой поездки не вышло. Всех главных чекистов, этих «чертей драповых», как ласково обозвал их Горький, так скромно и чутко перековавших «каналармейцев» (строителей канала) — всех этих «воспитателей» вместе с их начальником Генрихом Ягодой вскоре арестовали и многих расстреляли. Красочный том «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» с портретами чекистов — врагов народа был запрещен, изъят и уничтожен (сохранились лишь единичные экземпляры). И главное, бережно обработанная Зощенко «История перековки» оказалась, увы, фальшивой. В послесловии, написанном кем-то из «воспитателей», сообщалось, что герой «перековки» Роттенберг (в действительности, как позже выяснилось, Ройтенберг) был досрочно освобожден и, не в силах удержать свою созидательную энергию, уже свободным гражданином отправился на строительство канала Волга — Москва. Но дотошные исследователи нашей неоднозначной истории сумели установить, что этот энергичный и предприимчивый герой пошел добровольцем в армию в 1941 году и в 1942-м «пропал без вести». Причем оформлен в армию он был, как ни странно, военным комиссариатом Нижнего Тагила. Оказалось, что для строительства металлургического комбината-гиганта в Нижнем Тагиле привезли со строительства канала Москва — Волга большую партию заключенных. Выходит, герой «перековки» так свободы и не увидел. «Век свободы не видать!» — как порой клянутся люди его профессии, которые никогда на самом деле не «перековываются». Все это, очевидно, смутно предчувствовал Михаил Зощенко во время плавания, поэтому и не хотел подниматься на палубу.

Вряд ли герой его «перековался»... «Перековался» ли Зощенко?

ВЕЛИЧИЕ СЪЕЗДА

Советская власть не жалела сил для создания новой литературы — «правильная оценка» всего происходящего была ей совершенно необходима. И — после большой «воспитательной» поездки писателей по Беломорканалу — следующим, еще более грандиозным событием в истории литературы и страны стал 1-й Всесоюзный съезд советских писателей.

Съезд готовился долго и тщательно. Своим диктаторским, если не сказать хамским, стилем «управления писателями» Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) оттолкнула большинство писателей, настроила их, скорее, оппозиционно, и это нужно было исправить. Еще до съезда, постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» РАПП была распущена. В этом же постановлении сообщалось о принятом решении: созыве Всесоюзного съезда писателей и учреждении единой организации — Союза писателей СССР. И началась подготовка к съезду. Все, что писатели на съезде должны были одобрить, конечно, тщательно готовилось заранее.

Главным «штабом» подготовки был дом, где поселили Горького после возвращения из Италии. Это был великолепный особняк миллионера Степана Рябушинского в стиле модерн в Москве, на Малой Никитской улице. Горький не очень был рад этой роскоши (отвлекала и даже утомляла) — но роль «главного писателя», которую ему отвели и которую он принял, обязывала. Сюда «на огонек» «непринужденно» заходили Сталин, Ворошилов и другие, помельче, среди которых самым «близким другом дома» оказался глава чекистов Генрих Ягода. «Покровительство» Ягоды зашло довольно далеко. По некоторым источникам, чтобы стать совсем уж «своим» в доме, он сделался, притом почти открыто, любовником жены сына Горького — Надежды, которую все звали Тимоша, и якобы часто во время «семейных обедов» Ягода и Тимоша обменивались вполне «откровенными» взглядами. По другим свидетельствам — например Натальи Крандиевской, супруги Алексея Толстого, — Тимоша жаловалась ей на домогания главного чекиста страны и всячески их избегала. Но то, что Ягода был частым гостем в доме, это факт — и основная его задача в этом и была: держать ситуацию в доме под контролем.

Часто бывал здесь и назначенный председателем Оргкомитета съезда Иван Гронский, редактор «Нового мира». Он потом вспоминал, как, мечтая

о будущем, в один из «задушевных» вечеров предложил Сталину название литературного направления, по которому после съезда должны следовать писатели — «коммунистический реализм», но Сталин мягко поправил: нет, это не реалистично, назовем лучше — «социалистический реализм». Так появилось это знаменитое понятие, «строившее» литературу в нашей стране в течение многих десятилетий.

Но главным организатором съезда был совсем недавно появившийся в ЦК ВКП(б) Андрей Александрович Жданов. Старожилы ЦК слегка снисходительно называли его «интеллигент». И, действительно, Жданов выделялся среди других руководителей партии воспитанием (вырос в семье чиновника), образованностью (много знал, почти профессионально играл на фортепиано) и с самого начала своей партийной деятельности уделял особое внимание вопросам культуры и искусства. И поэтому не случайно именно его назначили главным партийным организатором съезда. Зная все политические, групповые, творческие разногласия в писательской среде, Жданов готовил съезд долго и тщательно.

Политическая обстановка в стране была непростая — в начале 1934 года прошел 17-й Съезд партии, названный «Съездом победителей», и в то же время обозначивший острую борьбу в партийном руководстве, пусть и скрытую. Через три месяца после съезда был убит в Ленинграде Сергей Миронович Киров, что еще больше накалило обстановку, привело к усилению репрессий. Жданов понимал, что в столь сложное время, когда в писательской среде бушуют и политические, и межгрупповые распри, объединить писателей и направить их в «правильное русло» социалистического реализма может лишь Горький. И надеялся на особые, доверительные отношения с Горьким. Они познакомились еще в 1928 году, когда Горький посетил Нижний Новгород, где родился, и Жданов, в тот момент возглавлявший руководство города, тепло принимал классика и показывал ему городские достижения. После этого, именно по инициативе Жданова, Нижний Новгород стал называться — Горький. Так что Жданов, казалось, вполне мог рассчитывать на поддержку Горького — еще и поэтому партия назначила организатором съезда писателей Андрея Александровича. Жданов составил программу съезда, обдумал организацию Союза писателей СССР — именно на съезде Союз писателей СССР должен быть учрежден. Он наметил и приблизительную численность Союза писателей — 30–40 тысяч членов. Он же предварительно набросал и список писателей, которые должны были составить Правление Союза писателей.

Пятнадцатого августа под руководством Жданова состоялось

заседание партгруппы Оргкомитета съезда, и Жданов предложил: «Съезд, видимо, откроет Алексей Максимович Горький». Как выяснилось чуть позже, Алексей Максимович не во всем поддержал Андрея Александровича.

Съезд открылся 17 августа 1934 года в Колонном зале Дома союзов в Москве. Приехали почти все известные писатели того времени. Приехал и Зощенко, и даже собирался сказать речь. А почему, собственно, нет? Популярность Зощенко, несмотря на регулярные «проработки» (да кто их читает?), все росла. Письма от читателей шли пачками. Только в 1934 году он получил шесть тысяч писем! У кого из писателей пачка толще? Ни у кого! Зощенко — чемпион! Вот отрывки некоторых из писем, сохраненных его супругой Верой Владимировной:

«...Всюду везде народ форменно возмущается отсутствием вашей литературы... в особенности вас любят в Ростове, Ташкенте и Петрозаводске. Не говоря о Москве и Ленинграде... Не смущайтесь, миллионные читатели за вас! Пишите побольше!

Ростов, вокзал. 20. 10. 31».

Вот еще несколько писем:

«Колхозники колхоза Кр. Октябрь.

Мы не можем никак достать книги с твоими рассказами, а почитать их у нас большая охота...»

Или:

«Мне 18 год уже пошел. Как-то раз прочел ваши “Письма к писателю”, а также ваши рассказы. Рассказы мне понятны все. Они очень хорошо передаются другим после прочитанного...»

И еще:

«Сталинград, 9 июля 34 г.

Любимому художнику слова — писателю Зощенко — дарю свой автопортрет... как одному из лучших и талантливых писателей современного дня, который идет в ногу со всей массой к намеченной цели. С товарищеским приветом — И. Попов».

Зощенко обожают все слои общества:

28.4.34. Астрахань.

«...не смотря на свое маленькое жалование, я получаю 55 рублей в месяц, я все таки все вышедшие книги приобретал и даю их на прочет всем другим морякам...»

Ему пишет письма вся огромная страна:

«...т. Зощенко! Я читал и сейчас читаю ваши рассказы, они очень завлекательные и смешные... 28.1.38. Гапонюк Ник. Сем. Курган».

Письма доверительные, письма-признания:

«Милый тов. Зощенко!

Ваши рассказы для меня, что вино для пьяницы: читая их, не думаю о своем горе и горькой жизни.

Казахстан. Актюбинск. Анна Пепескул».

С ним связывают большие надежды — что именно он расскажет правду о жизни:

«...Вас, как писателя, я больше всех уважал, напишите хоть что-нибудь, что облегчило бы нашу жизнь. Вы орденосец, вы — мне кажется, правдивый человек, не лицемер, как другие наши писатели.

Уважающий вас старший служащий г. Ленинграда».

Читают его в Красной армии:

«...Надеюсь, смогу прочесть на олимпиаде ваш рассказ. Привет от целой воинской части.

Отделенный командир Грановский».

Так кому же, как не ему, самому известному и любимому писателю, быть на писательском съезде?

И вот — начало! У Дома союзов стояла толпа зевак, и самых именитых писателей встречали аплодисментами. Впрочем — и не именитых тоже. У входа юноша с рупором восклицал: «Уважаемые делегаты! Поднимите свой исторический мандат и громче назовите свое имя и фамилию! Народ должен знать вас!» После того как делегат называл себя, его фамилия громко повторялась через рупор, чтобы слышали все: Афиногенов! Бабель! Бедный! Белоцерковский! Бровка! Веселый!

Что ни говори — это был самый яркий съезд, особенно на фоне последующих. Но большинство имен теперь, увы, неизвестны... Впрочем, не все известны были уже и тогда. Большое внимание уделялось представителям национальных республик: Дунец! Дорогойченко! Елибаев!

Были, ясное дело, литературные «надсмотрщики»: Ермилов!

Эта фамилия любителям литературы даже очень известна — один из самых страшных сталинских критиков, часто его статья предшествовала приговору. Еще его называли «флюгер революции».

Но — продолжим перечень: Иванов! Ильф! Зощенко! Инбер! Каверин! Кассиль! Квитко! Кирпотин! Киршон! Либединский! Маркиш! Маршак! Новиков-Прибой! Олеша! Павленко (будущий четырежды лауреат Сталинской премии)! Пастернак (будущий лауреат Нобелевской премии, от которой ему пришлось отказаться)! Петров! Пильняк! Погодин! Романов! Саянов! Светлов! Сейфуллина! Серафимович! Сергеев-Ценский! Слонимский! Соболев! Ставский! Сурков! Табидзе! Тихонов! Толстой!

Тренев! Фадеев! Федин! Чуковский! Чумандрин (наш старый знакомый, иногда пишущий под псевдонимом Чумов)! Шагинян! Шишков! Шкловский! Шолохов! Эренбург! Ясенский! Яшвили!

Да, впечатляющий список! Всех тут вспомнить, конечно, нереально — тут перечислены лишь самые именитые. Ради справедливости назовем еще пару имен, неизвестных, но привлечших внимание автора: писатель по фамилии Маленький-Попов (Свердловская область), представитель Средней Азии по фамилии Умер. Кроме делегатов с правом голоса были делегаты и с голосом совещательным, но их тоже звонко «оглашали».

После этого «оглашенные товарищи» (как, помню, шутили мои мама с папой) входили в празднично убранный Колонный зал Дома союзов. Над сценой висели знамена и два огромных портрета: портрет Сталина и рядом, чуть поменьше, но тоже большой, портрет Горького. Белый бюст Ленина внизу, на сцене, казался маленьким. Перед съездом долго решали: как украсить зал? В конце концов решили украсить зал портретами классиков, развешанными по стенам. Как шутили, рассаживаясь в зале, писатели: Лев Толстой наверху, Алешка Толстой внизу. Но «наш Толстой» тоже не подкачал — почти на всех съездовских фотографиях Горького с ним рядом (правая рука!) Алексей Толстой. Да и многие в том зале надеялись «продвинуться» — если не по лестнице славы, то хотя бы по служебной. Но сначала пришлось всем подняться — на сцену выходили вожди. Главный вождь «скромно» не явился — мол, я не вмешиваюсь, работайте! Тут же и выяснилось, что не так уж все писатели между собой и равны, кому-то сразу повезло больше. Николаю Тихонову, соратнику Зоценко по «Серрапионовым братьям», ставшему к тому времени признанным мастером революционной романтики, досталось высокое право — громко произносить имена вождей, восходящих на трибуну. Другой «серрапион», Каверин, вспоминал, с каким мастерством, с каким упоением и восторгом, «время от времени перехватывающим горло», называл имена вождей Николай Тихонов: «Молотов!.. Каганович!..» В зале, внизу, сидели рядом два «серрапиона» — Каверин и Шкловский, и Шкловский язвительно сказал Каверину про Тихонова: «Жить будет, но петь — нет!» Правда, и сам Шкловский довольно скоро продемонстрировал, что и он тоже «хочет жить».

Съезд открыл трехчасовой речью Горький. Начал он, как и положено: «С гордостью и радостью открываю первый в истории мира съезд литераторов!»

Действительно — первый! В начале, конечно, пошла политика:

«Мы выступаем, как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди,

утверждающие подлинный триумф революционного пролетариата... Мы выступаем в стране, освещенной гением Ленина, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина».

Конечно, были «долгие, не смолкающие». Что чувствовал Зощенко, глядя на человека, который так много сделал для него и теперь находился так высоко — и далеко? Речь Горького продолжалась больше трех часов, была посвящена литературе... но при этом ни одного писателя из находившихся в зале он даже не упомянул! Боялся, что обидятся те, кого он не назовет? Он вдруг пустился в пространные исследования истории литературы, проявил гигантскую эрудицию, начал с устного творчества и дошел до великих классиков — но до современной литературы так и не дошел. Зато значительную часть своей речи Горький посвятил разоблачению... Достоевского, как «певца страданий»! Тут он, как говорится, не рисковал. Власть тоже Достоевским не восхищалась. То была «идефикс» Горького, он писал об этом и Зощенко, призывая того к осмеянию «профессиональных страдальцев». Очень не любил, кстати сказать, Горький и Гоголя — но об этом в своей речи не сказал. Гоголь из галереи классиков висел самый ближний к сцене и «смотрел» на докладчика. Его Горький не тронул. Закончив речь, несколько разочаровавшую слушателей, Горький сошел с трибуны.

Что интересно, Шкловский в своем выступлении поддержал наступление Горького на Достоевского и даже назвал Достоевского чуть ли не вредителем. В общем — Достоевский после этого надолго из России исчез. Но что ждет современных писателей, сидящих в зале? Вот что волновало всех. Съезд пошел своим чередом. Было хорошо уже то, что не было шельмования «отверженных» — Платонова, Мандельштама. Жданов, сидевший в президиуме, вышел на трибуну и огласил приветствие съезду от Центрального комитета ВКП(б) и Совета народных комиссаров. В краткой речи четко обозначил главное: «Советская литература не может быть в эпоху классовой борьбы не классовой, не тенденциозной».

Первый день съезда по программе, составленной Ждановым, был посвящен поэзии. Тут выступили два замечательных оратора — Бухарин и Радек. Два крупных партийных лидера, правда, находившиеся в это время уже далеко не на вершине своей карьеры. Оба они были из уходящего времени, когда среди партийных вождей преобладали люди талантливые, умеющие блистательно говорить. К 1934 году эти качества в руководстве партии уже не ценились так высоко. Горький, понимавший, что невыразительный партийный бубнеж утомит и оттолкнет писателей, при подготовке к съезду настоял на выступлении именно этих ораторов,

известных также блестящей эрудицией. Сталин, вздохнув, согласился.

Бухарин и правда блеснул. Уже снятый с высоких постов, он был всего лишь редактором газеты «Известия». Вероятно, этой речью перед писателями страны он надеялся восстановить свой пошатнувшийся авторитет. Речь его называлась — «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР». Он блистал эрудицией, цитировал древнекитайских философов и арабских мудрецов — но на публику в зале, среди которой многие не слишком уважали «умничанье», его речь произвела невыгодное впечатление. И большинству, конечно, не понравилось то, что Бухарин превозносил в основном Пастернака, а самых «советских», самых преданных власти поэтов — Безыменского, Суркова, Бедного — оценил весьма невысоко. Обругал и Есенина. Многие писатели гневно полемизировали с Бухариным. Демьян Бедный, автор злободневных агиток и частушек, действительно ярких и высоко ценимых властью, сказал: «Бухарин взял труп Есенина, положил на меня сверху и присыпал прахом Маяковского...» Виссарион Саянов из Ленинграда отметил: «Я насчитал двенадцать хороших поэтов, которых забыл Бухарин!» Именно тогда на съезде кто-то из поэтов, отвергнутых Бухариным, сочинил эпиграмму: «Старик Бухарин нас заметил и, в гроб сводя, благословил». Так же «не в резонанс» выступил на съезде и другой партийный «златоуст», чья партийная карьера клонилась к закату, — Карл Радек. Когда-то он занимал высокий международный пост, был секретарем Исполкома Коминтерна — к моменту съезда он уже был понижен до сравнительно скромной должности заведующего бюро международной информации ЦК ВКП(б). И речь Радека, которая высокопарно называлась «Мировая литература и задачи пролетарского искусства», тоже успеха не имела, показалась, по свидетельству делегатов, слишком напыщенной, безапелляционной.

Другие дни съезда были посвящены прозе, драматургии, детской литературе, переводам национальных литератур народов, входящих в СССР. Кроме знаменитостей, выступали и рядовые писатели. Типичным можно считать выступление писателя Ф. Березовского, который уверенно заявил, что «Анна Каренина» никак не может помочь современной женщине в разрешении мучающих ее вопросов, ей ближе роман самого Березовского «Бабы тропы». Революция всколыхнула массы, и многие взялись за перо. Появились и большие писатели, как Михаил Шолохов, но основная масса с пером справлялась плохо. В одном из материалов, подготовленных к съезду, приводятся такие цифры: «С 1924 по 1933 год издано 417 миллионов экземпляров различных художественных

произведений, но лишь 250 миллионов из них можно переиздавать». То есть почти половина изданных книг — никуда не годится. Сообразительные самоучки, уловив главное, пытались своей идейностью подменить талант и, можно сказать, компрометировали высокое звание писателя. И эту проблему нужно было как-то решать.

Выступил на съезде с бодрой речью, призывающей писателей совершенствовать мастерство, Константин Федин. Зощенко тоже готовил свое выступление на съезде (исследователи обнаружили в его записных книжках не совсем разборчивые фрагменты речи), но слова ему не дали. Однако проигнорировать самого популярного писателя тоже было нельзя. В своей речи публицист Михаил Кольцов, рассказывая о той громадной пользе, которую приносят писатели обществу, упомянул о том, как одного проштрафившегося шофера коллектив решил перевоспитать... направив к Зощенко, чтобы тот о нем написал! Безусловно, эти слова были для Зощенко очень важны... Не зря съездил.

Было и другое, не менее интересное. В своей речи Илья Эренбург резко говорил «о красных и черных досках, на которые критика абсолютно произвольно заносит писателей и сеет вражду». Наверное, многие, в том числе и Зощенко, немало пострадавший от резкой и необоснованной критики, были согласны с оратором, надеялись, что распоясавшихся «разоблачителей» как-то приструнят. Эренбург выступил и против «коллективных» сборников, где писатели, подчиняясь задаче, порой выступают даже без имени, в общем тексте, что, безусловно, приводит к их обезличиванию. Эренбург, конечно, имел в виду тот гигантский (и, как выяснилось позже, бесполезный и даже вредительский) труд под названием «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». Критическое выступление Эренбурга было не совсем в духе съезда. Кроме того, все знали, что он наслаждался жизнью за границей, пока они жили здесь и мучились. Суровую отповедь «западнику» Эренбургу дал «серапион» Всеволод Иванов, сказавший, что Эренбурга, конечно, больше привлекают зарубежные поездки, а вот их больше тянет вглубь страны.

Поэт Алексей Сурков, позже широко прославившийся военными стихами («Бьетса в тесной печурке огонь...»), вдребезги раскритиковал современное искусство, излишние чувствования обозвал «лимонадной идеологией», популярнейший фильм «Веселые ребята» назвал издевательством над реальной жизнью.

Талантливая и весьма знаменитая тогда революционная писательница Лидия Сейфуллина призывала писателей к большей ответственности в сочетании с самостоятельностью, а то, как сказала она, «нынче писатель не

прочь и корректуру своих произведений возложить на Политбюро».

Выступили на съезде: Пастернак, вполне лояльно и даже революционно, Маршак, с беспроигрышной речью — надо больше писать для детей. Выступил один из лучших наших писателей — Юрий Олеша. Он сказал:

«Мне трудно понять тип рабочего, тип героя-революционера. Я им не могу быть. Я хочу создать тип молодого человека, наделив его лучшим из того, что было в моей молодости... Все свое ощущение красоты, изящества, благородства, все свое видение мира — от видения одуванчиков, руки, перин, прыжка до самых сложных психологических концепций — я постараюсь воплотить в этих вещах в том смысле, чтобы доказать, что новое социалистическое отношение к миру есть в чистейшем смысле человеческое отношение».

Олеша уже написал тогда свое лучшее произведение — роман «Зависть», и потом еще работал долго и плодотворно, и отнюдь не в общепринятом русле соцреализма, вел себя независимо, пил, дерзко острил.

Таких, ярких и неповторимых, будут помнить и читать. А что же такое — типичный советский писатель? Было много писателей, писавших искренне и увлеченно, радующихся, что их книги помогают строительству новой жизни. Рассмотрим, к примеру, судьбу одного из самых «увенчанных» — писателя Петра Павленко. С самого начала он показал себя весьма одаренным, написал несколько интересных документальных книг. Во время Великой Отечественной войны, спасаясь после поражения нашей армии в Крыму, переплывал на бревне Керченский пролив, сильно простудился и заработал сильнейший туберкулез. После войны поэтому жил в Крыму. Его роман «Счастье» посвящен важным актуальным проблемам того времени, в частности озеленению засушливых районов. В романе есть сцена, где герой видит Сталина в белом кителе, сажающего деревце. Роман был удостоен Сталинской премии. Сейчас найти этот роман довольно трудно... Видимо, все рядовое, типичное, обычное уходит вместе со временем, и остается лишь самое яркое, необычное.

Длился тот съезд необыкновенно долго — две недели, до 1 сентября, и несколько последних дней выступающие читали исключительно решения и постановления. Съезд столбовую дорогу определил: «Социалистический реализм». При этом подчеркивалось, что это направление не только допускает, но даже считает необходимым разнообразие стилей и дарований... хотя потом оказалось, что «однообразным» живется легче.

Все ждали заключительной речи Горького, и она прозвучала в

последний день съезда, 1 сентября. В общемто ничего неожиданного он не сказал. Похвалил выступления Всеволода Иванова, Сейфуллиной, Олеси за искренность и самокритичность. Обратился и к высоким гостям, известным иностранным писателям, присутствовавшим на съезде, — Луи Арагону, Мартину Андерсену-Нексе, Жану Ришару Блоку, Фридриху Вольфу с призывом и дальше создавать правдивые картины жизни Запада. Ругнул ленинградского поэта Александра Прокофьева за увлечение взятыми от Маяковского гиперболами... Впрочем, с Маяковским еще и при жизни поэта у Горького были трения — кто из них «лучший, талантливейший». Маяковский писал: «Помню, Алексей Максимыч, между нами вышло что-то вроде драки или ссоры. Я ушел, блестя потертыми штанами. Взяли вас международные рессоры...» Их соперничество аукнулось и после смерти поэта.

Закончил Горький как положено — благодарностью правительству «за разрешение съезда и широкую помощь в его работе». Поддержал курс партии — на непримиримую классовую борьбу: «Мы должны просить правительство разрешить Союзу писателей поставить памятник герою-пионеру Павлу Морозову, который был убит родственниками за то, что, поняв вредительскую деятельность родных по крови, он предпочел родству с ними интересы трудового народа». Завершил он речь так: «Да здравствует Всесоюзная Красная Армия литераторов!»

Однако не надо думать, что такой человек, как Горький, согласился присутствовать на съезде в виде лишь декоративной фигуры, громкого рупора, провозглашающего партийные тезисы. Нет, он был человеком опытным, сильным, и главное — по-настоящему переживал за то, чтобы литература в стране была настоящая. И он, хотя и тайно, для большинства делегатов незаметно сделал очень важную для развития нашей литературы вещь... Когда партийный вождь Жданов, уверенный, что ему позволено все, «накидал список» членов будущего Правления Союза писателей по своему вкусу, Горький отнюдь не смирился с этим и еще во время съезда отправил письмо Сталину: «...партийцы, по их выступлениям на съезде, были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Однако т. Жданов сообщил мне, что эти люди будут введены в состав Правления Союза, как его члены. Таким образом, люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными». В результате, благодаря Горькому в Правление Союза писателей СССР вошли писатели талантливые и значимые: М. Горький, А. Афиногенов, Ф. Гладков, Вс. Иванов, Л. Леонов, П. Павленко, Л. Сейфуллина, Н. Тихонов, А. Фадеев, К. Федин, М. Шолохов, И. Эренбург. Однако и Жданов не

сдался и сделал секретарем Правления сотрудника ЦК ВКП(б) А. Щербакова.

Вот письмо Жданова, написанное Сталину 28 августа 1934 года: «Съезд хвалят все, вплоть до неисправимых скептиков и иронизеров, которых так немало в писательской среде».

Что думали писатели о съезде на самом деле? Скажете — это узнать невозможно?.. Ан нет! Возможно! «Глаза и уши» партии работали неустанно. И вот — из опубликованных спустя много лет архивов НКВД стало известно, что говорили писатели, разумеется, в кулуарах.

Новиков-Прибой, согласно их донесениям, сказал, что «наступает период окончательной бюрократизации литературы», а содержание съезда лишь в одном: «Да здравствует Горький!» Пришвин, оказывается, говорил: «Все думаю, как бы поскорее уехать — скука невыносимая! Живое — только доклады Радека и Бухарина». Еще Пришвин, как певец природы, сказал о происходящем: «Отцвело, не успев расцвести». Бабель, оказывается, изрек: «Единодушие из-под палки».

Обнаружено было также несколько враждебных листовок, подброшенных на съезд. В одной из ныне «рассекреченных» сказано: «СССР уже 17 лет находится в состоянии, абсолютно исключающем какую-либо возможность свободного высказывания».

А насчет того, что «съезд хвалят все»... Причины для этого, безусловно, были. Надо сказать — советская власть пришла на съезд не с пустыми руками. В одной ее руке, безусловно, был кнут, но в другой — пряник: «Работайте — и не пожалеете!» Питание делегатов производилось в ресторане в Большом Филипповском переулке (ныне ресторан «Центральный»). К услугам делегатов было 25 автомобилей (для самых именитых и «выслужившихся»), 6 автобусов, 5 грузовиков (это уже, я думаю, для самых неказистых). Проводились вечера национальных литератур в лучших залах Москвы, совместные ужины, для желающих — встречи с известными академиками, раздавались бесплатно билеты в театры, включая Большой, всех бесплатно фотографировали — и наутро вручали фотографии... Да — думаю, нынче уже такого не осуществить!

Судьбы делегатов сложились по-разному. Из 582 делегатов 218 были репрессированы, среди них — Бабель, Кольцов, Пильняк, Табидзе, Яшвили. Стали большими начальниками (берем только из братьев-«серапионов») Тихонов, Федин. Довольно близкий друг Зощенко «серапион» Всеволод Иванов вскоре сделался руководителем Литфонда — деньги тогда на писателей выделялись немалые. И Зощенко обращался к Всеволоду «по бытовым вопросам». Сохранилось письмо, где он просит

друга Всеволода выделить деньги на ремонт Дома творчества в Коктебеле. И деньги пришли! «Серапионы» вовсе не хотели ходить в изгоях... Но и рапповцы не пропали. Вскоре стал «писателем номер один» Александр Фадеев.

Квартиры, дачи, служебные машины, пайки — все это пришло после съезда. Были открыты большие издательства, книги выходили огромными, невиданными прежде тиражами — и люди их читали и горячо обсуждали, литература была на виду. Подводя итоги, скажем в духе штампов тех лет: «Свершилось главное — корабль советской литературы был спущен на воду!» И — поплыл. И в ближайшие несколько десятилетий сойти с него было невозможно. И зачем? Многим, прямо скажем, простору там вполне хватало, и они честно трудились. Можно было написать советскую — и при этом хорошую — книгу, как, например, «Два капитана» Каверина, и жить обеспеченно и в почете.

После съезда писатели были «выстроены», разделены на «категории». Зощенко получил «высшую». Стал одним из членов Правления Ленинградской писательской организации. В одном из самых красивых мест Ленинграда, на канале Грибоедова, был надстроен на два этажа старый дом, небоскреб, как шутливо называли его. Это был писательский кооператив, и Зощенко получил там квартиру в «элитном» подъезде с улучшенными условиями — его четырехкомнатная квартира была с камином.

Как же он сумел в конце жизни оказаться в убогой двухкомнатной квартирке, сделавшись из самого популярного и богатого — самым гонимым и нищим, продолжая при этом непрерывно писать, постоянно подчеркивая, что он был и остается советским писателем? Как он умудрился «упасть с корабля»? «Советская власть дала писателям все, кроме одного — права писать плохо», — говорилось тогда. Как же они не ужились — Зощенко и власть? Может, слово «плохо» они понимали по-разному?

ИСТОРИЯ ПО-НАШЕМУ

Чуковский записал в дневнике 12 января 1934 года:

«Видел Зоценку. Лицо сумасшедшее, самовлюбленное, холеное. “Ой, К. И., какую великолепную книгу я пишу! Книга — “Декамерон” — о любви, о коварстве и еще о чем-то. Какие эпиграфы! Какие цитаты!”»

Речь шла о «Голубой книге», которую Зоценко начал писать в 1934 году, а закончил в 1935-м.

Как и многим писателям, книга, над которой он работает сейчас, кажется главной. «Все, что раньше писал, оказались черновые наброски к этой книге... В общем, мир ахнет и удивится моей новой фантазии!» — такие надежды высказывал он. И они оправдались — книга вышла замечательная, одна из наиболее читаемых его книг. Он позволил себе вернуться к прежнему развеселому жанру — и все его читатели, включая сегодняшних, благодарны ему за это.

Однако и «проработки» с «перековками» он не забыл. Такое разве забудешь? Себе выходит дороже! Неоднократно уже «битый», Зоценко теперь старается каждый раз «подстраховаться», «подстелить соломки». Что он был такой уж наивный и беззащитный — забудьте! Кроме обычных вступлений и отступлений, где он каждый раз клянется в том, что заботится исключительно о воспитании людей и строительстве социализма, в этот раз он решает заручиться еще поддержкой главного литературного «колосса» — Горького: мол, исключительно по его указанию создана данная книга.

И на кого еще мог Зоценко надеяться?

А Горький уже выручал его. Вспомним упоминавшуюся выше историю с энергичным управдомом, рассказанную в дневнике Чуковским со слов Зоценко — когда управдом хотел подселить к Зоценко соседей, и только вмешательство Горького спасло писателя.

В октябре 1930 года Горький пишет большое письмо уже не управдому, а самому Зоценко, в котором хвалит его юмористический талант, а также и отмечает присутствие в его сочинениях «социальной педагогики», и заканчивает письмо так: «...глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальнейшую книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно, только — переменить тему. По-моему, вы и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить — вышить — что-то вроде юмористической “истории культуры”. Это я говорю

совершенно убежденно и серьезно!»

Пушкин, как утверждал Гоголь, подсказал ему идею «Ревизора». А Горький подсказал Зощенко идею «Голубой книги», о чем Зощенко пишет в предисловии к ней и посвящает ее — Горькому. Зощенко сам советов не любил — ни давать, ни тем более получать. Он как раз заканчивал «Воспоминания о Мишеле Синягине» и думал о «Возвращенной молодости». Книги эти читаются с грустью, вселяют ощущение безнадежности — книги довольно грустные. А «Голубая книга» — это почти непрерывный хохот. Благодаря управдому и отчасти Горькому мы имеем «Голубую книгу» — приятнейшее чтение! Я, например, люблю ее больше всех. Поначалу упрямый Зощенко вовсе и не собирался следовать совету учителя — но когда у него в 1934 году откуда-то вдруг появилась идея написать книгу рассказов, соединенных какой-то сквозной идеей, он стал «на ощупь» писать, и вдруг понял: пишет как раз то, что Горький предсказал! Выходит — тот его даже лучше знал, чем он сам! И — спасибо управдому! Ведь это он в «Голубой книге» пересказывает историю человечества «по-нашему», по-управдомовски! Разговор цезаря Нерона со строителем дома для «любимой мамаша» в «Голубой книге» смахивает на разговор управдома с халтурщиком-штукатуром:

«Можно представить, каков был разговор при заказе этого потолка.

— Не извольте беспокоиться! — говорил подрядчик. — Потолок сделаем — просто красота! Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество!..

— Да гляди, труху у меня не клади, — говорил Нерон. — Гляди, клади что-нибудь потяжельше. Легкая труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша!

Как же не знать, ваше величество? Характерная старушка. Только какая же может быть труха? Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество: я особо большой камешек велю положить в аккурат над самой головкой вашей преподобной маменьки.

— Ну, уж вы там как хотите, — говорил Нерон, — но только чтоб — раз! — и нет маменьки.

— Не извольте тревожиться. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете».

Мамаша, однако, скрылась от нехороших предчувствий.

«...Но вскоре неутомимый Нерон пронюхал, где она находится, и подослал наемного убийцу. Там ее и убили. Вот какой был коварный подлец! Впрочем, мамаша его была не менее подловата, а потому, повторю, жалеть ее, так сказать, не приходится».

Историю пересказывает этакий зощенковский «пролетарский историк», и получается уморительно — и притом весьма поучительно. В предисловии к книге Зощенко написал:

«И вот, перелистав страницы истории своей рукой невежды и дилетанта, мы подметили неожиданно для себя, что большинство самых невероятных событий случилось по весьма немногочисленным причинам. Мы подметили, что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и какие-то удивительные события, о которых будет идти речь дальше. Те же “немногочисленные причины” обнаруживаются в современности. В итоге “десять отделов” рабочей картотеки превращаются в пять разделов, по которым распределяются старые и новые рассказы... И вот в силу этого мы разбили нашу книгу на пять соответствующих отделов. И тогда мы с необычайной легкостью, буквально как мячи в сетку, распахали наши новеллы по своим надлежащим местам.

И тогда получилась удивительно стройная система. Книга заиграла всеми огнями радуги. И осветила все, что ей надо было осветить».

Всего в книге было пять разделов — пять «пружин» мировой истории. Это — Деньги, Любовь, Коварство, Неудачи и Удивительные события. Последний отдел, по мысли Зощенко, должен был возвеличить человека, особенно — революционного, и «звучать, как Героическая симфония Бетховена».

Но «Героическая симфония Бетховена» в окружающей жизни как-то не вырисовывалась. «Музыка истории» звучала, скорее, как похоронный марш.

Первого декабря 1934 года в Ленинграде, в Смольном, прямо возле своего кабинета был застрелен Сергей Миронович Киров, секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК.

Киров имел репутацию народного любимца — он казался простым, доступным, душевным, рабочие запросто называли его Мироныч. Кстати заметим — Киров был горячим поклонником Зощенко, в его библиотеке было много зощенковских книг!

И вот Зощенко впервые «допущен к вождю» — правда, уже лежащему в гробу... Раньше все как-то не получалось. Теперь Зощенко, как член Правления Союза писателей, стоит в почетном карауле у гроба.

Было ли убийство Кирова политическим? Новейшие исследования показывают, что весьма общительный Мироныч имел особую слабость к «слабой половине» населения и был застрелен обманутым мужем из ревности. Но Сталин посчитал нужным представить убийство политическим, приписав и его тоже к злодеяниям «троцкистско-

зиновьевской банды». Число репрессий значительно возросло. И в это же время выходит зощенковская «Голубая книга». Вот отрывок из главы «Деньги»:

«...Так что уголовный кодекс выглядел у них все равно как ресторанный меню. Там цена указана за любой проступок... Если кто убьет княжого конюха, повара или подъездного — сорок гривен за голову. Если кто убьет княжого тиуна (приказчика, судью, дворецкого) — двенадцать гривен. Судя по данным ценам, интеллигенция мало ценилась в те времена. Конюхи и повара стоили несколько дороже.

Например, однажды римский диктатор Сулла (83 год до нашей эры), захватив власть в свои руки, приказал истребить всех приверженцев своего врага и соперника Мария. А для того, чтобы никто не избег этого истребления, Сулла, будучи большим знатоком жизни и человеческих душ, назначил необычайно высокую цену за каждую голову.

Он объявил, что за каждого убитого он заплатит по двенадцать тысяч динариев (около пяти тысяч рублей золотом). Эта высокая цена столь подействовала на воображение граждан, что (история рассказывает) “убийцы ежечасно входили в дом Суллы, неся в руках отрубленные головы”. Мы приблизительно представляем себе, как это было:

— Сюда, что ли?.. С головой-то... — говорил убийца, робко стуча в дверь.

Господин Сулла, сидя в кресле в легкой своей тунике и в сандалиях на босу ногу, напевая легкомысленные арийки, просматривал списки осужденных, делая там отметки и птички на полях.

Раб почтительно докладывал:

— Там опять явились... с головой... Принимать, что ли?

— Зови.

Входит убийца, бережно держа в руках драгоценную ношу.

— Позволь! — говорит Сулла. — Ты чего принес? Это что?

— Обыкновенно-с... Голова...

— Сам вижу, что голова. Да какая это голова? Ты что мне тычешь?

— Обыкновенная-с голова... Как велели приказать...

— Велели... Да этой головы у меня и в списках-то нет. Это чья голова?

Господин секретарь, будьте любезны посмотреть, что это за голова.

— Какая-то, видать, посторонняя голова, — говорит секретарь, — не могу знать... Голова неизвестного происхождения, видать, отрезанная у какого-нибудь мужчины.

Убийца робко извинялся.

— Извиняюсь... Не на того, наверно, напоролся. Бывают, конечно,

ошибки, ежели спешка. Возьмите тогда вот эту головку. Вот эта головка без сомнения правильная. Она у меня взята у одного сенатора.

— Ну, вот это другое дело, — говорил Сулла, ставя в списках галочку против имени сенатора. — Дайте ему там двенадцать тысяч... Клади сюда голову. А эту забирай к черту. Этак каждый настрижет себе голов! Ишь, зря отрезал у кого-то...

— Извиняюсь... подвернулся.

— Подвернулся... Это каждый настрижет у прохожих голов — денег не напасешься.

Убийца, получив деньги и захватив случайную голову, уходил, почтительно кланяясь своему патрону».

Сходство «римских времен» с нашими бросалось в глаза. Правда, наш новый Сулла не корил тех, кто случайно отрезал «не ту головку». Лес рубят — щепки летят! — любил он говорить. И именно в это время появляется «Голубая книга» Зоценко, где в сатирической зарисовке рассказ шел как бы про римские дела... но напоминал и наши.

И бдительная критика была начеку. В главном органе советской печати — газете «Правда» от 9 мая 1936 года появляется статья А. Гурштейна «Прогулка по аллеям истории»:

«...о чем бы ни шла речь — пусть это будут страдания, гонения, убийства, нищета, — Зоценко (его рассказчик?) не обходится без сопроводительного хихиканья. Что здесь, собственно, смешного? Зоценко, однако, убежден, что смешок здесь уместен».

И я тоже — убежден. Книга жить помогает! А надо как? Преклоняться, что ли, перед всеми этими ужасами?.. Конечно, Зоценко снова «пер на рожон» — уже «убийцы ежечасно входили в дом Суллы, неся в руках отрубленные головы...». И, конечно, язвительный тон, которым Зоценко пересказывал «великие исторические события», пусть и «прошедшие», не мог нравиться: не уважает тиранов!

Время, конечно, не слишком подходящее для насмешек... Или наоборот — здорово, что «Голубая книга» вышла как раз тогда?

ЗОЩЕНКО В 1937-м

И вот наступил «незабываемый 1937-й». 20 марта 1937 года Сталин выступил на пленуме ЦК ВКП(б) с докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». Репрессии приобрели невиданный прежде размах. Дворники обязаны были закрашивать фамилии репрессированных на доске со списком жильцов — и оставшиеся нетронутыми с ужасом видели на доске все больше таких «белых пятен». Один мой друг вспоминал, как профком завода поощрил его отца за работу и постановил — выдать шкаф. Их привели в квартиру, где была мебель, но не было людей, и сказали: «Выбирайте!» Нужного шкафа там не оказалось, и их провели в соседнюю квартиру — тоже без людей. Друг мой был тогда еще ребенком, но вдруг почувствовал, что ему страшно.

Все уже знали о массовых репрессиях, жили в страхе. Людей заставляли выходить на митинги на их предприятиях, где выступавшие требовали казни «двурушникам и предателям».

И конечно, должен был прозвучать и «голос писателей». И он прозвучал. Вот ветхий номер «Литературной газеты» за 15 июня 1937 года. Сначала — общее их обращение:

«НЕТ ПОЩАДЫ ШПИОНАМ!»

Советские писатели, вместе со всем великим советским народом, одобряют расстрел фашистских шпионов, предателей Родины...»

Но это еще полдела! Далее шли персональные высказывания. Приведу лишь заголовки.

Ал. Толстой

СОРВАТЬ ПЛАНЫ МИРОВОЙ ВОЙНЫ!

Н. Тихонов

ОСЛЕПЛЕННЫЕ ЗЛОБОЙ

К. Федин

АГЕНТЫ МИРОВОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Ю. Олеша

ФАШИСТЫ ПЕРЕД СУДОМ НАРОДА

А. Новиков-Прибой

ПРЕЗРЕНИЕ НАСЛЕДНИКАМ ФАШИЗМА

В. Вишневский

К СТЕНКЕ!

И. Бабель

ЛОЖЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Л. Леонов

ТЕРРАРИУМ

М. Шагинян

ЧУДОВИЩНЫЕ УБЛЮДКИ

В. Шкловский

ЭПИЛОГ

Б. Лавренев

ИХ СУДИТ ВСЯ СТРАНА

А. Платонов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗЛОДЕЙСТВА

Среди осуждающих, требующих казни — лучшие имена! В этом «параде» Михаила Зощенко нет. Но 25 января 1937 года он выступает вместе с другими на собрании в ленинградском Доме писателя с осуждением «изменников» в связи с процессом над Пятаковым и Радеком. Еще недавно Радек выступал на съезде писателей, блистал красноречием, и — надо же! — оказался врагом!

Повышения бдительности требуют от всех. Теперь «враждебным» могут объявить то, что прежде считалось безобидным. Еще в книге «Письма к писателю» Зощенко публиковал свой ответ игривым студенткам, которые капризно требовали прислать им рассказы, не пропущенные цензурой, и сообщал, что цензура никогда не имела к нему претензий и все пропускала, а уж он в ответ «вел себя добропорядочно и не писал рассказы, которые могли бы не пойти». Но в 1937 году из переиздания «Сентиментальных повестей» цензура выкинула повесть «Люди», много раз уже напечатанную, и сделала вымарки в книге на тридцати страницах. Значит — ага! — все-таки писал нехорошее!

«Теперь так будет всегда! — дают понять писателям. — Бойтесь!»

При этом в 1937 году широко и помпезно отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, погубленного, как считалось тогда, придворной кликой. Проходили торжественные собрания, устраивались концерты по его произведениям, издавались роскошные собрания сочинений. Я храню дома замечательно изданный в 1937 году серовато-глянцевый трехтомник Пушкина, с его выпуклым барельефом на обложке, с прелестными

старинными иллюстрациями. Власть демонстрировала: в стране все хорошо, Пушкин с нами!

Хоть какая-то «отдушина» все же была! В том же январе Зощенко публикует ответ на «Анкету о Пушкине» в журнале «Литературный современник». Специально к столетнему юбилею Пушкина пишет стилизованную под Пушкина «шестую повесть Белкина» — «Талисман». Уж лучше это писать, чем подписывать коллективные письма! Наверное, как и многие, Зощенко решил продолжать прежнюю жизнь, делать свое дело — и будь что будет.

В мае 1937-го в весьма престижном издательстве «Художественная литература» выходит его книга «Рассказы» тиражом в 100 тысяч экземпляров!

Но Зощенко — подстраховывается. 17 мая в газете «Ленинградская правда» Зощенко публикует сразу четыре письма Горького к нему. А ну-ка троньте, попробуйте, друга Горького! Впрочем — он так предусмотрителен не всегда. Пишет и печатает статью «О стихах Заболоцкого», хотя Заболоцкий находился под угрозой (и вскоре был арестован), другие боялись о нем писать.

Тридцать седьмой год — столетняя годовщина памяти Пушкина и юбилей революции. И этот юбилейный год не случайно стал самым «людоедским» — к юбилею требовалось показать всем, что «революция продолжается». Писатели обязаны были «откликнуться». Зощенко откликнулся довольно поверхностной вещью «Бесславный конец» — о 1917 годе и Керенском, — написанной усредненным, банальным языком... «Отделался»!

В ноябре напечатана очередная книга Зощенко «1935–1937. Рассказы, повести, фельетоны», тираж 20 тысяч. Зощенко публикуется в журналах «Крокодил», «Звезда», в «Ленинградской правде» и «Красной газете». Выходят рассказы «Веселая игра», «Шумел камыш», «В пушкинские дни» — «зощенковское издевательство» по поводу помпезного поклонения Пушкину с идеологическим привкусом, а простому человеку это — «бокком выходит». И, несмотря на угрозы, Зощенко по-прежнему печатается «у врагов» — в 1937 году в буржуазной Риге выходят его книги «Бедная Лиза» и «Не все то золото, что блестит!».

В августе арестован брат Веры Владимировны, который когда-то служил в Белой армии, а также супруга брата. Зощенко уже однажды вступался за них, когда их арестовывали. Тогда — помогло.

Арестован ближайший друг Зощенко, В. Стенич. За него Зощенко вступится, когда, как ему покажется, появится шанс, не зная о том, что

Стенич после суда был почти сразу расстрелян. Он пытается делать все возможное, и в обстановке тех лет — это наилучшая характеристика!

В «Хронологической канве жизни и творчества М.М. Зощенко», составленной замечательным исследователем Ю. Томашевским, значится: «Август 1937. После ареста близких знакомых — мужа и жены Авдашевых — М.М. Зощенко и В.В. Зощенко берут в семью их шестнадцатилетнего сына, отправляют посылки и деньги двум их несовершеннолетним дочерям, помещенным в детдом для детей “врагов народа”».

Что это за Авдашевы? Фамилия мучительно знакомая, но что их связывало с семьей Зощенко? Из многочисленных воспоминаний о Михаиле Зощенко возьмем воспоминания Авдашевой, дочери репрессированных:

«Мой отец был секретарь Петроградского райкома партии. Хоть была и мала, я замечала интерес к нему Михаила Михайловича. И уважение. Видимо, отец был из тех партийцев, с которыми он связывал надежды на будущую лучшую жизнь. И вот в 1936 году нашу семью постигло несчастье: отца арестовали. Брат и я с сестренкой были в полной растерянности, мать в отчаянии.

Михаил Михайлович пригласил маму к себе, говорил, что это ошибка, недоразумение, что вскоре все должно разъясниться и отец вернется домой. В общем, всячески ее ободрял. Мама вспоминала потом, что он очень волновался, не знал, как успокоить. Принес из своего кабинета банку с вареньем, поставил перед ней чашку чая. Сказал, что чай с вареньем хорошо влияет на нервные перегрузки...

В августе 1937 года арестовали мать. Наша жизнь окончательно перевернулась. Меня и сестренку как несовершеннолетних детей “врагов народа” отправили в детский дом, притом не в один — разлучили: меня в Судогду, ее в Вычугу. Володя (ему было шестнадцать лет) остался один. И тогда Михаил Михайлович и Вера Владимировна взяли его к себе, в свою семью. И это был не просто, как говорят сегодня, акт милосердия. По тем временам это был мужественный поступок. Хоть Сталин и говорил, что сын за отца не отвечает, но то была ложь. Сыновья отвечали, да еще как! Дети “врагов народа” — они тоже были “враги”. И вот семья Зощенко не побоялась “пригреть” врага. А нам, его сестрам, посылались посылки, деньги, не проходило месяца, чтобы мы не получали от Веры Владимировны письма...

В августе 1939 года я наконец отбыла свой срок в детском доме и вернулась в Ленинград. Мне было пятнадцать лет. Надо было думать, что делать, где и как жить. И опять эти добрые люди не остались в стороне.

Ими только что была куплена в Сестрорецке дача, и они пригласили меня там жить. Дача была совсем новой. Вход на второй этаж, где находился кабинет Михаила Михайловича и маленькая комнатка Веры Владимировны, был в то время еще снаружи. С маленького балкона открывался неповторимо прекрасный вид на залив. Голубое небо сливалось с морем, а внизу, за калиткой, бежала тропинка между молодыми, только что посаженными деревьями... Как будто я все это видела только вчера — так ясно остались в памяти первые минуты.

На день я получала на завтрак пять рублей и шла по своим делам, а к обеду садилась за общий стол. Михаила Михайловича я запомнила как человека тихого, незаметного для окружающих. А дом был, надо сказать, шумный. На половине Веры Владимировны — частые гости, чаепития, громкие разговоры, игры. Наверное, Михаилу Михайловичу все это мешало, но я не помню, чтобы он открыто выражал по этому поводу свое неудовольствие.

Помню, на масленицу Вера Владимировна пригласила родственников, друзей и знакомых. Много было народу. Все знали, что Михаил Михайлович здесь, на даче, и ждали его к столу. Сели, но за еду не принимались. И вот он появился в столовой. Быстро прошел к своему месту, улыбаясь, поздоровался со всеми.

Гости следили буквально за каждым его движением, смотрели в рот, заранее приготовившись смеяться, услышав от него какую-нибудь шутку или остроу. А он, ни на кого не глядя, как-то смущенно, застенчиво чуть-чуть покопался в еде, потом вдруг быстро положил на тарелку кое-что из закуски и торопливо вышел. Весь его вид говорил, что он не хочет мешать людям, приготовившимся к шумному веселью».

Да — таков был Зоценко... Но самое поразительное в этой истории — фамилия пострадавших. Авдашев, секретарь Петроградского райкома партии, — это же возлюбленный тогда еще молодой Веры Владимировны, которому она, не совладав с чувствами, отдалась непосредственно в квартире, где находился и Зоценко... И вот теперь, в минуту беды, Зоценко заставил себя стать выше этого — и взял в семью сына Авдашевых после ареста родителей. Помогал и девочкам, оказавшимся в детском доме. Такая выдержка, такое благородство встречаются редко. Зоценко — каким был, таким и остался: дворянин, офицер.

Всех он спасти не мог, но старался помочь хотя бы близким. Сохранял обязательства перед женщинами, с которыми прежде был связан, и даже уже расставшись с ними, выручал, как мог. Прелестной художнице Нине Лекаренко-Носкович, с которой они познакомились еще в «Бегемоте»,

писал в 1937 году:

«Здравствуй, Ниночка!

Недавно звонил Вам — хотел узнать, как Вы живете, но мне сказали, что этот номер телефона 562–63 — принадлежит другим. Вероятно, у Вас теперь другой телефон? Как-нибудь позвоните, душенька. Я чертовски болел эту зиму. Теперь я несколько лучше, но все еще не всегда. Грешно Вам забывать старых друзей — не звонили, я думаю, месяца два.

Привет и лучшие пожелания!

Мих. Зощенко.

Поздравляю Вас с днем 1 мая.

1.5.37».

Дочь Нины Лекаренко показала мне это письмо, достав из красивого старинного «бювара», как драгоценность. Особенное внимание она просила обратить на дату — 1 мая 1937 года. Уже был арестован муж Нины, и вскоре, как тогда водилось, арестовали ее. Об аресте мужа Зощенко знал и ясно представлял последующие события и опасности — но тем не менее письмо написал и послал. Нина это письмо — не только знаменитого, но и отважного ее поклонника — особенно ценила. «Не побоялся!» — несколько раз повторила в разговоре со мной дочь Нины Лекаренко, тоже Нина.

Не зря Зощенко так любили женщины!

ПЕДАНТ И ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН

«Такой интересный красавец, тоняга, одевается. Такой вообще педант и любимец женщин... И при этом имеет имя — Лютик». В этом герое рассказа Зоценко можно узнать самого автора. Зоценко не раз «делал автопортреты», в основном иронические. Не зря Чумандрин так волновался за него: на «пролетарского писателя» Зоценко не походил. Будучи «монахом» в семье, живя почти в аскетической келье, «на выход» он всегда одевался тщательно. Даже в годы бедности военный френч сидел на нем элегантно. А потом пошли неплохие гонорары. Вера Владимировна вспоминает: «Михаил... зашел ко мне — купил себе черный заграничный костюм, очень доволен — он всегда, как ребенок, радовался обновкам...»

Щегольство помогало ему быть в форме, чувствовать себя сильным и успешным. Ему было перед кем покрасоваться. В двадцатые и тридцатые годы он был в моде, и где бы он ни появлялся — все взгляды, особенно женские, сразу обращались к нему. Он получал уйму писем и записочек, вроде этой:

«Дорогой товарищ Мими!

...Дело в том что мы в вас по уши втрескались (т. е. в ваши произведения). Будущие повара Рая и Тамара».

Может быть, действительно Рая и Тамара зачитывались его произведениями — но скорее всего просто влюбились в «суперзвезду»: на обложках ранних своих книг Зоценко выглядит этаким жестоким красавцем, героем немого кино. Пушкинскую фразу об Онегине «Как *dandy* лондонский одет...» — можно отнести и к Зоценко. Исследователи не раз отмечали влияние «дендизма» не только в его облике, но и в его творчестве. Казалось бы — герои самые примитивные. Но!.. Изучая «дендистскую» литературу, находим в Зоценко самые неоспоримые признаки денди: независимость, непременную хандру, склонность к ироническим мистификациям (вспомним хотя бы несколько раз измененные им дату и место своего рождения). Явно снобистскую, декадентскую формулу положил Зоценко и в основу своей жизни, о чем написал в «Возвращенной молодости»: «...основное руководство над своим телом, несомненно, заключается в умении создавать правильные привычки и неуклонно им следовать». Свой «идеал жизни» отпечатал и в своей самой откровенной книге — «Перед восходом солнца»: «Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведем К. После чего я почувствовал немедленно, что я человек

необыкновенный, герой и авантюрист». Как пишет исследователь жизни и творчества Михаила Зощенко А.С. Семенова: «...и хандра, и период доблестной военной службы, и рыцарская, и донжуанская темы, и изгнание, и падение после стремительного взлета — традиционные элементы биографии денди».

Вспомним красавца Байрона! Приходит на ум и блистательный Оскар Уайльд. Зощенко копирует и его внешность, и парадоксальность высказываний: «Боязнь казаться смешным — смешна»; «Только новое никогда не может быть пошлым»; «Красивое никогда не бывает смешным». И — самое смелое его высказывание (о себе): «В мир пришел величайший гений. Внешность — Уайльд». Из других советских писателей к «денди» отнести можно К. Вагинова и М. Булгакова. Безусловным «денди» был ближайший друг Зощенко — В. Стенич. И это дорого им обошлось, как и Зощенко. Порой власть предрержащих даже сильнее раздражал сам стиль жизни, нежели творчество. Зощенко был «чужой»! А образ нормального советского писателя был иной. И даже недостатки — иные, свои. Часто «своих» определяли именно по недостаткам... «Наш!»

Известно, что когда в 1936-м нависла опасность над авторами замечательной книги «Республика Шкид» Л. Пантелеевым и Г. Белых (книгу, после выхода в 1927-м, начала ругать еще Крупская за непедagogичность), то Белых вскоре посадили, а Пантелеева, по свидетельству современников, неожиданно спасло то, что он в то время сильно пил... Пьет — значит, наш, пролетарский (хотя был Л. Пантелеев родом из дворян, в 1918-м оказавшийся беспризорником).

А вот Зощенко с его «старомодной учтивостью», имеющий при этом вполне сегодняшние успехи у дам, явно раздражал и начальство, и основную писательскую массу.

Зощенко предпочитал «бомонд».

Одна из знакомых Зощенко, Т. Иванова, вспоминает:

«Познакомилась я с ним в 1926 году в Ленинграде, на каком-то семейном торжестве у Леонида Утесова, куда привел меня Исаак Эммануилович Бабель, с которым я тогда дружила.

За столом Михал Михалыч оказался моим соседом и сразу пленил своей изысканной вежливостью и скромностью, доходящей до застенчивости.

В то время он был уже очень знаменит. Люди узнавали его на улице и в общественном транспорте. А когда я стала говорить ему, какое большое впечатление производят на меня его рассказы, он засмутился, как начинающий подросток...

...За все время многолетнего знакомства я не могу вспомнить ни одного поступка Михал Михалыча, бросающего хоть бы малейшую тень на тот изысканный его образ, который живет в моей памяти».

Зощенко вел себя и говорил безукоризненно. И, как верно заметили его исследователи, именно владение правильной речью помогало ему так виртуозно создавать «словесные вывихи» и — контролировать их, управляться с ними.

На первый взгляд образ денди, как мы себе его представляем, не соотносится с темными и бескультурными героями Зощенко. Ан нет. Настоящий, а не притворный денди всегда прост. Самый известный денди русской литературы — Пушкин — написал замечательную фразу: «Первый признак ума есть просторечие». И Пушкин издевался над «охранителями высокого штиля», охотно пускался в просторечие: «Намедни... на скотный двор... Тьфу, прозаические бредни, голландской школы пестрый сор!» И Пушкина, как и Зощенко, не раз упрекали в нарушении канонического литературного языка. Но они создали новый язык — свободный, народный... Это только приказчики, изображающие бомонд, говорят изысканно и «культурно», как они это себе представляют. А высший свет — прост. Пушкинские корни писателя Зощенко очевидны: не случайно он написал «Шестую повесть Белкина» — «Талисман». Есть сходство в жизни и творчестве Михаила Зощенко и с другим знаменитым «денди» русской литературы — Лермонтовым: бесстрашие на войне, ироническое отношение к окружающим и даже склонность к дуэлям. Известны две намечавшиеся дуэли в жизни Зощенко, к счастью, несостоявшиеся — с правоведем К. и «серапионом» Кавериним.

Несомненно, однако, и сходство Зощенко с другим гигантом русской литературы — Гоголем: малороссийское происхождение, меланхолия... Не случайно Ольга Форш выводит его в романе «Сумасшедший корабль» под псевдонимом Гоголенко. Можно сказать, что у Зощенко прослеживаются две линии. Для «денди», подобных Пушкину и Лермонтову, свойственно создание образов «лишних людей» (Онегин, Печорин), а для Гоголя и Зощенко характерны «маленькие люди» — Акакий Акакиевич и персонажи зощенковских рассказов. Однако в «Сентиментальных повестях» и последующих у Зощенко появляются портреты «лишних людей»: прапорщик, ставший ретушером, — Володин, бывший денди, ставший нищим, — Мишель Синягин. Это — пророческие «автопортреты» Зощенко, сублимация его тревог — к сожалению, сбывшихся: ему, в конце концов, после десятилетий успеха пришлось зарабатывать на жизнь вырезанием стелек.

Ну а пока... Зоценко, конечно, не Лютик — но производить роскошное впечатление на молодых неискушенных красавиц умел и любил. В нем, несомненно, было что-то магическое. Вот признание одной из поклонниц:

«Во внешности Михаила Зоценко и манере себя держать было что-то такое, что сводило с ума многих женщин. Он не был похож на роковых кинокрасавцев, но его лицо, по словам знакомых, было освещено экзотическим закатом — писатель уверял, что ведет свое происхождение от итальянского зодчего, работавшего в России и на Украине... его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Маленький рот с белыми ровными зубами, темно-карие задумчивые глаза. Маленькие руки. Волосы расчесаны на безукоризненный пробор. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Передвигался он неторопливо и осторожно, точно боясь расплескать себя. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие и даже вызов».

А вот воспоминания уже упоминавшейся Нины Лекаренко-Носкович, в пору их встречи начинающей художницы:

«Красивое смуглое лицо, темные глаза с поволокой... Невысокий и очень изящный человек. Все в нем вызывало во мне чувство уважения и восхищения. Он был всегда хорошо одет. В его одежде не было вызывающего щегольства, ничего не выглядело с иголочки, даже галстук, но все было очень хорошо сшито и прекрасно смотрелось...

Познакомились мы, когда мне было восемнадцать лет. Я училась на графическом факультете Академии художеств, на отделении газеты, журнала и детской книги. На втором курсе меня направили на практику в редакцию “Бегемота”... Меня пригласили на обсуждение очередного номера журнала, где решалось художественное оформление и подписи к рисункам. Из литераторов присутствовали А. Флит и Михаил Михайлович Зоценко. Зоценко сидел на одном из редакционных столов, положив ногу на ногу.

С этого собрания Михаил Михайлович пошел меня провожать, и так началась наша семилетняя дружба, прервавшаяся трагическим поворотом моей судьбы и никак не заслуженной бедой Зоценко.

С концом моей практики журнал “Бегемот” закрылся... Но дружба моя с Михаилом Михайловичем не кончилась.

Я думаю, ему было забавно и интересно знакомить меня, еще почти девочку, с недоступными и неизвестными мне ранее очень приятными сторонами жизни. Михаил Михайлович был первым мужчиной,

пригласившим меня в “Асторию” поужинать.

Помню, мы угощались котлетками “минути”. Такого теперь не бывает. Это были котлеты из рябчиков, из каждой торчала рябчиковая ножка с коготками. Было ли вино, не помню. Два молодых негра в белых атласных костюмах с пестрыми поясами плясали между столиками в ярких лучах прожекторов. Очень был запоминающийся вечер. Как можно в восемнадцать лет не восхищаться такими радостями и тем, кто их доставляет? А доставлявший радости был на редкость добр и мягок в обращении — я не помню в его поведении ни одного “фо па” <от фр. *faux pas* — оплошность, неловкость>, ничего похожего на малейшую бестактность, ничего, в чем был бы хоть малый оттенок грубости. И тем не менее это был чисто мужской и мужественный характер...

У меня сохранилось несколько писем, написанных Михаилом Михайловичем в тяжкие периоды неврастения, когда ему никого не хотелось видеть и ни с кем общаться.

Привожу характерные цитаты.

Лето 1929 года:

“Нахожусь в некоторой меланхолии, а потому не позвонил, как собирался.

Не браните нас, дорогая душечка, — мы и сами не рады, что снова нас посетила хандра...

Просьба не забыть нас в нашей немощной старости”.

Из другого письма, 1931 года:

“Я было согласился на свой вечер в Политехническом институте (Москва), но в последний момент струсил и отказался.

Не то чтобы струсил, но уж очень не люблю на публику выходить, смотреть будут, а я мрачноватый, и вообще нехорошо как-то”.

12 января 1931 года:

“Я много работал это время и по этой причине очень похудел, пожелтел и подурнел”.

Надо сказать, что, выбравшись из очередного нервного спада, Михаил Михайлович очень хотел выглядеть получше и свежее, запудривал усилившуюся на лице желтизну и чуть-чуть подкрашивал губы...

Если кто-то Михаилу Михайловичу не нравился, он говорил: “Я не могу видеть вокруг себя этого человека”. Но если кто-то был ему мил, он был всегда очень приветлив и, мне думается, боялся обидеть небрежением».

Кроме писем, написанных Михаилом Зоценко Нине Лекаренко-Носкович в моменты депрессии и опубликованных, есть еще несколько

писем неопубликованных. Дочь Лекаренко-Носкович, Нина Романовна Либерман, не хочет их публиковать, разрешила в них только заглянуть. Да — письма сугубо личные, весьма эмоциональные. Нина Романовна разрешила лишь подробно рассказать о письме Зоценко ее маме от 1 мая 1937 года — оно приведено выше. И это письмо хранится в этой семье с особенной гордостью, как самая ценная реликвия!

Горюя о том, что неизданные письма Зоценко так и остались в красивом «бюваре», я тем не менее уходил из этого дома вдохновленный: дом этот хранит память прошедших лет — на стенах работы знаменитого художника Рудакова, портрет юной Лекаренко, книга Зоценко с дарственной надписью... Есть в нашем городе такие дома, где память о Зоценко, о той эпохе еще жива.

И есть немало сведений о его «романах». Отношения с Лекаренко-Носкович приобрели серьезный характер, а в конце даже и драматический. Но вообще Зоценко предпочитал более легкие отношения. Своих амурных увлечений он почти не скрывал. Свидетели вспоминают о многочисленных коротких, «офицерских» романах Зоценко. Видимо, в слове «офицерский» содержится некоторое суперменство: непродолжительность, внезапный разрыв — труба, мол, зовет в поход! Юрий Карлович Олеша, друг Зоценко, тоже большой «бонвиван» в молодости, любил приезжать в Ленинград, останавливаться в шикарной «Европейской», и начиналась их «красивая жизнь». Одна из участниц тех встреч вспоминает, как она и Олеша ждали Зоценко на углу Невского, и вдруг Олеша сказал: «А вот идет Зоценко на его кроватных ножках... только не говорите это ему!» Гении резвились. Было время, когда и денег было полно, и поклонницы не давали проходу.

Одной из наиболее известных «пассий» Зоценко (их отношения тщательно изучены и продокументированы) была совсем юная, восемнадцатилетняя Оленька Шепелева. Второкурсница строительного техникума. Уже замужем была — и вдруг увлеклась чтением, а затем — Зоценко. Она сохранила письма Зоценко к ней — и автор в них смотрится шикарно.

Вот он пишет о возможной их встрече во время ее командировки в город Николаев: «Я бы тебя провожал на работу, и приготавливал бы тебе завтрак, дурочка!»

Просит ласки: «...а то мне без ласковых слов невозможно жить. И я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный».

И вдруг: «...а что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению, так наверно и проживу, как всегда жил».

В общем — жестокий красавец! И вдруг подписывает: «Ваш дряхлый

друг Михаил».

Вот еще воспоминание о Зоценко, записанное со слов Евгении Хин, ехавшей с ним одним поездом в Коктебель в мае 1938 года (из статьи И.А. Свириденко «Крым в судьбе и творчестве Зоценко»):

«...Она заметила Зоценко еще на вокзале. Он был в сопровождении молодой спутницы, “звонко болтавшей рядом”, был учтив, но отстранен. Как будто погружен в свой внутренний монолог. (В связи с этим вспоминается отрывок из его биографической повести “Перед восходом солнца”: “К. без конца что-то говорит. Но я не очень вникаю в ее речь. Я слушаю ее слова, как музыку”)....»

Да, картинка, безусловно, эффектная. Но это еще не все. Хин вспоминает: «...пара прощалась перед моим окном. Вдруг, к моему удивлению, женщина поцеловала руку своему спутнику, а затем стала целовать другую — и еще, и еще! И он, мягко и снисходительно улыбаясь, тоже прикоснулся губами к ее руке».

Да-а. Сказать, что Зоценко так уж «морально раздавлен» нападками врагов, нельзя... Человек цену себе знает! И «лучшая из оценщиц» — молодая поклонница! Зоценко можно понять: должен же он хоть как-то отпраздновать свой феноменальный успех — не все же время оправдываться перед партийцами!

«...сопоставляя даты и факты, — пишет исследователь, — можно предположить, что той женщиной была Ольга Шепелева». Той, что целовала его руки. В 1994 году опубликованы письма Зоценко Ольге Шепелевой, в том числе и его письма из той поездки в Коктебель. Из этих писем следует, что Зоценко раньше уже бывал с Ольгой Шепелевой в Коктебеле — и только вот теперь, увы, не сложилось: «В первый день поглядел в ваше окошечко, где вы жили...»

Обращение на «вы» с близкими людьми — это стиль Зоценко, «светский», но слегка снисходительный, высокомерно-отстраненный...

Главные удовольствия в Коктебеле он получал, по воспоминаниям Хин, «от литературных игр и танцев лунной ночью под патефон и шум моря».

Однако в письме своей возлюбленной Ольге он все рисует иначе: «Вечерами уж очень нечего делать. Тут, правда, танцуют под патефон в столовой. Но более трех пар не бывает. И партнерши жутковатые...» Скучает, стало быть!

Уже давно Зоценко нет — а каждый его шаг скрупулезно исследуют. Несчастливая судьба? Или, наоборот, счастливая? Надо сказать, что абсолютно все поклонницы Зоценко оставили о нем воспоминания самые

восторженные. Та же Евгения Хин пишет: «...очаровательный собеседник, огромная эрудиция которого облекалась в столь изящную форму, что не только не задевала никого, но наоборот — возвышала. Трудно себе представить кого-то еще, перед кем легче было бы исповедаться, открыть свое самое заветное и трудное...»

...В этом женщинам Зоценко помогал. А женщины помогали жить ему, вытаскивали его из депрессий. Постоянно окруженный юными красавицами, «моралистов» он, безусловно, раздражал и славой, и «моральным обликом».

Во все свои частые приезды в Коктебель Зоценко проявлял постоянство: жил в одном и том же отдаленном домике, в комнате № 10, в столовой сидел за одним и тем же столом, куда к нему никого не подсаживали. Но, несмотря на отстраненность, он сразу же стал «лидером кружка» (по свидетельству Е. Хин).

Когда ему показалось, что Дом творчества в Коктебеле выглядит неприглядно, он написал письмо, как помним, — «серапиону» Всеволоду Иванову, который в то время возглавлял Литературный фонд. И дружески попросил его выделить деньги, причем немалые, на ремонт коктебельского Дома творчества. И деньги были выделены. И Дом отремонтирован. Зоценко отнюдь не был беспомощен, силу свою он знал и умел ею воспользоваться.

В сентябре 1938-го он снова выезжает на отдых в Коктебель — и снова, по свидетельствам очевидцев, пользуется вниманием «муз». И правильно! Не все же время о неприятностях думать.

Он не чувствовал себя «морально скованным» — о его романах можно написать целую книгу. Правда, в его отношениях с женщинами все больше проявляется некоторая холодность, и даже — легкое осуждение. Вот воспоминание С. Гитович:

«Михаил Михайлович беззвучно смеялся.

— А вот хотите, — сказал он, — я вам расскажу о женской лжи? Когда-то у меня была возлюбленная, имевшая мужа-ревнивца, который старался ее не отпускать никуда ни на шаг. Несмотря на это, она ухитрялась со мной встречаться, придумывая различные уловки. Так, однажды она сказала дома, что у нее уезжает подруга, которую она должна проводить на вокзал, а сама пришла ко мне.

И вот, сидя в рубашечке на краешке стола, она звонит мужу и сладким голосом говорит, что только что отошел поезд и она скоро будет дома. “Но поезд отходит в десять часов пять минут, а уже одиннадцать”, — резонно замечает муж. “Не знаю, как по твоим, — запальчиво говорит она, — но по

вокзальным десять”».

Присущие ему скепсис и меланхолия порой отравляют чувства. И — Зоценко не был бы собой, если бы не изобразил свои «терзания» в самом ироническом стиле:

«Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами.

Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха.

Мужчины — те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации.

Там и сям слышу фразы:

— Эво, какое чучело! Поглядите, как, подлец, нарядился! Как, — говорят, — ему не стыдно? Навернул на себя три километра материи.

Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной.

Я иду, как сквозь строй, по бульвару, неясно на что-то надеясь.

И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством.

Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину. После чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив. Прилично одетая дама, с остатками поблекшей красоты, пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано все хорошее.

Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно люблю стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин.

Я подмигиваю Пушкину: дескать, вот, мол, началось, Александр Сергеевич.

Я снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением.

Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа. И уже хочу уйти. И уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики.

Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит:

— Извините, уважаемый... Очень, — говорит, — мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку.

«Ну да, конечно, — думаю, — неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты».

Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с

напругой.

Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Нуда, конечно, это ее пальто! Краденое пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто.

Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю.

А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру и вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание.

«Ах, вот отчего на меня не смотрят! — говорю я сам себе. — Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни».

Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке, со смятым сердцем, выхожу на улицу.

«Ну ладно, обойдусь! — говорю я сам себе. — Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу. Не только света в окне, что женщина».

Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого.

«Это брехня! — говорю я себе. — Это досужие выдумки! Типичный западный вздор!»

Я хохочу. Плюю направо и налево. И отворачиваю лицо от проходящих женщин.

Но вот что интересно — этот небольшой случай произошел со мной года два назад.

И хотя за эти два года я, казалось бы, еще больше постарел, но тем не менее этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И, главное, смешная подробность: я в это лето одевался, как нарочно, исключительно худо. Ходил черт знает в каких штанах и в дырявых спортивных туфлях. И вот тем не менее это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен, и даже мы вскоре женимся по взаимной любви».

Да, несмотря на годы, всё новые «музы» появляются в жизни Зоценко. Они помогают ему... а потом уже и спасают его!

И пора уже сказать о главной «музе» и спасительнице Зоценко — Лидии Александровне Чаловой. Начало их романа (по воспоминаниям С. Гитович) было таким:

«...Вот по длинному коридору в расстегнутом пальто и темной кепке медленно идет Михаил Михайлович. В вывернутой руке, как ружейный приклад, он держит тугой колючий ананас, издали похожий на черепаху.

Тогда ананасы были в диковинку, и все встречные с интересом смотрели на Зоценко, на большой с прозеленью ананас и знали, что он его несет старшему техреду, роковой женщине — Лидочке Чаловой. Любопытные сослуживцы, как бы невзначай, проходя, открывали дверь и заглядывали в комнату техредов, и мне сквозь раскрытую дверь был виден заваленный бумагами стол, и на гранках, как бронзовый идол, стоял ананас, а над ним маячило розовое, хорошенькое личико Чаловой.

Напротив ее стола сидел Михаил Михайлович — подтянутый, изящный, вежливый, смотрел на нее печальными глазами и, улыбаясь, ей что-то говорил.

Потом я видела, как Лидочка надевает синюю поддевичку с серой мерлушкой и, сунув Михаилу Михайловичу свой портфель, в одну руку берет ананас, а другой цепляется за рукав Зоценко и, смеясь и что-то щебеча, уводит его коридором Госиздата».

Дорога их оказалась длинной.

ОРДЕНОНОСЕЦ

Зимой 1938 года Зощенко с триумфом приезжает в Москву. О нем даже пишут газеты: «Сегодня утром “Красной стрелой” прибыл писатель Михаил Зощенко». Замечательно проходит его «творческий отчет» в Большом зале московского Дома писателей. Слушают и хохочут Павленко, Кирсанов, особенно шумен Алексей Толстой. «Миша. Умоляю! Про золото прочти!» — восклицает он, изнемогая от смеха. И их радость можно понять — всё заседания да заседания, все требуют «расстрелять предателей»... а встреча с Зощенко — радость и праздник! Что Зощенко любимый автор, и даже для писателей, подтверждается еще раз.

Шестнадцатого ноября 1938 года он, как один из наиболее популярных и авторитетных писателей, избран в Президиум Ленинградского отделения Союза писателей СССР.

В солидном Гослитиздате выходит книга «Избранное», тиражом 20 тысяч экземпляров.

В составе писательской делегации он едет в Киев на торжества по случаю 125-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

Знаменитейший чтец Яхонтов, до того исполнявший в основном классику, выступает с чтением рассказов Зощенко в Большом театре! Апофеоз!

Выходит в свет его прелестная книжка «Умные животные» с великолепными рисунками Н. Альтмана.

Проходит творческий вечер Зощенко в МГУ — доклад делает В. Шкловский, рассказы читает Яхонтов... Бывает в жизни счастье!

Первого февраля 1939 года опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении советских писателей». Подготовка этого списка была связана с большой суетой и тревогой в писательском мире. Список составляли московские литературные вожди — Фадеев, Павленко, учитывалась каждая мелочь. И если кого-то не оказывалось в списке награжденных — это грозило серьезными опасностями. Видимо, в чем-то проштрафился? Известно, как переживал, не обнаружив себя среди награжденных, Пастернак. Зощенко был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 17 февраля 1939 года в Кремле происходит вручение ордена. Есть фотография — председатель Верховного Совета Михаил Иванович Калинин, седой, с бородкой клинышком, вручает орден Михаилу Михайловичу Зощенко.

Процедура награждения была довольно шаблонной: стоя у стола, Калинин вручал награжденному коробку с орденом, говорил «Поздравляю, товарищ!» — и пожимал ему руку. Все так и шло, покуда к столу не приблизился Зоценко. Протянув ему коробку с орденом, Калинин обеими руками задержал руку Зоценко, поближе всмотрелся в его лицо и с ласковым каким-то удивлением сказал:

— Вот вы, оказывается, какой, Михаил Михайлович!

Калинин, «второй человек» в советской иерархии, любил и читал Зоценко, в его библиотеке были книги любимого автора!

О последовавшем после вручения триумфе Зоценко пишет Ольге Шепелевой: «В гостинице “Ривьера” оркестр играл туш, когда я вошел в зал. В зале народ аплодировал. Так что хожу тут как герой Советского Союза. Получил сорок телеграмм с поздравлениями».

Но Зоценко помнит и о тех, кто в беде. Именно в 1939-м Зоценко и Вера Владимировна берут в свою семью пятнадцатилетнюю дочь арестованных Авдашевых, отбывшую свой «срок» в детском доме... Потом эта девушка оставит замечательные воспоминания о Зоценко.

В мае 1939 года проходит вечер «орденоносца» Зоценко в ленинградском Доме писателей — и на вечере выступают Ю. Тынянов, Е. Петров (соавтор И. Ильфа), В. Каверин, кинорежиссер Л. Трауберг.

Не надо думать, что жизнь в те времена состояла лишь из стукачей и предателей: были достойные люди, великолепные компании!

В Ленинградском отделении Союза советских писателей самой многочисленной творческой секцией была секция прозы. В ней состояли и активно работали Федин, Шишков, Тынянов, Алексей Толстой, Тихонов, Мих. Козаков, Слонимский, Лавренев, Каверин.

Замечательные писатели, классики! И все они любили Зоценко и чрезвычайно высоко его ценили.

В июне 1940-го «Литературная газета» печатает объявление: «В ближайшее время поступит в продажу юбилейное издание рассказов Михаила Зоценко “Уважаемые граждане”, выпущенное издательством “Советский писатель”. Книга включает лучшие произведения Зоценко и является творческим отчетом писателя за последние 15 лет работы — с 1923 по 1938 год. Издание прекрасно оформлено и проиллюстрировано автолитографиями Евгения Кибрика».

О чем еще и мечтать?

Расширяя, так сказать, «свой диапазон», Зоценко пробует себя и в других жанрах. Пишет детские рассказы. Здоровье и воспитание детей, забота о подрастающем поколении выходят в те годы на первый план.

Сталин часто теперь фотографируется, особенно во время парадов, с веселыми детьми.

Разные серьезные мероприятия, вплоть до съездов, принято начинать выступлениями детей, где они звонкими голосами не только приветствуют депутатов очередного, но порой смело критикуют взрослых — мало уделяете внимания детям! Тут серьезные дяди хлопали, улыбались, умилялись — какие красивые, здоровые и, главное, смелые дети растут. Дети — витрина общества! Официально и неоднократно провозглашалось: «У нас нет теперь привилегированных классов. Но один привилегированный класс все же есть. Это — дети!» «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — такой лозунг тогда висел на многих детских учреждениях, и действительно оттуда доносились звонкий смех и веселые песни. Что здесь плохого? Казалось, что и писать об этом легко и приятно — какие еще «засады» могут тут быть?

Впрочем, в прошлой главе мы видели, что не всем детям везло — некоторых после ареста родителей отправляли в спецучреждения... Но об этом и не писали. У нас — счастливое детство! И Зощенко, видный советский писатель, не мог остаться в стороне. Зощенко пишет для детей, для журналов «Чиж» и «Еж». Эти «тихие заводы счастливое детства» казались уютными и спасительными — в «Чиже» и «Еже» нашли приют Шварц, Алейников, Хармс — самые яркие и экстравагантные таланты. Тут, казалось, можно было порезвиться с меньшим риском — детские произведения могут быть и чудачковатыми, — чего теперь совсем уже нельзя было делать в литературе для взрослых.

Но и с детскими книгами все было непросто. Громили Чуковского за «Муху-цокотуху» — что это за пример для детей?

В 1937 году происходит разгром ленинградского Детгиза, где были лучшие детские писатели и художники. Не то пишут и рисуют, что нужно советским детям! Готовился уже арест самого Маршака, и он спасся только бегством — уехал из Ленинграда, а когда вроде поутихло, объявился в Москве. И вскоре выпустил знаменитые книги — в частности, переводы английской поэзии, которые до сих пор считаются лучшими. Помню, как еще в детстве очаровала меня поэма «Вересковый мед»... Маршак уцелел.

В декабре 1937 года выходит первая книга Зощенко для детей — «Смешные рассказы о животных», тираж 100 тысяч, с иллюстрациями его друга художника Радлова, тоже большого выдумщика и весельчака. Вот уж, казалось бы, где можно пофантазировать, ничего не боясь! Вряд ли животные, притом веселые, способны участвовать в каких-либо заговорах или входить в какие-нибудь «антипартийные группировки»! Веселимся,

ребята! Зоценко пишет легко и беззаботно. Белочка летает по воздуху, держась за ниточки, которые тянут вверх птички. В другом рассказе белка придумывает использовать гриб, как зонт и как парашют. Вот рассказы «Умный гусь», «Умная курица». А в рассказе «В гостях у клоуна» — целый «умный зверинец». «Пила-рыба пилит дрова, обезьяна на крыше трубу чистит. Дятел носом приколачивает доску, которая отвалилась. А у крыльца на лестнице лежат два огромных льва и хвостами машут...» Вон бьет фонтан — но на самом деле «это кит плавает и шалит под водой! Зайцы посуду моют. Белки сапоги чистят. Крабы орехи колют. Жираф с фонарем освещает дорогу». Все при делах!.. И никакого, упаси Боже, троцкизма.

Следующая детская книга «Лелька и Минька» уже несколько ближе к жизни — в ней рассказывается о детстве Зоценко. Что может быть плохого в детстве? Вспоминая проказы, зачинщицей которых чаще всего была старшая сестра, неугомонная Лелька, и он, Минька, в них участвовал, автор теперь пишет про это с раскаянием: нельзя обманывать людей, потешаться над ними — жизнь за это накажет.

В рассказе «Находка», вспомним, они с Лелькой берут коробку из-под конфет, сажают туда паука и лягушку и, перевязав коробку красивой ленточкой, бросают на тротуар перед своим домом — и ждут, когда прохожий радостно схватит коробку, а потом увидит в ней лягушку и паука! И через много лет Зоценко попал в такую же ловушку! В этой веселой книге про детские шалости звучит серьезная, даже горькая мысль: обманывать — грех!

Уже уверенный, что нашел новый, безопасный жанр, и уже, как говорится, «схватил Бога за бороду», Зоценко берется за главную тему — «Рассказы о Ленине», для детей.

Он теперь даже любит выступать, на ленинградской комсомольской конференции произносит речь: «Я попробовал свои силы в трудной теме — написал двенадцать рассказов о Ленине. Причем рассказы эти написаны по фактическому материалу. В каждом рассказе показана та или иная черта характера великого человека. Сложенные вместе, рассказы должны дать образ великого человека...» Уж автору «Рассказов о Ленине» — думал, наверное, Зоценко — ничего не грозит. И не подозревал, что именно тут и подстерегает его главная опасность. Казалось, он нашел нужный тон, легкий, непринужденный, — рассказ о каком-то происшествии из жизни Ленина в доступной детям форме с ненавязчивым, но важным выводом в конце.

Книга «Рассказы о Ленине» дважды переиздается, второй раз в 1941-м, огромным тиражом! Зоценко вовсе не собирается «выпадать» из списка

советских писателей — это грозит и бедностью, и кое-чем пострашнее, а «политические указания» писателям становились все строже... И что, казалось бы, лучше «Рассказов о Ленине»? Тут и раннее детство Ленина («Графин»), и рассказы, посвященные юности Ленина («Рассказ о том, как Ленин учился», «Рассказ о том, как Ленин бросил курить»), началу его революционной деятельности («В тюрьме», «Рассказ о том, как Ленин перехитрил жандармов», «Иногда можно кушать чернильницы»).

«Рассказы о Ленине» удостоились большой рецензии В. Ковнатора, опубликованной в журнале «Ленинград». Книгу он поначалу хвалит: «Написанные с предельной простотой, необычайно чисто и ясно, рассказы Зощенко о Ленине, конечно, далеко выходят за рамки детского чтения. В особенности это относится к лучшим рассказам цикла, таким, как “Графин”, “Охота”, “Как Ленин перехитрил жандармов”».

Но критик находит и неточности. Зощенко пишет в рассказе «Иногда можно кушать чернильницы», что Ленину в тюрьме не разрешали писать, и он стал писать великую свою книгу «Развитие капитализма в России»... молоком на полях других книг, а чернильницу делал из хлебного мякиша и потом съедал, уничтожая улики. Рецензент указывает, что «великую книгу» Ленину писать, наоборот, разрешали, о чем он и сообщал в письмах сестре, требуя принести ему в тюрьму нужные материалы. Однако Ленин еще продолжал руководить из тюрьмы «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», и вот писать революционные указания, воззвания и листовки тюремщики действительно Ленину не разрешали — их-то он и писал молоком из хлебной чернильницы. Критик упрекает Зощенко в том, что вот эту революционно-молочную деятельность Ленина он неправильно отразил. Да, опасно связываться с вождями — обязательно «ляпнешь» что-то не то.

Умильный, ласково-поучительный тон «Рассказов о Ленине» склоняет читателя к тому, чтобы согласиться с автором в его высокой оценке образа вождя, — но то и дело выскакивают неожиданные вопросы. Скажем, рассказ «Охота», который рецензент хвалит. Ленин вообще-то любил охотиться. То есть, говоря грубо, — стрелять в зверей. Но однажды увидел вдруг такую красивую лису... что не мог выстрелить! Трогательно. И, можно сказать, — человечно. Правда, возникает вопрос: перестал ли он после этого охотиться вообще? Или — самый популярный рассказ сборника, считающийся самым «человечным», неоднократно переиздаваемый отдельно — «Ленин и печник». Ленин, живя в Горках, во время прогулки в лесу видит деревенского печника (вообще-то неприятного, как сообщается, человека), который к тому же пилит дерево!

Ленин делает ему замечание, а печник отвечает грубостью. Через некоторое время к нему в избу входят два красноармейца и ведут к Ленину. Печник, конечно, перепугался и понял, что пришел конец!.. Но Ленин, лукаво улыбаясь, попросил его об одолжении — починить в доме дымоходы. Печник, конечно, и мы в полном счастье... Непонятно только: если Ленин был такой добрый, чего печник так испугался? Может, слышал что-то другое про Ильича? А тут, оказывается, пили деревья, груби — Ленин лишь ласково улыбнется. Пересластил автор!

Нестыковочка получается и с рассказом «Ленин и жандарм». Пришел, видите ли, с обыском, не предупредив — а тут, у Ленина, запрещенные материалы на полках. Вопрос: начнет с верхней полки или с нижней? Если с верхней, пока до нижней дойдет, устанет — а самое опасное там, может, и пропустит! Но жандарм очень маленький (здесь как бы подразумевается, что Ленин повыше будет), а раз маленький — обязательно снизу начнет. И тут Ленин, лукаво улыбаясь, подставил ему стул, тот взобрался на него и начал с верхней — до нижней не дошел, терпение лопнуло... Вопрос: в книге «Лелька и Минька» автор писал, что обманывать гадко, или — революционерам можно? Теперь другая мораль?

Но главную ошибку Зощенко допустил в другом рассказе — «Ленин и часовой», оказавшемся самым «роковым» в этой книге. Ленин ищет по карманам свой пропуск в Смольный.

«А в тот момент подошел к дверям Смольного один какой-то с усиками и, видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился и крикнул: — Это же Ленин! Пропустите!»

Ленин в рассказе, конечно же, приструнил «усики», а часового, наоборот, поблагодарил за отличную службу. Но критик В. Ковнатор, написавший рецензию, оценил этот сюжет как грубую ошибку: «Ведь каждому ясно, что “один какой-то с усиками” — антиобщественный мелкий крикун, может быть, это даже один из стаи “примазавшихся”, которых с таким талантом и блеском осмеивал и разоблачал в своих произведениях Зощенко. Но разве с таким персонажем может быть сравнено поведение Ленина?» То есть подобный тип и близко не должен оказываться рядом с великим Лениным, даже в рассказе! Но самое страшное — «один какой-то с усиками» мог принять эту карикатуру на свой счет...

Кроме детской литературы, Зощенко ищет себя и в других жанрах. Видимо, надеется: новый жанр — новая, спокойная жизнь. Как говорится — запасной аэродром.

Весь 1937 год продолжаются интенсивные попытки И.Г. Лежнева,

одного из редакторов «Правды», главной правительственной газеты, привлечь в нее Зощенко как постоянного фельетониста. Предложение, конечно, лестное — на страницах «Правды» фамилия смотрится! И Зощенко вроде бы и пытается, но к началу 1938-го «прошел» только один его фельетон! Не рожден он для роли «фельетониста при правительстве». Больше таких попыток он не делает.

Зато пишет документальную прозу. Совсем не реагировать в то время на все «решения и постановления» было невозможно. Нужно было как-то «встраиваться», демонстрировать лояльность. Он и сам менялся с годами, разочаровывался в своих ранних гениальных рассказах, в его сознание не могли не проникать настойчиво внушаемые мысли о воспитательной сущности литературы, об общественной ее значимости, служении интересам государства и т. д. В том, что гениальный писатель вдруг хочет «отдохнуть» от своей гениальности, приносящей столько проблем, и написать что-то обычное, «как все», ничего позорного нет. «Сплошная гениальность» утомляет. Вспомним, что и сам Пушкин в последние свои годы писал «Историю пугачевского бунта», документальную вещь, где образ Пугачева рисовался совершенно иначе, нежели в «Капитанской дочке» — и связывал с «Историей бунта» вполне определенные надежды.

На одной из встреч с общественностью, которые теперь проводились для писателей часто, Зощенко заинтересовал рассказ одной женщины, и он делает на основе этого документальную повесть «Возмездие». В ноябре 1937 года повесть выходит в «Новом мире». Жизнь героини, ее работа служанкой, вынужденная связь с белым офицером, затем превращение ее в советскую активистку — все это изложено очень подробно. Запись эту мог сделать и любой другой литератор — но Зощенко «участвовал в процессе», как и положено. Действительно, менялась страна, происходил грандиозный процесс появления «нового этноса» — советских людей, со всеми их достоинствами — и особенностями. И совсем игнорировать этот процесс, делать вид, что в стране ничего не происходит, было бы неверно.

Еще в 1936 году, к пятнадцатилетию судоподъемной организации «ЭПРОН», он пишет документальный очерк «Черный принц» — об истории подводных работ по поднятию со дна Черного моря английского корабля «Черный принц», затонувшего во время Крымской войны, как считалось, с грузом золота. Зощенко вообще интересовался техникой и наукой, в его бумагах много черновиков на эти темы. А кроме всего, тема воды, как он признавался, мистически волновала его, сколько он себя помнит. После рассказа о иностранных подводных экспедициях идет рассказ про советский ЭПРОН — Экспедицию подводных работ особого

назначения, которая «Черного принца» тоже не нашла, но зато воспитала мужественных водолазов, подводных умельцев, поднимающих из пучины корабли... Вспомним рассказ Зоценко двадцатых годов «Серенада» — о том, как хилый студент победил в конце концов здорового водолаза, и тот сбежал. К тем водолазам, о которых Зоценко пишет сейчас, это не относится: они не отступят!

В 1937 году, к двадцатилетию революции, Зоценко пишет уже упомянутую повесть о Керенском — «Бесславный конец», и в 1938-м в журнале «Литературный современник» повесть выходит. От любимого нами Зоценко здесь очень мало. Вспоминается только одно отличное место, где Зоценко пишет: Керенский так «взвинчивает» свои выступления, что кажется — сейчас запоем «Все васильки, васильки!».

К юбилею «великого kobзаря» Тараса Шевченко Зоценко пишет документальную повесть. Уж не превращается ли он в «среднего советского писателя»? Возможно — дольше бы жил?

Зоценки покупают дачу в Сестрорецке. 1939 год, наверное, самый успешный в жизни Зоценко, и самый спокойный. И похоже — последний, когда он пишет смешные рассказы.

Осенью он уезжает работать в Коктебель — и в ноябре читает в ленинградском клубе писателей новые рассказы. Среди них вполне «зоценковские» — «Людоед», «Роза-Мария», а также «Последняя неприятность» — один из последних веселых рассказов Зоценко. На похоронную тему.

«Последняя неприятность»

На этот раз позвольте рассказать драматический эпизод из жизни умерших людей.

А так как это факт, то мы и не позволим себе в своем изложении допускать слишком много смеха и шуток, для того чтобы не обидеть оставшихся в живых.

Но поскольку эта история до некоторой степени комична и смех, как говорится, сам по себе может прорваться, то мы заранее попросим у читателя извинения за невольную, быть может, нетактичность по отношению к живым и мертвым.

Конечно, сам факт в своем первоначальном смысле ничего комического не имел. Наоборот, умер один человек, один небольшой работник, индивидуально незаметный в блеске наших дней.

И, как это часто бывает, после смерти начались пышные разговоры: дескать, сгорел на своем посту, ах, кого мы потеряли, вот это был человек, какая жалость, друзья, что мы его лишились. Ну ясно, конечно, безусловно, при жизни ему ничего такого оригинального никто не говорил, и он, так сказать, отправился в дальний путь, сам того не подозревая, что он собой представляет в фантазии окружающих людей.

Конечно, если бы он не умер, то еще неизвестно, как бы обернулась эта фантазия. Скорей всего, те же окружающие, как говорится, загнули бы ему салазки или показали бы ему кузькину мать и где раки зимуют.

Но поскольку он безропотно умер, то вот оно так и получилось божественно.

С одной стороны, друзья, прелестно умирать, а с другой стороны — мерси, лучше не надо, как-нибудь обойдемся без вашей чувствительной благодарности.

Короче говоря, в том учреждении, где он работал, состоялась после занятий беседа, и на этой беседе вспоминали разные трогательные эпизоды из жизни умершего.

Потом сам директор взял слово. И в силу ораторского искусства он загнул свою речь до того чувствительно, что сам слегка прослезился. И, прослезившись, похвалил умершего сверх всякой меры.

Тут окончательно разыгрались страсти. И каждый наперерыв старался доказать, что он потерял верного друга, сына, брата, отца и учителя.

Из рядов вдруг один пронзительно крикнул, что надо бы захоронение попышней устроить, чтобы другие служащие тоже стремились бы к этому.

И, видя это, они, может быть, еще более поднажмут и докажут всем, что они этого заслуживают.

Все сказали: это правильно. И директор сказал: пусть союз на стенку лезет — захоронение будет отнесено на казенный счет.

Тогда встал еще один и сказал, что таких замечательных людей надо, вообще говоря, хоронить с музыкой, а не везти молча по пустынным улицам.

Тут, утирая слезы, встает со своего места родственник этого умершего, его родной племянник, некто Колесников. Он так говорит:

— Боже мой, сколько лет я жил с моим дядей в одной квартире! Не скажу, чтобы мы часто с ним ругались, но все-таки мы жили неровно, поскольку я и не думал, какой у меня дядя. А теперь, когда вы мне об этом говорите, каждое ваше слово, как расплавленный металл, капает на мое сердце. Ах, зачем я не устроил уютную жизнь моему дяде! Теперь это меня будет мучить всю мою жизнь. Нет, я не поленюсь смотаться в одно

местечко, где, как мне известно, имеется лучший духовой оркестр из шести труб и одного барабана. И мы пригласим этот оркестр, чтобы он сыграл моему дяде что-нибудь особенное.

И все сказали:

— Правильно, пригласи этот оркестр, и этим ты частично загладишь свое хамское поведение по отношению к своему дяде. Уж, наверно, у вас с ним был ежедневный мордобой, и только тебе неловко нам в этом признаться.

Короче говоря, через два дня состоялось захоронение. Было много венков, масса народу. Музыканты действительно играли недурно и привлекали внимание прохожих, которые то и дело спрашивали: “Кого хоронят?”

Сам племянник этого дяди подошел на ходу к директору и так ему тихо сказал:

— Я пригласил этот оркестр, но они поставили условие — заплатить им сразу после захоронения, поскольку они вскоре уезжают на гастроли в Старую Руссу. Как нам поступить, чтобы заплатить им без особой мотни?

Директор говорит:

— А разве за оркестр не ты будешь платить? Племянник удивился и даже испугался. Он говорит:

— Вы же сами сказали, что похороны на казенный счет. А я только бегал приглашать оркестр.

Директор говорит:

— Так-то так, но как раз оркестр у нас по смете не предусмотрен. Собственно говоря, умерло маленькое, незначительное лицо, и вдруг мы с бухты-барахты пригласили ему оркестр! Нет, я не могу на это пойти, мне союз за это холку намнет.

Которые шли с директором, те тоже сказали:

— В конце концов, учреждение не может платить за каждого скончавшегося. Еще скажи спасибо, что заплатили за грузовик и за всякую похоронную муру. А за оркестр сам плати, раз это твой дядя.

Племянник говорит:

— Что вы — опухли, откуда я двести рублей возьму?

Директор говорит:

— Тогда сложишься вместе со своими родственниками и как-нибудь вывернись из беды.

Племянник, сам не свой, подбежал на ходу к вдове и доложил ей, что происходит.

Вдова еще больше зарыдала и отказалась что-либо платить.

Колесников пробился сквозь толпу к оркестру и сказал им, чтобы они перестали дудеть в свои трубы, поскольку дело запуталось и теперь неизвестно, кто будет платить.

В рядах оркестрантов, которые шли строем, произошло некоторое замешательство. Главный из них, который махал рукой и бил в медные тарелки, сказал, что он это предчувствовал. Он сказал:

— Музыку мы не прекратим, а доиграем до конца и через суд потребуем деньги с того, кто сделал заказ.

Тогда Колесников снова на ходу пробился к директору, но тот, предвидя неприятности, сел в машину и молча отбыл.

<...> Начались разговоры, расспросы и шептанья, тем более что кто-то пустил слух, будто директора срочно вызвали по вопросу о сокращении штатов в их учреждении.

В общем, к кладбищу подошли в полном беспорядке. Само захоронение состоялось в крайне быстром темпе и без речей. И все разошлись не особенно довольные. И некоторые бранили умершего, вспоминая из его мелкой жизни то одно, то другое.

На другой день племянник умершего дяди до того нажал на директора, что тот обещал согласовать вопрос с союзом. Но при этом сказал, что дело вряд ли пройдет, так как задача союза — заботиться о живых, а не валандаться с мертвыми.

Так или иначе, Колесников пока что продал свое драповое пальто, чтобы отвязаться от оркестрантов, которые действительно ни перед чем не остановились бы, чтобы получить свои пречистые. <...>

Будучи выпившим, племянник этого дяди пришел ко мне и, утирая рукавом слезы, рассказал мне об этой своей мелкой неприятности, которая для него была, наверно, далеко не последней.

Для дяди же эта мелкая неприятность была последней...»

Но для Зощенко, увы — нет!

ДЕЗЕРТИР

«Ход истории» не обещает спокойной жизни. В 1939 году начинаются военные действия — Гитлер готовит захват Европы, 1 сентября немецкие войска вторгаются в Польшу. И наши войска 17 сентября выступают навстречу им, расширяют наши границы, присоединяют Западную Белоруссию и Западную Украину. И конечно же, литература, боевой отряд партии, должна поддержать действия государства. На обложке журнала «Ленинград» — усатый белорус в вышитой рубашке обнимается с русским воином-освободителем в каске и с винтовкой в руке. Под картинкой — стихи.

Мы вас в неволе не забыли,
И к вам, униженным в тоске,
В тяжелый час мы дверь открыли...

Главная, передовая статья на первой странице, написанная Михаилом Слонимским, одним из братьев-«серапионов» (которые когда-то провозглашали независимость от политики), называется «Книга жизни». Посвящена она «Краткому курсу истории ВКП(б)», который «ориентирует в жизни и борьбе». И пример этой «ориентации» — правильная позиция советских людей в любых ситуациях, которые вот и сейчас «с огромным воодушевлением узнали... о решении правительства нашего прийти на помощь братским народам Западной Украины и Белоруссии». Да — год был непростой, требующий «подъема духа всего народа», и не последняя роль тут отводилась писателям.

На четвертой странице — отрывок из повести нашего давнего знакомого Чумандрина «Друзья из нового Тарга», о том, как двух парней, поляка и украинца, упекли в тюрьму за то, что они вступили в драку, защищая односельчанина. Действие происходит еще до семнадцатого года — в камере они встречают «пана», который вдруг «весело рассмеялся, и вокруг его глаз разбежались тысячи мельчайших морщинок». И этот «пан» оказывается не кем иным, как Лениным, посаженным в польскую тюрьму в августе 1914-го по «нелепому обвинению» в шпионаже. И уже тогда он объяснил крестьянам, как надо им жить, освобождаться от гнета... Так сказать, «вправил им мозги»! И вот в 1939-м русские их освободили! Вот

такой отрывок. Писатели работали, не зря ели хлеб. И у Зощенко в самом конце 1939-го в Детиздате выходят «Рассказы о Ленине» с иллюстрациями великолепного художника Тырсы. Писатель в строю!

Книги Михаила Зощенко продолжают выходить: «Рассказы» в Гослитиздате (тираж 40 тысяч экземпляров); «1935–1937. Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика» с рисунками Пахомова (тираж 15 тысяч); «Уважаемые граждане» с иллюстрациями Е. Кибрика (переиздание, тираж 10 тысяч); «Самое главное» в Детиздате, художник А. Успенский (тираж 100 тысяч); «Самые умные» с иллюстрациями Радлова (тираж 50 тысяч). И Пахомов, и Кибрик, и Успенский, и Радлов, и Тырса, оформляющие книги Зощенко той поры, — замечательные художники, его веселые друзья.

Литература и культура по-прежнему в центре внимания руководства страны. 16 мая 1941 года опубликовано постановление Совета народных комиссаров СССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы. Вот отрывок из постановления:

«...Большевики, которых еще так недавно злостные клеветники из буржуазной прессы именовали “врагами цивилизации”, “варварами”, “гуннами”, “каннибалами”, “разрушителями культуры”, повели народы путями величайших культурных побед.

...Кто у нас не знает великолепной скульптуры В.И. Мухиной, украшавшей советский павильон на Парижской выставке и ныне стоящей у входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку?

...Кому не известен актер Б. Бабочкин, воплотивший на экране образ замечательного народного героя гражданской войны — Чапаева?

...Кому из советских людей не близка та оптимистическая лирика, которой пронизаны последние произведения композитора Д. Шостаковича?

...Творчество мастеров, удостоенных звания сталинских лауреатов, дорого и близко советскому народу.

Премии по литературе отмечают лучшие произведения, созданные нашими писателями за последнее пятилетие.

...Мы приветствуем замечательных беллетристов:

автора романа “Петр I”, прославленного мастера слова Алексея Николаевича Толстого;

автора монументальной исторической эпопеи о героической борьбе русских людей, романа “Севастопольская страда”, одного из старейших наших писателей — Сергея Николаевича Сергеева-Ценского;

автора “Тихого Дона” — поэтичнейшего романа современности — Михаила Александровича Шолохова...»

Отмечались и литераторы национальных республик — Янка Купала, Павло Тычина, Николай Вирта. В общем, «парад» советской культуры и литературы радовал глаз!

1941 год начался для Зощенко удачно. В феврале в составе официальной делегации писателей он выезжает в Тбилиси... Можно представить себе, как пышно их принимали!

Двадцать второго июня Германия нападает на СССР.

Прошедший уже одну войну, Зощенко и сейчас не пытается спрятаться и 22 июня подает заявление в военкомат с просьбой послать его на фронт добровольцем, но еще в 1917-м он был признан негодным к военной службе (диагностирован порок сердца вследствие отравления газами в Первую мировую), и ему отказали.

Но уже на второй день войны, 23 июня, он получает приглашение от замечательного режиссера Николая Акимова, возглавлявшего Ленинградский театр комедии. Акимов пригласил в театр Зощенко вместе с драматургом Евгением Шварцем и заказал им антифашистскую пьесу. Акимов считал, что в силу своей непохожести они будут дополнять друг друга и создадут замечательную пьесу. Пьеса «Под липами Берлина» была ими написана за полтора месяца! 12 августа состоялась премьера. Особого успеха у ленинградцев она не имела. Развеселое, балаганное изображение сумасшедшего Гитлера и его идиотского окружения соответствовало бы, по меткому замечанию Шварца, настроению 1945 года, но тогда, в 1941-м, немцы были на подступах к городу, начались уже перебои с питанием, люди чувствовали, что надвигается нечто ужасное, и хохотать совсем не хотелось. В зале вместо ожидаемого смеха стояло тягостное молчание. А как писал Акимов: «В жанре комедии без поддержки зрительного зала работать невозможно!» Не только зрители расстроили Зощенко. По свидетельству Веры Владимировны, сестра Михаила Михайловича, Валентина, с ужасом укоряла его: «Что ты сделал, Михаил? Немцы не сегодня-завтра возьмут Ленинград и всех нас повесят!» Пьеса, может, была и неплохая, но зритель был не в том настроении. И вскоре пьесу сняли.

До начала сентября Зощенко активно работает в Ленинграде, пишет антифашистские фельетоны для радио и газет. 18 сентября его вызвали в Смольный и предложили эвакуироваться. Тогда бытовало выражение «золотой фонд деятелей культуры» — и Зощенко причислили к нему. Зощенко сказал, что подумает — он должен позаботиться о семье, жене и сыне. После разговора с Верой Владимировной он позвонил в Смольный: «Можно взять с собой в эвакуацию жену?» — «Да». — «А сына?» — «... Военнообязанный?» — «Да». — «Нельзя». «Тогда я тоже останусь!» —

сказала Вера Владимировна.

Наступил «переломный момент» в жизни Зощенко, «переломивший» и его семью, и литературную судьбу. Зощенко не знал, как быть. Однажды ночью он дежурил на крыше, как многие ленинградцы. На чердаках было приготовлено спецоборудование — большие щипцы, которыми надо было хватать сбрасываемые на город «зажигалки», и ящик с песком, в котором надо было эти «зажигалки» тушить. По небу ходили лучи прожекторов, лоя «крестики» немецких самолетов — и тогда сразу вступали зенитки. И вдруг Зощенко позвали снизу. Он спустился во двор, и какой-то человек сказал ему, что надо срочно собираться, через два часа вылет.

Начался новый и весьма важный этап его жизни. Не только литературной, но и личной. Влюблялся Зощенко, как уже говорилось, часто, с прежними возлюбленными поддерживал потом легкие дружеские отношения — но именно в эвакуации развился его самый серьезный любовный роман, не похожий на другие.

Речь идет об уже знакомой нам Лидии Чаловой. Познакомились они еще в 1935-м, в Гослитиздате, где она работала техническим редактором.

Михаил Михайлович ухаживал деликатно. Лидия познакомила его с мужем, и они часто проводили время вместе в интересных беседах. Когда в 1938 году муж Лидии Александровны, военный инженер, погиб на испытаниях, Михаил Михайлович всячески помогал ей, утешал, бывал у нее дома, всегда приносил что-то вкусное, и — говорил. Чаще всего, по ее воспоминаниям, он говорил о задуманной им повести «Ключи счастья» (которая потом превратилась в книгу «Перед восходом солнца»). Он был увлечен этим замыслом и мог говорить о нем часами. Как добиться счастья, освободиться от черных дум и меланхолии — тема эта была для Зощенко чрезвычайно важна. Он хотел, вспомнив всю свою жизнь, найти причину постоянных, порой необъяснимых страданий и, устранив ее, сделаться счастливым. Зощенко всегда увлекался наукой, читал множество медицинских и научных книг, и свято верил, что изменить жизнь можно «научным путем».

Конечно — они не только разговаривали. Весьма сдержанная в выражении чувств, Чалова рассказывает, как они ходили с Зощенко на футбол вместе с Шостаковичем и художником Лебедевым, вспоминает, что Зощенко любил пасьянсы и гадания и верил в них... Поскольку жили они недалеко друг от друга — Зощенко на канале Грибоедова, а Лидия на улице Жуковского, переписки между ними тогда не было. Первое письмо Зощенко ей написал о своем отъезде в эвакуацию:

«...Сегодня утром должен был лететь, но произошла заминка. Едва

подъехали к аэродрому — началась бомбежка. Полежал в канаве со своими спутниками — престарелыми академиками. Потом часа два ждали, пока придет все в порядок. После чего академики отказались лететь.

Я был в сомнении. Но увидел во всем этом некоторое дурное предзнаменование и тоже присоединился к академикам. Полетел один Мигай (оперный певец).

В общем, не знаю, как будет обстоять дальше. Возможно, что сегодня позвонят и прикажут лететь...»

Вылетел он из Ленинграда 21 сентября 1941 года. В легком пальто и с чемоданчиком в руках. В чемоданчике — только материалы для его «главной книги» и ее черновая рукопись. Сначала эвакуированные прилетели в Москву. Там предложили на выбор Ташкент или Алма-Ату. Зощенко выбрал Алма-Ату, поскольку туда был эвакуирован «Мосфильм» и можно было работать сценаристом. В конце октября он написал Лиде, что Алма-Ата «очень красивый город»... Через месяц сообщил, что работает «в “Мосфильме”».

Из письма Чаловой от 20 мая 1942 года:

«...Работаю на кинофабрике. Скучаю по своей основной работе. Но заняться моим делом пока затруднительно.

Условия жизни средние, но, в общем, прожить можно. Здоровье тоже среднее, немного сложно для моего сердца (здесь высота 1000 метров). Так что были так называемые “высотные” болезни — слабость и утомление чрезвычайные. Сейчас освоился — лучше...»

В Алма-Ате собрался весь цвет кинематографа, здесь был великий Григорий Александров, снявший знаменитые фильмы, любимые массами: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»... Песни из его фильмов на слова Василия Лебедева-Кумача распевала вся страна. Зощенко пишет сценарий для Александрова под названием «Опавшие листья». Надо отметить, что именно в годы войны были сняты фильмы, ставшие культовыми, сверхпопулярными, — «Небесный тихоход», «В шесть часов вечера после войны»... Это были этакие «военные оперетты», с песнями и танцами, с популярнейшими актерами — Крючковым, Меркурьевым, красавцем Самойловым... К реальной войне они мало имели отношения, но настроение у людей поднимали. Зощенко «не вписался». Наверное, он и не мог работать для кого-то, не для себя. Мешал и замкнутый его характер. Киношники, по многочисленным свидетельствам, «общались» в Алма-Ате бурно. Зощенко из дома не выходил. «Непруха» преследовала Зощенко. 29 мая 1942 года он сообщил Чаловой очередную нерадостную весть:

«...Написал хороший сценарий для Александрова, но он неожиданно

тяжело заболел. Некоторый рок продолжает висеть над моими драматургическими опытами...»

Поняв, что ничего здесь не склеится, хотел бежать из Алма-Аты. Писал Чаловой 12 июня 1942-го: «...Было решил ехать в Ленинград — можно было добиться командировки, но немного утратился пути — очень уж долго ехать, а сердце у меня сейчас что-то не особенно хорошее — побоялся заболеть в дороге. К тому же страшно жарко, а ехать через пустыню 5–6 дней. Тут вопрос с жарой немаловажный. Черт меня дернул куда заехать! Надоело мне тут изрядно. И работа в кино не очень удовлетворила».

Он понимал, что должен отработать свой хлеб, что-то написать. Кроме «Опавших листьев», пишет сценарий военного фильма «Трофим Бомба» (опять-таки почему-то не снятый и опубликованный позже под названием «Солдатское счастье»). Пишет антифашистские фельетоны и рассказы из военного быта — многие из них изданы тоненькими книжечками. Все еще надеется на драматургию. Пишет Лиде: «Буду пробовать снова для театра — тут у нас театр Завадского — так что пишу для него...»

Пьесы, написанные для этого театра, сохранились. Это — «Строгая девушка» и «Маленький папа», видимо, отвергнутые именитым режиссером. Совсем недавно в журнале «Звезда» была опубликована комедия «Маленький папа». Впечатление грустное. Нет и следа того сокрушительного, «людоедского» юмора, который был в ранних зощенковских рассказах, где герои позволяли себе все. Здесь — осторожность. Война все-таки. Надо быть бдительным, не выдавать врагу наши слабости. Вся «заморочка» пьесы в том, что юный лейтенант, решивший взять на воспитание сироту, выглядит слишком молодо, и его постоянно принимают за кого-то другого. Да, потерял Зощенко былую лихость. Да и времена — не его. Вообще «халтуры» ему плохо удаются. Ахматова называла это — «золотое клеймо неудачи». Судьба уводит гения от мелких, ненужных ему удач, выгодных халтур, приводит к нищете, к отчаянию, к созданию главной его вещи — наверняка не прибыльной и даже опасной... И Зощенко бросается, как в омут, в работу над повестью «Перед восходом солнца».

Это была первая абсолютно «открытая книга» Зощенко, где он писал не от имени «водопроводчика», а от себя, тонкого и остро чувствующего интеллигентного человека. И писал с небывалой, не принятой тогда в литературе откровенностью обо всех и обо всем, и прежде всего — о себе.

Я уже эту книгу цитировал, когда писал о юности Зощенко. Еще не закончив труд, он уже мучился вопросом: отдавать ли эту книгу в печать?

Конечно, книга Зощенко, написанная в Алма-Ате, разительно отличалась от всего, что создавалось в литературе в то время. Зощенко написал во вступлении к ней:

«Эту книгу я задумал очень давно. Сразу после того, как выпустил в свет мою “Возвращенную молодость”. Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги. И выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу.

Но этого не случилось.

Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились. Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда. Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.

Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью. В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата. Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны. Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал. По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.

Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.

— Ничего, — говорил я сам себе, — тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.

Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда — вот этого я установить не решался.

“Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу? — как-то подумал я. — Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает ‘философию’ фашизма, которая говорит, что сознание

приносит людям неисчислимыя беды, что человеческое счастье — в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации. Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем”. В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе».

Это вошло уже у него в привычку — работая над очередной «рискованной книгой» (а таких у него — большинство), в разных многочисленных вступлениях и отступлениях он уговаривает будущего редактора, или — начальника, или — себя, что как раз эта книга чрезвычайно нужная, созвучная времени, направленная «в аккурат» на борьбу с недостатками и на торжество идей. Однако хилый аргумент — моя работа опровергает «философию фашизма» — вряд ли мог кого-то убедить. Книга была написана совсем не об этом. Вот фрагмент:

«Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.

Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.

В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.

Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.

Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч... Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускло в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.

Я был несчастен, не зная почему.

Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.

“Мир ужасен, — подумал я. — Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада”.

Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:

Высший дар нерожденным быть,
Если ж свет ты увидел дня —
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись родное небытия.

Конечно, я знал, что бывают иные взгляды — радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.

Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.

Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.

“Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа”, — бубнил я какие-то строчки, не помню, какого автора.

Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. “Меланхолики обладают чувством возвышенного”, — писал Кант. А Аристотель считал, что “меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения”.

Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни.

Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я был родом.

Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума».

Книга посвящена поискам источника горькой меланхолии, отравившей Зоценко жизнь. Автор провозглашает, что, найдя причину меланхолии, устранив ее, станет счастливым — и, таким образом, не только спасет себя, но и поможет страдающему человечеству.

И откровенно пересказывает самые горькие события своей жизни. Может быть, в них причина неизбывного горя? Благодаря этим «поискам первопричин» написалась замечательная автобиография Зоценко. И не только его портрет — а картина всей мучительной эпохи: ломка прежней жизни, прежних идеалов, приход новой грубой реальности. Это — одна из лучших книг о том времени.

Много там и философских, научных рассуждений — происходила и «разруха в умах», религия заменялась модными философскими течениями, учением Фрейда.

Выразительно и откровенно пересказав самые волнующие эпизоды жизни — и любовь, и войну, и мучительные попытки стать своим в новой грубой реальности, Зоценко, однако, не находит в них ничего такого, что стало бы причиной его постоянного чувства отчаяния. Тогда он обращается к «досознательному» периоду жизни, ищет причины ужаса в сохранившихся обрывках младенческих впечатлений, анализирует свои самые страшные сны. И, скрупулезно восстановив их, находит повторяющиеся мотивы, наводящие наибольший ужас: образ нищего, протянутая неизвестно откуда рука, темная вода и непонятно откуда

появившиеся в снах рычащие тигры.

Я тоже помню младенческий страх своего погружения в воду, когда меня мыли. Очевидно — поскольку я еще и не плавал, и не тонул — это страх атавистический. Ведь по науке жизнь началась в воде, и дальний наш «предок» типа полурыбы-полуящерицы выполз на сушу, приспособился — и возможно, стал бояться воды.

Зощенко, вспоминая рассказы матери о том, как она его отлучала от груди, приходит к выводу: потому так страшна в его снах рука! Это — рука матери, не подпускающая его к соску, источнику питания, а ему мерещилось, что теперь он умрет от голода. Он смутно вспоминает, как однажды его страх еще более усилился — была невероятная гроза с сотрясающими дом раскатами грома — и, видимо, отсюда в его снах появились грозные, рычащие тигры.

Безусловно, такие воспоминания делают человека богаче, глубже — если это стереть, в памяти останется только хождение на службу и обратно, а это лишь малая часть огромной таинственной жизни. Стирание «лишнего», духовного, превращение человека в рабский бездушный автомат связано в нашем сознании именно с фашизмом, и в этом смысле книга эта действительно — антифашистская. Но в те дни, когда страна сражалась с фашизмом реальным, слишком тонкие и отвлеченные рассуждения Зощенко в самом деле могли показаться бегством от суровой реальности.

Литература в те дни занималась совсем другим. Многие писатели оказались на фронте, чаще всего — военными корреспондентами. Есть много фотографий знаменитых писателей, тогда еще молодых, выглядевших в военной форме естественно и даже молодцевато: Твардовский, Симонов, Тихонов, Слуцкий.

И рядом с их книгами, рожденными на войне, с описанием людского горя и подвигов, с тем же «Василием Теркиным» Твардовского, размышления Зощенко о том, что главная причина человеческого горя — отлучение от материнской груди, могли показаться эгоистическими. Но писатель всегда живет только тем, что пишет, и в это время уверен, что пишет «самое главное». О той трагической ситуации, в которой оказываются люди сочиняющие, точно написал Пастернак:

Что ему хвала и слава, и народная молва,
В миг, когда дыханьем сплава
Слово сплавлено в слова?
Он на это мебель стопит.

Дружбу, совесть, разум, быт.
На столе стакан недопит.
День не прожит. Век забыт.

И в другом стихотворении — еще точнее и короче:

...какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Писателю, когда он «в угаре» творчества, по большому счету — наплевать, какое тысячелетье. А писатель, который то и дело выглядывает в форточку — что там на дворе? — пишет «для времени», но не для вечности, и уходит вместе со временем. Да, Зощенко, работая над своей главной, как он считал, книгой — «Перед восходом солнца», «стопил» в этой «печке» многое. И прежде всего — свою прижизненную литературную карьеру. Погубил ее. Но — спас свое имя.

Работал над книгой он рядом с любимой женщиной, главной музой его и помощницей — Лидией Чаловой. Судьбе было угодно соединить их. Чалова, оказавшись в блокаде, написала, что хотела бы приехать к нему, причем с матерью и сестрой, родившей ребенка. Организовать выезд из блокады того Ленинграда было непросто, да еще находясь в Алма-Ате. Но обязательный Зощенко, который никогда не хлопотал за себя, трудную просьбу Лидии Чаловой сумел исполнить. И Чаловы, эвакуировавшись по Ладогe, в сентябре 1942-го приехали. Красивые плоские предгорья, буйная растительность — и в небе снежные шапки гор. Сухо, жарко — но иногда с высоты вдруг приходит прохладное дуновение...

Лидия Александровна пишет о встрече так:

«На алма-атинском вокзале, когда я впервые взглянула на Михаила Михайловича, то глазам своим не поверила. Я видела дистрофиков в Ленинграде, сама была почти что дистрофик, но чтобы здесь, в глубоком тылу, так ужасно мог выглядеть человек — нет, это было невыносимое зрелище! Я спросила, как ему удалось довести себя до такого состояния? Он сказал, что получает четыреста граммов хлеба, половину съедает, а половину обменивает на пол-литра молока и луковицу. Таков, мол, его дневной рацион. Я спросила: “И у вас на студии все так живут?” Он ответил: “Кое-кто, конечно же, чего-то там достает, но, ты же знаешь, я этого делать не умею”».

То есть Зоценко, сочиняя книгу о спасении жизни, так увлекся, что себя едва не погубил. Если бы не Лида...

«На другой день я пошла на студию. Михаил Михайлович работал в сценарном отделе. Вместе с ним работали Михаил Блейман, Юзеф Юзовский, Леонид Жежеленко, а заведующим был Николай Коварский. Я спросила Коварского: “Вы ведь, наверное, получаете какие-нибудь лимиты?” Он подтвердил: “Конечно”. “А почему же Михаил Михайлович не получает?” Николай Аркадьевич опешил: “Как не получает?!” Оказалось, ни ему, ни кому другому из сотрудников отдела в голову не приходило, что Михаил Михайлович чуть ли уже не год живет, отоваривая лишь хлебную карточку.

Я вызвала врача. Он определил: дистрофия. Написал справку. С помощью этой бумажки сценарный отдел выхлопотал Михаилу Михайловичу месячное питание из больницы Совнаркома. Такое обильное, что хватало на двоих. Но месяц прошел, нужно было оформлять право на получение питания по лимиту, а Михаил Михайлович вдруг заупрямился. Нужно было идти в торговдел, а он не хотел просить, не хотел писать. Говорил, что это неудобно — во время войны. Я сказала: “А удобно умирать во время войны в Алма-Ате от дистрофии?” И все-таки заставила написать в торговдел. Взяла записку и вот прихожу. Мне говорят: “Как? Зоценко в Алма-Ате уже год? А мы ничего не знаем. Вот о Маршаке знаем. Он каждый месяц приходит за дополнительными талонами на масло... Неужели Зоценко не знал о лимитах? Как странно...”

А сердце у него действительно было очень больное. Как-то у него началось воспаление среднего уха. Пришла врач, захотела его прослушать, а он не дает, не разрешает даже прикоснуться к груди. Видимо, боялся услышать что-то такое, чего не хотел знать. Все же она его уговорила, а потом шепнула мне, уходя, что с таким сердцем его надо держать под стеклянным колпаком... Какая же это была мука — видеть, что у него начинается приступ, и быть бессильной помочь! Сколько же это раз было: идем по улице, вдруг он становится бледным, в глазах испуг, и говорит еле слышно: “Мне надо постоять. Повернись, как будто ты шла мне навстречу, и вот мы с тобой встретились, разговариваем...” Он не хотел, чтобы люди увидели его в этом состоянии. В центре города всегда топталась масса знакомых, и он стеснялся предстать перед ними больным и слабым».

Здесь, в отрыве от дома, оказалось вместе много талантливых, известных людей. И все они хотели видеть любимого Зоценко, общаться с ним. Михаил Михайлович и по нездоровью, и по стеснительности чаще отказывался — но иногда соглашался. Были в гостях у актера Чиркова,

ставшего знаменитым после фильма «Юность Максима», где он пел полюбившуюся всем песню «Крутится-вертится шар голубой». Спел ее и для гостей. Сходили к великому режиссеру Эйзенштейну.

Жили они с Лидой в одной квартире — но Лида на «хозяйской половине», где жила хозяйка с тремя детьми, а Зоценко был предоставлен кабинет. Однажды они с Лидой вспоминали Ленинград, общих знакомых, и она рассказала один эпизод: немцы разбомбили пассажирский пароход, и один из пассажиров, спасаясь, схватился за «рогульку» на немецкой плавучей мине. Через некоторое время она услышала смех хозяев: Зоценко читал им «Рогульку», свой новый рассказ. Лидия вдруг обиделась, сказала, что случай этот трагический, и смеяться тут нечему. Да — музы вдохновляют писателей, но порой весьма скептически оценивают результат. Они поссорились. Лидия Александровна была женщина волевая, на все имела свой взгляд, не случайно стала авторитетным редактором — а писатели страх как не любят, когда их учат. Но куда им было деться друг от друга в Алма-Ате? Трудности укрепляют любовь.

Но и упрямый Зоценко, и принципиальная Лидия не оставили никаких воспоминаний собственно о любви — о чувствах, разговорах, разных трогательных подробностях, из которых и лепится любовь... Лида, наверное, не случайно работала редактором, и твердо знала, что нельзя публиковать. Поэтому картин их любви не сохранилось. И Зоценко к открытому проявлению чувств был не склонен. Всё больше говорили о литературе. Лида, обидевшись на «Рогульку», утверждала, что время «уморительных» зоценковских рассказов прошло, что таких бескультурных «дикарей», какие действуют в них, больше нет. Зоценко нервничал. Упреки в том, что он в своем творчестве «оторвался от жизни», злили его больше всего. И он старался, как мог, доказать, что люди — всегда одинаковы, а значит, и произведения его всегда актуальны. Лидия Александровна вспоминала:

«Слушая “Рогульку”, я не могла не думать о недавно покинутом мной Ленинграде, о страшной жизни под ежедневным обстрелом, и мне, честно говоря, было совсем не до смеха. И я сказала, что, может быть, не надо было писать эту “Рогульку”. Что сама по себе история, конечно, забавная, но уместно ли обращать в шутку в общем-то горькое, трагическое происшествие? Ведь рассказ будут читать наши бойцы. Что они скажут?»

Он очень рассердился. Сказал, что я ничего не понимаю. Он сам воевал и хорошо знает, как смех, веселая шутка необходимы на фронте. Смех скрашивает тяжелый окопный быт, отвлекает от грустных мыслей, поднимает боевой дух и так далее. Короче говоря, я прослушала целую

лекцию о смехе на войне.

Вообще, когда он сердился, он вдруг начинал говорить очень четко, размеренно, как бы чеканя каждое слово. Как бы вдалбливая в тебя свое несогласие. Однажды я завела разговор о том, что сейчас нет тех людей, о которых он писал в двадцатые годы, что люди сильно изменились. И только он стал “чеканить” слова, как неожиданно погас свет. Я вызвала электротехника. Пришла женщина лет примерно тридцати. Смотрит в заявку: “Зоценко?.. Это какой Зоценко? Я думала, писатель Зоценко умер. Вы предок писателя Зоценко?” Михаил Михайлович аж заикаться стал: “Какой это... предок? Я и есть... писатель Зоценко”. А она так недоверчиво на него смотрит. Так и читаешь в ее глазах: дескать, как это может быть? Пушкин умер, Гоголь умер, а почему же Зоценко жив? Разве бывают живые писатели?.. Словом, Михаил Михайлович страшно разнервничался и ушел к себе в комнату. А когда эта женщина ушла, сказал, как и до ее прихода, четко выговаривая слова: “Вот видишь? Ты говорила, что не осталось людей с тех двадцатых годов. А ведь она — техник. И, наверное, со средним образованием. А уровень?..”»

Зоценко считал, что он доказал, будто старые его дикие и необразованные герои еще живы, и значит, прежние рассказы не устарели — и «Рогулька» годится. Но твердо убежденная в своей правоте, Лида стояла на своем.

Но относительно главной его книги, которую Зоценко писал в Алма-Ате, она всегда поддерживала его:

«Когда я приехала, Михаил Михайлович писал киносценарий “Трофим Бомба” (позже он был напечатан под названием “Солдатское счастье”) и одновременно работал над своей “главной книгой” — “Перед восходом солнца”. Он очень много над ней сидел, дорожил каждой свободной минутой. Просто изнурял себя. Потом я не раз слышала от самых разных людей: Зоценко, мол, сам виноват, что попал под разгром; с чего это он вдруг во время войны занялся “самокопанием”?»

Слышать подобное для меня всегда было невыносимо. Какое там самокопание! Своей книгой он хотел помочь людям. Научить их, сообразуясь с собственным опытом, регулировать свою жизнь. Он понимал, что книга его — не ко времени. Но что ему было делать? Он говорил, что у него плохое сердце и он страшно боится умереть, не закончив книгу».

И боль в сердце, конечно, не становилась меньше от того, что Зоценко все яснее понимал — он опять пишет «скандальную книгу»! Понимал, конечно, и «несвоевременность» своего труда. Кто еще в войну посмел бы писать о таком «сугубо личном», казалось бы? Но чаще всего именно

«сугубо личное» сохраняется в веках, а «общественное» уходит вместе с очередным обществом. «От литературы в веках сохраняется лишь гротеск», — сказал Марсель Пруст, и, думается, он прав. Скажем, «Дон Кихот» — отнюдь не «типичный представитель», а сумасшедший, преследуемый окружающими, и он остался на века. В своем роде таким «сумасшедшим, преследуемым окружающими» оказался и Зоценко. Возможно, он проиграл в том времени, но он один из немногих, кто имеет шансы остаться в вечности. Он понимал «несвоевременность» своей книги. Но рукопись «жгла». Это знакомо каждому писателю — узнать «цену» своей рукописи во что бы то ни стало... пусть даже ждут унижения и преследования!

Зоценко стал рваться из Алма-Аты. Такой идеи, чтобы собрать знаменитостей, оказавшихся здесь, и прочесть им написанное, у него не возникало. Страшно! Пусть оценят где-нибудь там... в Москве. И там «оценили»!

Так получилось, что большая беда Зоценко началась с удачи. В конце апреля 1943-го Зоценко вызывают в Москву, аж в ЦК ВКП(б), и предлагают высокую должность главного редактора «Крокодила». Главным редактором стать Зоценко отказывается, но входит в редколлегию журнала. Это дает ему возможность остаться в Москве и даже поселиться в гостинице «Москва», недалеко от Кремля. Очевидцы пишут, что в тот год, после нашей победы в Сталинграде, настроение у людей стало меняться, начал появляться вкус к жизни, и сама Москва, и гостиница «Москва», куда начинает стекаться вся культурная элита, становятся модными — возникает активное общение, ощущение некоего «ренессанса». И Зоценко чувствует — наступил подходящий момент «показать» свою книгу. Вдруг на фоне «общего подъема» удача выпадет и ему. Он живет в номере лучшей гостиницы, среди знаменитостей, которые приняли его появление так тепло... «Так что, чего же особенно ждать?» — как говорит в рассказе Зоценко сапожник Снопков. И Зоценко взял и сделал: сдал свою рукопись «Перед восходом солнца» в журнал «Октябрь». В мае он заканчивает седьмую главу. Читает готовые главы в «своем кругу» — Н. Тихонов, В. Шкловский... Отзывы одобрительные. Среди многих «экспертов», кому рукопись послалась на отзыв, был брат-«серапион» Константин Федин — и отзыв он дал положительный!

Зоценко отнюдь не новичок — «ходы» знает. Заручается поддержкой академика А.Д. Сперанского, одного из самых авторитетных патофизиологов, который прекрасно к Зоценко относится. Главы книги вместе с отзывом Сперанского читают в Ц.К. Зоценко заканчивает

восьмую и девятую главы.

Авторитет его и сейчас высок. Он выступает в московском Союзе писателей на творческом совещании «Сатира и юмор в дни Отечественной войны», ему есть что показать — сценарии, книжечки с его фельетонами и антифашистскими рассказами. В журнале «Октябрь» (№ 6–7) выходят первые главы повести «Перед восходом солнца».

Он пишет Лидии Александровне Чаловой, самому близкому в тот момент человеку:

«...Ты хотела получить от меня большое письмо. Вот, изволь. Напишу обо всем по порядку. Жизнь тут весьма сложная, и чтобы не сбиться (написал было — спиться), буду писать по параграфам.

1. Еда. Первый месяц я тут ни черта не получал. Нужна была прописка (постоянная). Без этого карточек не давали. Дали только хлебную (командировочную) и обед в Союзе. Обед приличный, весьма обильный. Так что при моем аппетите мне хватало его на целый день. Баночки масла, что я вез из Алма-Аты, мне хватило на месяц. Так что с питанием было удовлетворительно. Еще шлялся по гостям (тут в гостинице почти весь Ленинград). В гостях тоже кормили. Сейчас дали два пайка, кроме обеда. Получил всякую муру — фасоль, масло, печенье, консервы и т. д. Дали без прописки. Следующий месяц как-то, вестимо, придется прописаться. Гостиница нас прописывает временно.

2. Комната. Через месяц стали из гостиницы выгонять. Выгоняют всех, кто живет больше 1–1½ мес. А так как я приехал не по доброй воле, я вызван (и я упирался), то кто-то кому-то сообщил, и мне разрешили находиться в гостинице сколько вздумается. Честь невелика. Но здесь удобно. Свет и даже горячая вода. И одеяло. И белье. При моем нищенском хозяйстве — это необходимо. Что будет дальше, неизвестно. Кинокомитет грозил, что даст квартиру. И в ЦК тоже об этом говорили...

3. Положение. Ввели в редколлегию “Крокодила”. Вызвали и предложили быть ответственным редактором. Я еле смог отказаться. Вот уж была бы для меня беда. Просили улучшить журнал. Стараюсь и трачу много времени на это. Но будет ли толк, не уверен. Беда не в нас, а в цензуре и войне, с которой смех мало вяжется.

Тут в Москве начальство меня весьма “ласкает”. Нет, кажется, журнала, который бы меня не тянул к себе. Не хватает мужества всем отказывать. И это очень дурно. Начну писать пустяки. Физически невозможно писать много и почти все об одном и том же. От множества предложений болит голова, потерял память — забываю, что кому обещал.

Платят же, кстати, ерунду. Будущее покрыто мраком. Долго невозможно выдержать такую суету, которая вокруг происходит.

4. Работа. По этой причине работа идет не так, как хотелось бы. Перескакиваю с одной темы на другую. Ох, превращусь в газетного репортера. От этого страдает и моя большая работа. Приходится писать урывками. А то и ночами.

Большую книгу я ведь еще не закончил. В поезде я написал две главы — V “Черная вода” и VI “Перед восходом солнца”. Здесь в Москве только отдал эти главы. И написал еще новую часть VII.

Еще порядочно осталось. И как я управлюсь — не представляю. Отказаться от журнального фельетона нельзя. Все — начальство. И некоторые почти приказывают.

5. Книга. С книгой моей обстоит дело пока что не только хорошо, но даже великолепно. Я не видел такого волнения, которое я увидел у тех, кто ее читал. Я услышал наивысшие комплименты. И от редакции, и от литераторов. Меня тут упростили читать. Читал писателям (в небольшом кругу). Два дня. Такой реакции мне еще не приходилось видеть.

Кстати, скажу. Редакция “Октября” дала книгу на проверку Сперанскому. Тот дал наивысший отзыв. Сказал, что с точки зрения науки это точно. Не сделал никаких поправок. Звонил мне и сказал, что это поразительная книга. Однако выразил сомнение в том, что я смогу в полной мере доказать тему (то есть об условных рефлексах, о практическом применении системы Павлова). Тут он ошибается. Все будет доказано математически точно.

В общем, книга произвела большой шум. Сейчас ее читают в Ц.К. После чего она пойдет в VI № “Октября”. Если, конечно, цензура не наложит руку. Редакция уверена, что ничего не случится. Я не очень. Но почему-то я даже не слишком огорчусь. Мне было важно написать, а не напечатать...»

Из письма от 10 сентября 1943 года:

«...Пришлось купить костюм — здесь “шикарная” жизнь, и мне в моем тряпье неудобно было ходить и тем более выступать перед чистенькой публикой. Поэтому задолжался.

Если ты не обойдешься с деньгами, то займи (отдадим!), либо ликвидируй все мое барахло — пиджак, штаны, халат и т. д. Все это мне теперь не нужно, так как на мне отличный костюм и второй отремонтирован. В общем, сообрази, как сделать...

Журнал “Октябрь” вышел. Не посылаю тебе, потому что случилось необыкновенное — мне с трудом дали 2 номера и я дал почитать знакомым

и до сих пор не получил. Номера пошли по рукам. И просто исчезли. Завтра мне даст редакция еще один номер, который я сохраню для тебя. Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками, говорят, что такого случая у них не было: журнал исчезает, его крадут, и редакция не может мне дать лишнего экземпляра. Я помню, нечто подобное было с “Возвращенной молодостью”. В общем, шум исключительный. Можно представить, что будет после второй части, когда начнется толкование снов.

Ты знаешь, Лидуша, я тут было хотел вообще не печатать книгу. Получается столь интимно и откровенно, что стало мне не по себе. Верней, я хотел прекратить печатание после 1-й части. Все-таки — живой автор. А тут будут люди копать в моих любовных и прочих делах. Стоит ли это?

Решил положиться на судьбу — втайне надеюсь, что всю книгу не напечатают. Где-то она запнется. Скорее всего III и IV части цензура не пропустит. Кроме утешения, от этого ничего не получу. Говорю об этом, не позируя, — действительно не хотел бы, чтоб книга вышла сейчас. Одно дело писать, а другое дело представить себе читателя за этой книгой. Да еще с улыбочкой на морде.

В общем, две части ЦК пропустил, хотя во второй части — анализ и толкование снов имеется... В Гослитиздате все знакомые лица — тут и Чагин, и Горский, и Владыкин. Надеюсь, тебе интересно будет зайти в это богоугодное заведение...»

Во второй половине сентября Лидия Александровна, поняв из писем, в каком мучительном напряжении проходит жизнь Зощенко, приехала к нему. И стала работать в том самом «богоугодном заведении», называемом Гослитиздат — заведующей технической редакцией. Зощенко жил в гостинице «Москва», на десятом этаже, в одноместном номере. С утра отправлялся в «Крокодил», возвращался смертельно усталый и — садился заканчивать повесть.

Лидия Александровна приехала вовремя. В жизни Зощенко разразилась катастрофа. Гораздо более страшная, чем были раньше. Позже выяснилось — что бывает и хуже... Но в то время — это было самое страшное. Когда наконец он дописал последние страницы и надеялся, возможно, на какую-то передышку — «прогремел гром»: дальнейшая публикация повести распоряжением сверху была запрещена.

Вроде бы «ничто не предвещало». Имелись хорошие отзывы о повести авторитетных людей — Николая Тихонова, Виктора Шкловского...

Гостиница «Москва», огромное здание (знакомое, кстати, каждому россиянину, поскольку изображено на водочной этикетке), в те годы представляла собой «Ноев ковчег» — здесь находились весьма многие,

если не все «звезды». И «вспышка молнии», поразившей Зощенко, очень ярко «осветила» всех. Стало ясно, кто чего стоит.

Еще внимательнее и ласковее стал знаменитый «Чапаев» — актер Борис Бабочкин. Свободно встречался и разговаривал как ни в чем не бывало Аркадий Райкин. Из укрывшихся в «ковчеге» писателей наиболее стойким оказался Борис Горбатов — часто заходил. Приходили в гости Анатолий Мариенгоф и Михаил Слонимский.

Часто заходил Шостакович. Как вспоминает Чалова: «Они были на “вы”, но говорили друг другу — “Миша”, “Митя”».

И дальше — самое горькое из ее воспоминаний:

«В гостинице “Москва” жил в то время Николай Семенович Тихонов. Я знала, что в молодости они с Михаилом Михайловичем были достаточно тесно связаны, входили в одну и ту же литературную группу “Серапионовы братья”. Да и потом, в тридцатые годы, они были близки. Правда, теперь Тихонов ходил в больших литературных чинах, но мне казалось, что это не должно влиять на их отношения. Более того, я была убеждена, что силой своего авторитета у высокого начальства Тихонов, как никто другой из писателей, мог бы помочь оказавшемуся в беде старому товарищу. И я, ничего не сказав Михаилу Михайловичу, отправилась на свой страх и риск в его номер. Стыдно сказать: Николай Семенович насмерть перепугался моей просьбе вступить за Зощенко. За все время совместного пребывания в гостинице он так ни разу и не поднялся к Михаилу Михайловичу...

Помню слова Михаила Михайловича перед тем, как он пошел в “Крокодил”: “Если не позвоню в семь часов, то дело плохо”. Он опасался, что его заберут прямо из редакции. Он все время ждал, что его могут арестовать. Но вот он вернулся, сказал, что его исключили из редколлегии, но это не страшно, если, конечно, решено ограничиться для него только этой мерой наказания. Словом, он был не так уж расстроен. Наверное, потому, что ожидал худшего....Когда мы спустились, навстречу вышла большая компания, и среди всех — недавно вернувшийся из эмиграции Александр Вертинский. Высокий Вертинский выступил вперед и почтительно поклонился небольшому Михаилу Михайловичу. И наговорил массу хороших слов. Он, конечно, знал, в какую беду попал Зощенко. Это было видно уже по тому, как сочувственно и нежно заглядывал Вертинский в его глаза. Михаил Михайлович очень любил песни Вертинского, и ему было приятно узнать (это была их первая встреча), что Вертинский, по-видимому, тоже ценит его работу. Через несколько дней они увиделись вновь: на сей раз в занимаемом семьей Александра Николаевича двухкомнатном номере гостиницы “Метрополь”.

Вскоре после Нового года в Москву съехались делегаты на очередную сессию Верховного Совета, и Михаила Михайловича, в числе прочих «наименее ценных» постояльцев, выселили из гостиницы. Началась кочевая жизнь».

Шестого декабря 1943 года состоялось обсуждение книги на «расширенном заседании Президиума Союза советских писателей!» Звучит грозно и торжественно. Какое внимание!

Заседание вел сам Александр Фадеев! Участвовали О. Форш, С. Маршак, Л. Соболев, В. Шкловский, критик Я. Кирпотин.

Зоценко в своем выступлении настаивал на том, что он написал «антифашистскую» книгу, но не был понят. У всех понятие о фашизме твердо было связано с идущей войной, и заявления Зоценко многим показались надуманными и неискренними. Однако уверенность Зоценко в нужности книги поддерживалась в нем многочисленными письмами читателей, прочитавших повесть в «Октябре»: «...я в каждой строке, как в зеркале, видел самого себя», «книга глубоко затронула», «более чем ко времени написали свою превосходную вещь...» Так что Зоценко казалось, что он достаточно «вооружен». Он выдвинул неожиданную концепцию, как ему казалось, надежную: «В данном случае я являюсь мишенью своего сатирического произведения!» Не убедил. Эта вещь Зоценко, особенно рядом с его уморительными рассказами двадцатых годов, на фоне всего его знаменитого творчества, «сатирической» ну никак не выглядела! Странно, что и Чехов почему-то считал свой «Вишневый сад» комедией!

Отрицательно на этот раз, в отличие от первого раза, оценил книгу Виктор Шкловский: «...Это не победа над болезнью, это болезнь проникла в него».

Тут, конечно, надо знать Шкловского: эффектная фраза, которая самого его восхитила, была для него намного важнее, чем дружба. Он мог через час сказать что-то абсолютно иное! — лишь бы это было смело, не банально, ярко! А потом уже становилось все более заметно, что все его знаменитые парадоксы имеют «нужное направление».

Книгу не принял даже Маршак, причем он говорил абсолютно искренне: «В данном случае, с самыми лучшими намерениями, с попыткой поделиться с людьми тем, что якобы принесло пользу ему самому, все-таки автор вступил на довольно поверхностное соединение науки и искусства». И это верно. Соединение действительно не «глубинное»! Авторы, как это часто случается, оценивают, да и понимают свое произведение абсолютно неправильно. И зря Зоценко так «декларировал» научность. Не в этом блеск!

Ольга Форш книгу тоже не похвалила, но пыталась убавить горечь, заметила, «что книга не совсем “вне традиций”, у нее есть предшественники, например, “Исповедь” Жан-Жака...». Хотя и это не поддержка — с советской точки зрения и Жан Жак Руссо сомнителен.

Будучи никем не понят, Зоценко обиделся. «Зоценко обиделся!» — это была любимая присказка еще у «серапионов». Но каждый раз его обида была все сильнее.

«Здесь я чувствую, — сказал он, — какую-то враждебность, которой я не заслуживаю, и в той степени неуважение, какого я не испытывал за все два года моей работы. Ни у кого не нашлось ничего сказать в мою защиту».

Обиделся, в общем, правильно, потому что старый друг «серапион» Николай Тихонов, тот прямо назвал на этом заседании «Перед восходом солнца» «вредным произведением», а чуть позже в журнале «Большевик» (1944. № 3) отхлестал своего бывшего друга в статье «Отечественная война в советской литературе». Потом, правда, столкнувшись с Зоценко лицом к лицу, лепетал, что его заставили... Что-то не похож он на прежнего гусара.

Показал себя и Константин Симонов, который тогда был на пике популярности. Стихи его знали все, особенно были знамениты — «Жди меня!» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Кроме того, он был еще и знаменитый герой-любовник. О его романе с примой кино Валентиной Серовой знали все — и с замиранием сердца следили за ходом романа, особенно женщины. Сладко было наблюдать, что настоящая любовь существует и в суровые времена. Стихотворение «Жди меня» посвятил он именно ей. Позже был снят и фильм, с таким же названием. И ему все это дозволялось. Если смотреть, кто тогда был кумир — то, конечно же, Константин Симонов. Ради любви совершал даже сумасбродства!.. Но в меру. Вступить за Зоценко не захотел. Хотя, конечно, как человек умный и талантливый, понимал, кто перед ним. Но!..

Из воспоминаний Лидии Чаловой: «В одном доме я как-то оказалась за одним столом с Константином Симоновым. Зашел разговор о литературе, о том, кто что в последние месяцы написал. И вот тут Симонов очень плохо сказал о Михаиле Михайловиче — не только о его повести, но и о нем самом. О том, что он “получил по заслугам”...»

Конечно, писатели и не обязаны были «единодушно одобрять» зоценковскую вещь, кому-то она могла и не нравиться... Но говорить: «получил по заслугам» — это уже опасно. Лидия, бывшая в тот тяжелый момент рядом с Зоценко, писала:

«Вернусь в 1943 год. В последний его день, 31 декабря, Михаила Михайловича вызвали в “Крокодил”. Накануне или днем раньше приходил

Катаев. Как позже выяснилось, он знал, что Зощенко будут выводить из редколлегии. Но не предупредил. Просто пугал — вообще. Когда я уже одной ногой была в коридоре (как обычно, я спешила уйти, чтобы не мешать), услышала: “Ну, Миша, ты рухнул!” В тоне, каким это было произнесено, мне послышалось что-то похожее на злорадство».

А ведь Валентин Катаев — отнюдь не «шестерка». Скорее, «король», если не «туз»! Его обаятельнейшие романы — «Белеет парус одинокий», потом «Сын полка» — любили все, одобряло начальство. Казалось — мог бы сказать свое твердое слово, ведь он с Зощенко дружил! Но — не смог! Или — не захотел? Зачем талантливый конкурент?

Катаев то внезапно появлялся в жизни Зощенко, совершенно неожиданно, то вдруг — исчезал, когда было опасно. Есть такая байка — как Катаев приехал к Зощенко после того, как его предал, где-то против него выступил. Позвонил ему в дверь и встал на колени. Зощенко простил. Катаев вернулся в Москву, и снова предал, и снова приехал, позвонил, рухнул на колени... «Валя, ты становишься однообразен», — проговорил Зощенко и закрыл дверь.

Поскольку публикация повести была оборвана в ноябре на середине и четких объяснений этому Зощенко так и не получил, он прибег к «последней попытке» (к ней, больше уже ни на что не надеясь, многие прибегали тогда): 25 ноября написал письмо Сталину, перечислил свои заслуги, рассказал о замысле книги «Перед восходом солнца» и о той пользе, которую она может принести людям...

Второго и третьего декабря 1943 года аж Секретариатом и Оргбюро ЦК ВКП(б) были приняты сразу два постановления: «О повышении ответственности секретарей литературно-художественных журналов» и «О контроле над литературно-художественными журналами». Среди писателей, нарушивших заветы соцреализма, был назван и Михаил Зощенко. Возможно, именно его повесть и привела к принятию правительством столь строгих мер. Вначале 1944-го в журнале «Большевик» (№ 2) появилась разгромная статья, подписанная сразу несколькими авторами (В. Горшков, Г. Ваулин, Л. Рутковская, П. Большаков). Почему их так много? Хотели «разделить вину», чтобы потом можно было сваливать друг на друга? Вряд ли. По-видимому, их столько там потому, что сразу многим «хотелось отметитья». Название статьи: «Об одной вредной повести». Вряд ли она появилась без ведома Сталина. Возможно, это и был его ответ на письмо. Читаем статью:

«В жесточайшей борьбе против немецко-фашистских захватчиков вместе со всем советским народом участвуют наши писатели... Большое

впечатление произвели на нас, рядовых ленинградских читателей, “Радуга” Василевской, “Непокоренные” Горбатова, “Фронт” Корнейчука, “Народ бессмертен” Гроссмана, произведения Николая Тихонова, Алексея Толстого... Иное, прямо противоположное впечатление оставляет пошлая, антихудожественная повесть Зоценко “Перед восходом солнца”, напечатанная на страницах журнала “Октябрь” №№ 6–7, 8–9 за 1943 год. Повесть Зоценко чужда чувствам и мыслям нашего народа... Что же потрясло воображение писателя — современника величайших событий в истории человечества? В ответ на это Зоценко преподносит читателю 62 грязных происшествия, 62 пошлых истории, которые когда-то, с 1912 по 1926 год, его “волновали”... С отвращением читаешь эти пошлые рассказы о встречах с женщинами. У Зоценко женщины изображены лишенными морали и чести; они только и мечтают о том, чтобы обмануть мужа, а потом и любовников... В дни Великой Отечественной войны, вспоминая войну 1914–1917 годов, Зоценко решил рассказать о том, как медленно резали солдаты свинью, о своем посещении проституток. Однако у писателя не нашлось ни одного гневного слова против немцев, не нашлось ни одного теплого слова о русском офицере».

Здесь — или невнимательность читателей (сразу четырех), или — намеренная ложь. В сцене газовой атаки Зоценко пишет и о «чувстве бешенства», с каким он смотрит на немцев, «методично» выпускающих из баллонов газ, и о мужественном поведении гренадеров, которые в тот страшный момент подшучивают друг над другом. Он видел это, пережил, пострадал, отравленный газами на всю жизнь! Но В. Горшков, Г. Ваулин, Л. Рутковская, П. Большаков лучше знают, как должен был Зоценко все это увидеть и какие «более правильные» чувства испытать!.. И — убойный конец:

«...Мы твердо уверены, что в нашей стране не найдется читателей для 25 тысяч экземпляров повести Зоценко. Редколлегия журнала “Октябрь” допустила преступную небрежность, поместив в наше время на страницах журнала это пошлое и вредное произведение».

Поражает та уверенность, с которой «рядовые ленинградские читатели» решают и судьбу большого писателя, и судьбу московского журнала. Вряд ли они «рядовые». Впрочем, тогда людям внушалось, что именно они, народ, держат в руках «карающий меч» и «казнят преступников».

Но то время — прошло, а книга — осталась. И именно из нее, а не из «костюмированных» веселых рассказов Михаила Зоценко мы узнаем о реальной его жизни. Правда, лишь о первой ее половине. Он честно, быть

может, с неприкрытой в СССР откровенностью, все рассказал о себе — и жизнь его, оказывается, достойна лишь осуждения!

А ведь он действительно хотел написать книгу антифашистскую.

Известный советский литературовед Дмитрий Молдавский приводит в своих воспоминаниях текст выступления Михаила Зощенко на заседании Правления Союза советских писателей 7 июля 1941 года, вскоре после нападения фашистов на СССР:

«Товарищи весьма много говорили, какие нужны темы. Это так. Но не упомянули об одной весьма существенной теме: задача писателя — весьма полно, четко и ясно сказать для массового слушателя и читателя, что такое фашизм, какова реакционная сущность его и какова философия фашизма, потому что большинство не знает этого дела, и тут требуются статьи, не сниженные по качеству. У нас выпущены плакаты “Фашизм — зверь, чудовище!”. Но почему? Нужно показать это. Не забыть рассказать, что фашизм зачеркивает сознание, что фашизм выступил как раскрепощение низменных инстинктов. Тут нужны статьи короткие, популярного характера, которые будут бить в эту точку, говорить, что такое фашизм, показывать его реакционную сущность, и показать это — задача для писателя весьма важная.

А жанр может быть любой. Может быть для театра и миниатюра, но эта тема не менее важна, чем та, о которой говорили товарищи».

Здесь он уже явно подходит к идее книги — и книга «Перед восходом солнца» написана явно для этой цели. Но в опубликованном в журнале «Октябрь» тексте нет строк, разоблачающих философию фашизма! Почему?

Загадку эту открыл тот же Дмитрий Молдавский, получивший уже в 1966 году, во время «оттепели», задание от издательства «Советский писатель» — написать книгу о Михаиле Зощенко. Естественно, не противоречащую идеологии тех лет.

Молдавский вспоминает, как он взял в библиотеке Дома писателей с десяток томов Зощенко — и старые, и новые издания (его к тому времени уже стали потихоньку переиздавать).

Дмитрий Молдавский рассказывает:

«Я решил познакомиться с вдовой писателя — Верой Владимировной, адрес которой мне дал М.Л. Слонимский, невероятно обрадовавшийся тому, что издательство начало эту работу. Я позвонил ей и получил приглашение прийти завтра утром, не слишком рано, но и не очень поздно.

На следующий день, часов в двенадцать я поднялся по лестнице дома по каналу Грибоедова, 9, в надстройку, именуемую на языке ленинградских

литераторов “недоскреб”. Дверь мне открыла немолодая женщина, строго одетая, ввела меня в кабинет, села на краешек стула и предложила сесть мне. И сразу же заговорила с такой ледяной вежливостью, что я понял: кто-то уже успел позаботиться о том, чтобы этот разговор у нас не получился. Подумал — надо было попросить Михаила Леонидовича представить меня, но что толку думать об этом теперь...

Вера Владимировна очень сухо и очень четко сказала, что все материалы переданы ею в архив, “в соответствии с интересами науки”, а она сама, к сожалению, слишком занята, чтобы помочь мне какими-либо консультациями.

Вежливо поблагодарив, я пошел к выходу, но вдруг сказал: “Вот в шкафу моя книжка”.

...Вера Владимировна подошла к шкафу, достала мою книжку, взглянула на подпись и дату (1952 г.). Тут я обратил внимание на то, что довоенных книг-подарков было очень много, были и книги военных лет. Но книг послевоенных почти не было. Несколько книг уже конца пятидесятых стояло у самого края.

— ...Подождите, — сказала Вера Владимировна с нотой удивления. И, мгновенно изменив тон, уже сердечно сказала: — Пожалуйста, вернитесь, вы знаете...

Тут последовало объяснение, к завершению которого я уже сидел в кресле, а вокруг меня возникали рукописи, папки, тетрадки... А уже после выхода моей книги отдала мне машинописный текст повести “Перед восходом солнца” с авторскими поправками!»

И — поразительное открытие! Молдавский пишет:

«Мы сравниваем имеющийся у нас вариант машинописной копии повести... и вариант окончательный, частично опубликованный, частично подготовленный к печати. И обнаруживаем — и это, безусловно, самое главное! — в повесть не вошел обширный кусок: страницы, посвященные философии фашизма.

Написав: “Результат войны мне был ясен” и “есть нечто дикое и даже комичное в идее 'расы господ'“, М. Зощенко в своей типичной манере, “с пониманием”, со сдерживаемой яростью размышляет: “Прежде всего это плохая пропаганда. Об этом господстве можно было объявить несколько позднее. Допустим, когда победа в руках. Иначе это сердит противников и ослабляет союзников... Нарочно уменьшим масштаб. Человек может прийти просто в ярость, если во время драки ему крикнут, что он дрянь и дерьмо и что только тот, кто дерется с ним, представляет собой некоторую ценность.

Ярость прибавляет силу. Заносчивые слова обращаются во вред. Друг, стоящий рядом, делает “подножку”. Минута — и гордый человек лежит поверженный в прах с разбитым рылом... К тому же мирового господства с помощью железа и пули не бывает. Бывает убийство, вооруженные налет или нашествие. Но как господство это не квалифицируется».

Да — в том, что за книгой никто не признал антифашистской направленности, может быть, «повинен» и сам Зоценко, сокративший в рукописи философские, публицистические страницы. Их никто не увидел — и судьба Зоценко дала крен. Спасли бы его эти страницы, если бы он их не убрал? Вряд ли. Случайности, говорят, лишь способ проявления неизбежного. Книги Зоценко всегда «не соответствовали» нормам соцреализма. Надо бы понять раз и навсегда, что Зоценко есть Зоценко и что надо не «переламывать» его, а, наоборот, им гордиться.

Начался обвал в прессе, едва «не похоронивший» Зоценко. Его называли даже «дезертиром», укрывшимся в тылу, когда другие воевали. Это было для него особенно невыносимо. Большинство писателей, даже носивших во время войны форму, были военными корреспондентами или редакторами. На линию фронта если выезжали, то ненадолго, в боях они не участвовали, их берегли. Если кто воевал, то это Зоценко — в Первую мировую лежал под ураганным огнем у колючей проволоки, был ранен, отравлен газами, получил боевые награды. Отдав войне здоровье, был списан... И его теперь называли — дезертир!

ГРУСТНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Он хотел вернуться в Ленинград, закрыться, спрятаться. Но и Ленинград Зоценко не принимал, разрешение вернуться давали далеко не всем ленинградцам, лишь самым нужным. Зоценко, особенно после разгромных статей, городу был не нужен. А помнится, в 1929 году он был назван «самым известным человеком города»! И тут, уже в который раз, его спасает Лидия Чалова. Хотя и понимает, что это приведет их к расставанию. Он окажется дома, в семье, а она — снова «ни при чем».

Но она — человек ответственный (хотя, как нам кажется, сдержанный в чувствах... Или только в воспоминаниях?). Она ходит по инстанциям, посещает Союз писателей. И уговаривает тогдашнего главу Союза, Виссариона Саянова, похлопотать за Зоценко — и тот соглашается. Вообще роль Виссариона Саянова в жизни Зоценко оказалась роковой... Хотя он, конечно, этого не хотел. Остался бы Зоценко в Москве... Или, скажем, остался бы в Москве Пушкин... Глядишь, и «пронесло» бы. Но судьба всегда ведет гениев туда, где опасно. Их трагедия — неотъемлемая часть их славы.

Второго апреля 1944 года Зоценко, как Одиссей после долгого странствия, возвращается в Ленинград, входит в свой дом. Да, Вера Владимировна и сын без него пережили войну и блокаду. И сам он немало пережил за это время... Но разлука была слишком долгой, и главное — драматичной.

Вера Владимировна пишет в воспоминаниях, что он появился сильно постаревший, равнодушный, отчужденный... Он прожил эти годы с другой, она любила его, переживала за него, помогала — а здесь давно уже нет никаких чувств. И он почти сразу ушел в свою комнату.

Вот уж никак нельзя сказать, что годы войны были для Зоценко легкими (в чем его не раз обвиняли). Кроме литературных горестей, было еще много горя. В блокаду умерла его младшая сестренка Юля, с которой он очень дружил, они вместе жили в самые голодные годы после революции, и вот — умерла от голода сейчас. Любимый его брат Виталий, которому он писал веселые письма, в духе своих рассказов, воевал — и погиб в 1943-м на Курской дуге.

И сам Михаил Михайлович немало пострадал, вернулся в свой дом «разбитым». Сведения о жизни в этом доме удалось получить из несколько неожиданного источника — воспоминаний Авдашевой, дочери Авдашева,

бывшего возлюбленного Веры Владимировны:

«Летом 1942 года меня призвали в армию. Моя часть находилась под Ленинградом, и время от времени мне удавалось на короткие часы попадать в город — то ли командировка, то ли увольнение.

Михаил Михайлович был эвакуирован в Алма-Ату, Валерий, как и я, находился в армии, в квартире на канале Грибоедова оставалась одна Вера Владимировна. Кроме как к ней, идти мне было в общем-то некуда. Она разрешала мне ночевать в кабинете Михаила Михайловича.

Помню, перед входом в кабинет был небольшой тамбур. Там стоял умывальник (Вера Владимировна рассказывала, что Михаил Михайлович стирал тут свои носовые платки, носки, прочую мелочь), по стенкам до самого потолка книжные полки. Сам кабинет был обставлен очень скромно. Справа от окна большой письменный стол красного дерева, с полочками и ящичками на нем. Посередине стола — кожаный бювар, чуть в стороне — металлический стаканчик с карандашами. Вплотную к столу придвинуто жесткое кресло со стеганой подстилкой на нем, а за его спинкой — чуть поодаль — одностворчатый платяной шкаф с зеркалом. И тут же кровать — железная, покрытая клетчатым шерстяным пледом. На этой кровати я и спала в те короткие ночи, когда выдавались побывки.

С благоговением входила я в кабинет, где все было пропитано дыханием Михаила Михайловича. Садилась за стол и осторожно перебирала карандаши, которыми писала его рука...»

И вот — хозяин вернулся в свой кабинет. И расстался со своей самой большой любовью. Теперь Лида Чалова работала в издательстве в Москве, не могла все бросить и приехать к нему. Да он и не звал ее. В Ленинграде они не могли жить вместе — тут слишком многое нужно было преодолеть. Эвакуация, Алма-Ата — это и был в некотором смысле их «райский сад». А теперь он вернулся к земным заботам. Счастья в доме не было. Зато были проблемы, которые ему надо было решать.

Авдашева вспоминает:

«...Однажды, в конце войны, я приехала в Ленинград и, как всегда, сразу отправилась на канал Грибоедова. И тут я узнала, что Михаил Михайлович вернулся. Вскоре он вышел из своей комнаты. Похудел, лицо было болезненно-серым. Увидев меня, он улыбнулся, подал свою маленькую крепкую руку, потом, раскрыв коробку “Северной Пальмиры”, предложил закурить и стал расспрашивать, как мне служится и вообще — как там на фронте дела...»

А дела самого Зощенко были непростые. После блокады, смерти матери и бабушки осталась сиротой дочь сестры Веры Владимировны — и

Вера Владимировна с Михаилом Михайловичем удочерили ее. Он принял на себя все проблемы. Понимал, что в той драме, которая разыгрывается у него дома, и его вина. Часто был равнодушен, увлекался другим. Откупался деньгами. Несчастливая Вера Владимировна, искавшая утешения в нарядах, «роскошной» мебели, многое распродала в блокаду. Несчастливы были все, несмотря на попытки Зоценко как-то улучшить ситуацию в доме, ведь он даже принес в жертву этому свою любовь.

Конечно, при столь тяжелой, мучительной жизни дома Зоценко скучал по Лиде, по их, как теперь он видел отсюда, счастливой жизни в Алма-Ате. Но что было делать? Писатель, как правило, выбирает то место, где стоит его уже привычный письменный стол... Он писал ей:

«...Живу, в общем, средне. Дома мне не очень хорошо. Тоскливо весьма. И отвык совершенно. Так что спасаюсь работой. Устроил небольшой огород (на Марсовом поле). Вскопал две грядки, посадил редиску и картофель.

Знакомых мало. Друзей и вовсе нет. Любовных дел — никаких. Раза два был в театре. В общем, как видишь, ничего особенного. И ничего привлекательного нет в моей горестной жизни. Хожу с постной мордой по набережной. Но, впрочем, не тоскую, и хандры нет.

Очень уж хорош город. Не перестаю радоваться, что снова здесь...»

И — другое письмо:

«...Почти четыре месяца я провел тут весьма одиноко и, пожалуй, уныло. Работал много, но, как я тебе доложил по телефону, без особо ярких результатов. Так что ты была права — надо было жить в Москве. Для работы это было бы правильно. Но уж очень я намаялся, таскаясь по чужим домам и квартирам.

Но, в общем, полагаю, все тут утрясется. Работаю много, и большой печали у меня нет на душе. Здоровье, впрочем, посредственное. И постарел изрядно...

Я теперь вроде начинающего. Мне-то это безразлично, даже легко. Но тебе, вероятно, будет досадно за меня, будешь огорчаться. А по мне, все равно, чем заниматься. Хоть куплетами. Работать буду, а что именно — это уж не такой значительный вопрос. Несомненно, театром займусь. Оперетгой. Эстрадой. Мало ли дела.

Отдаю себе полный отчет, что все это не на 2–3 дня. Тут процесс длительный, так как дело не только во мне, а в новом требовании к искусству... В общем, надежд у меня много. Однако трудности будут дьявольские...»

Наконец из Москвы в Ленинград вернулась и Лида, стала жить у

родителей. Они еще некоторое время встречались. Потом Лида вышла замуж. Но и после этого много сделала полезного для него.

А в семье Зоценко чувствовал себя чужим. Конечно, он думал в Алма-Ате о близких, писал, слал им посылки, переживал за неприспособленного к жизни избалованного сына, хлопотал за него. Почему-то так бывает: родители с достоинством проходят через самые тяжкие испытания — и это закаляет их, формирует сильную личность, а детям они стараются «выхлопотать» легкую судьбу, которая их губит! Зоценко, при всей его нелюбви ко всяческим просьбам, обращался к самому Александру Фадееву с просьбой помочь перевести Валерия из армии в Алма-Атинское военное училище — но получил суровый отказ. Гораздо успешнее хлопотала за сына Вера Владимировна — «очаровав» заместителя начальника НКВД Ленинграда, она добилась, чтобы сына Валю, как называли дома Валерия, перевели из действующей армии в войска НКВД. Зоценко-младший попал в заградотряд. К счастью, он прослужил там недолго и в активных действиях поучаствовать не успел. Но он уже успел, к несчастью, попасть в разряд людей, которые не сами выбирают свою судьбу, а за них выбирают другие.

Так пошло у него и в личной жизни. Вот что вспоминает Авдашева:

«В следующий свой приезд я застала в доме переполох. Пришла телеграмма: “Поздравляем Валю с сыном, Михаила Михайловича с внуком Мишей”. Это было как гром среди ясного неба. Вера Владимировна и Валерий кричали, ссорились, не знали, как поступить и что сделать, чтобы опровергнуть, не признать случившийся “факт”.

Вышел из своего кабинета Михаил Михайлович. Стал ходить взад-вперед, нервно потирая руки. Гневное лицо, черные глаза так и режут — то Валерия, то Веру Владимировну. Наконец заговорил. Негромко, чуть хрипловатым голосом, четко произнося каждое слово, сказал, что не позволит затевать какие-либо судебные интриги, не позволит позорить свое имя. И просит прекратить все разговоры на эту тему. Что эти его слова они должны понять как окончательное и неоспоримое решение.

Сказал, чтобы матери и ребенку был сделан в Ленинград вызов. Что деньги на это он даст».

Этим «широким жестом» Зоценко как бы искупал и свои грехи. То есть — если свои грехи я уже не могу искупить, искуплю хотя бы грех сына... Сын Валерий был похож на Зоценко. Особенно — внешне. Унаследовал и кое-что еще. Любил женщин. Но что у отца получалось, скажем, романтично и осталось в восторженных воспоминаниях его возлюбленных — у сына выходило «наперекосьяк».

И вот в жизни их семьи появилась... Таська, как вскоре все стали звать ее — с сыночком на руках. Но умиротворения и тем более идиллии это не принесло. Скорее наоборот. Все вокруг говорили вслух, что Таська родила вовсе не от Валеры, сынок ничуть на него не похож, что с отцом ребенка она встречалась в эвакуации, а Валера тут ни при чем. Он был человек хороший, порядочный, но несчастный. В юности, видимо, казалось, что неплохо быть сыном знаменитости — повышенное внимание, деньги. Потом с отчаянием понял всю горечь такой жизни... Закончив театроведческий факультет, не мог устроиться на нормальную работу и вскоре нашел объяснение: это — из-за фамилии, из-за опального отца! Но у отца всё — и слава, и опала, а у него — ничего. Должности ему доставались весьма неказистые. Одно время он заведовал самодеятельностью в Сестрорецке. Вел богемную жизнь, старался выглядеть «королем» светских компаний — и это ему удавалось... но исключительно благодаря деньгам отца. И вот наказание за «веселую жизнь» — неизвестно чей ребенок! Исчезли последние надежды Зоценко хоть на какой-то покой в семье. Таська постоянно ругалась с Верой Владимировной — та никак не хотела признавать «внучка», а Таська (как уверяли соседки, «лично видевшие» это) замахивалась на Веру Владимировну сковородой и орала: «Признаешь, сука, признаешь!»

Во всем этом не было, ясное дело, никакой вины внука. Естественно, о тех ссорах не хочет слышать и правнучка. А каково было Зоценко переносить эту драму? Однако при всех бедах он держался достойно. Об этом написала Авдашева.

«В один из осенних дней 1945 года дверь в квартиру открыл мне сам Михаил Михайлович. Я очень смутилась. Война закончилась, а на мне все еще красовалась шинель. Я уже демобилизовалась — погоны спорола, ремень сняла, а вот с шинелью расстаться не удалось. Нет, я не стыдилась своей шинели. Но вы ж понимаете: молодая девушка, хочется выглядеть красивой и привлекательно одетой, а тут... Словом, не успела я войти в комнату Веры Владимировны, как на пороге появился Михаил Михайлович, держа в руках темно-бежевого цвета коверкотовое пальто:

— Примите, Нинель. Я думаю, что оно будет вам в самый раз.

Я ничего сказать не успела — его уже не было в комнате.

Я часто думаю о Михаиле Михайловиче. Что же он был за человек? Что было в нем главным, отличающим его от других людей — пусть даже добрых, не проходящих мимо чужих бед и несчастий?

И, думаю, вот что: видимо, он был человеком, который, когда-то испытав большую обиду, принял на себя невинную вину за все те

несправедливости, что рассеяны по земле. Своим состраданием, участливым отношением к людям он как бы просил прощения за эти несправедливости, за то, что мир устроен не так, как того заслуживает человек».

А жизнь его становилась все труднее. Пришлось даже съехать с этой квартиры. Совершить еще один квартирный обмен. Первый был — когда поменял роскошную квартиру, полученную по «высшей писательской категории» после 1-го Съезда писателей, на более скромную квартиру Веры Кетлинской, нуждаясь в деньгах. А теперь и эту квартирку разменял — ради сына, оказавшегося с женой и ребенком, но без жилья — на комнату для них и квартирку совсем уже убогую, где теперь находится маленький, но замечательный музей. Другие писатели непрерывно улучшали свои жилищные дела. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях рассказывает, как пришла к Катаеву просить за мужа, и ее поразило, что у Катаева все новое — новая квартира, новая мебель, новая жена! У Зощенко жена была прежняя, а квартиры он менял на все более худшие.

Самого Михаила Зощенко я не видел. Хотя мог бы успеть... Зато я видел его сына. Мы вместе работали в Учебном театре Театрального института на Моховой, я — электриком, он — администратором. Несчастья запечатлелись в нем. Невысокий, в старом костюме, с лицом знаменитого отца, но — навсегда обиженным! Хотя отец помогал ему, как мог. Но сын был грустен и хмур. Такое лицо, впрочем, было в последние годы и у его отца...

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Казалось, после такой тяжелой войны все должно наладиться — не зря же столько усилий, столько жертв! И все надеялись. Вот — мартовский номер журнала «Ленинград» 1945 года. Впервые после долгого перерыва — Анна Ахматова!

ОСВОБОЖДЕННАЯ

Чистый ветер ели колышет,
Чистый снег заметает поля.
Больше вражьего шага не слышит,
Отдыхает моя земля.

Напечатаны «Севастопольские рассказы» Ильи Бразнина, который, как и Лев Толстой, воевал в Севастополе и поэтому решил так же назвать свои рассказы. Вот рассказ «Ведро». В Севастополь вошли наши бойцы. Девочка несет домой ведро воды. Усталые бойцы просят дать напиток. Ведро пустеет, девочка бежит за вторым. А поток запыленных победителей все идет и идет. Девочка приносит им второе ведро... шестнадцатое. Автор заканчивает: «Я думаю, что и в этот, шестнадцатый раз, она не донесла воду до дома».

Просто, но трогательно. Напечатан отрывок из поэмы Вадима Шефнера «Встречи в пригороде»:

Пейзаж был так войной переиначен,
Что в прошлое поверил я с трудом.
Здесь мы с Тамарой встретились на даче,
Вот здесь был сад... Здесь, кажется, был дом.
...Но знали мы: как ни трудны дороги,
Мы все возьмем — и доли, и холмы,
За все заплатим кровью, но в итоге
Все будет так, как порешили мы.

И наверное, для того, чтобы как-то повеселить читателя, опубликован рассказ Михаила Зощенко «Фотокарточка». Сюжет рассказа — фотограф снял героя таким страшным, что тот сам себя не узнает. Фотограф недоволен: «Ах, ему еще глядеть нужно! Его же сняли, и он же еще на это глядеть хочет. Капризничает в такое время! Дефекты видит... Нет, я жалею, что я вас так прилично снял. В другой раз я так вас сниму, что вы со стоном на карточку взглянете!» В милиции отказываются наклеивать столь страшный портрет на документ. Фотограф отказывается переснимать... Прелестный, чисто зощенковский «выход из положения»: в результате долгих мытарств герой приходит в такой вид, что становится похож на ту страшную фотографию, фото наклеивают, все улажено! Рассказ, как всегда у Зощенко, с реальным горьким подтекстом — и его самого сумели так замотать, что он уже похож на «бракованную фотографию». Зощенко есть Зощенко — и надо его и ценить за это. Ведь и этот ветхий номер журнала, в котором еще много авторов, весьма тогда авторитетных — сохранился исключительно благодаря ему: кто бы иначе стал его бережно хранить?

...И вот — дождались! Седьмой номер «Ленинграда» посвящен Победе. Торжественный портрет Сталина в орденах на первой странице. Стихотворение Александра Прокофьева — «Великий день». Сразу за ним — статья Ольги Форш «Наши войска в Берлине». Они были с Зощенко друзьями, она написала роман о их молодости, о Доме искусств на Мойке — «Сумасшедший корабль». Популярен и всеми читаем был ее исторический роман «Одеты камнем», получивший Сталинскую премию. И вот ее статья — «Наши войска в Берлине» — чувствуется общая радость, надежда, что отпразднуем победу — и замечательно заживем! Вот — очерк Аграненко «Комендант Штольцмюнде», о том, как советский комендант гуманно обращается с жителями немецкого городка.

А вот и Зощенко! Рассказик «Хорошая игра». Дети в день 1 мая следят за прохожими, чтобы с ними не случилось ничего плохого.

«Дяденька, дяденька, гляди, у тебя тесемки висят. Сапог расшнуровался!» — «Ребята. А ведь вы это здорово придумали. Ведь это отличная игра — делать только хорошие и, как вы говорите, исторические дела в день Первого мая... Но только, между нами говоря — ведь это надо каждый день так поступать, а не только в день Первого мая!»

Жизнь восстанавливалась, ремонтировались дома... Я, приехавший ребенком в Ленинград в сорок пятом, отчетливо помню, как быстро поднимался разбомбленный дом на углу улицы Гоголя и Кирпичного переулка. Возвращались из эвакуации деятели искусства, писатели. Восстанавливался «культурный слой».

Важным центром литературной жизни оказалась Книжная лавка писателей на Невском, возле Аничкова моста.

Директором лавки был тогда энергичный Геннадий Моисеевич Рахлин.

По свидетельству Исая Берлина, английского слависта, специалиста по России, в 1945-м посетившего Ленинград (где, к слову, в детстве прожил около четырех лет), — это был «невысокого роста, худой, веселый, лысеющий рыжеволосый еврей. Шумный, проницательный и умный. Безмерно и даже демонстративно вежливый и, вероятно, самый прекрасно информированный, начитанный и предприимчивый продавец книг в Советском Союзе... Он вел себя как главный ленинградский Фигаро: доставал театральные билеты, организовывал лекции, устраивал ежемесячные литературные ужины, снабжал информацией, рассеивал слухи, и вообще выполнял бесчисленные мелкие работы, что делало жизнь вокруг интересной и приятной. Завсегдатаи его магазина чувствовали себя там как в своеобразном клубе... в книжной лавке можно было неторопливо листать книги, беседовать с коллегами и самим директором (чем не книжная лавка Смирдина? — *В. П.*)... Михаил Зощенко облюбовал для себя кресло в углу магазина. Сюда заходили, будучи в Ленинграде, Галина Уланова, Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович. По словам Рахлина, он играл “в козла” с самим Попковым — главой ленинградской партийной организации. И как-то пил в Москве у Ворошилова. С гордостью называл среди клиентов наркома иностранных дел Молотова и самого Берия...»

Пятнадцатого ноября 1945 года Исая Берлин, тогда, в 1945-м, сотрудник британского посольства в СССР, курировавший советскую литературу и искусство, посетил Книжную лавку писателей. Берлина интересовали старинные книги... Помимо того, по версии чекистов, он был еще и английским шпионом. Со слов Берлина, в лавке он застал Михаила Зощенко. На Берлина он произвел впечатление глубоко погруженного в себя человека, нескладного, бледного и истощенного.

Рахлин позволил Берлину зайти в книгохранилище, куда допускались лишь писатели. Там разговорился с критиком Владимиром Орловым, поинтересовался судьбой писателей-ленинградцев. «“А Ахматова еще жива?” — спросил я» (как писал Берлин в мемуарах, хотя, по утверждению ахматоведов, прекрасно знал, что жива). Услышав, что Ахматова живет неподалеку, на Фонтанке, в тот же день, при посредничестве Орлова, отправился к ней в гости в Фонтанный дом.

Несомненно, уютнейшая Лавка писателей, столь любимая знаменитостями, «была под колпаком». Но Зощенко все равно любил туда приходить. И — молчать.

Лидия Чалова писала в воспоминаниях:

«В Ленинград я вернулась только перед самым концом войны. К этому времени Михаил Михайлович почти оправился от потрясения 1943 года. Его снова стали печатать. Одна за другой вышли три книги. Были поставлены две комедии — “Парусиновый портфель” и “Очень приятно”. Много и с удовольствием он работал еще над одной — “Пусть неудачник плачет”».

В декабре 1945 года в журнале «Мурзилка» (№ 12) напечатан рассказ «Приключения обезьяны». Мина, которая «взорвет» Зощенко, уже плывет... но он и не подозревает пока об этом. Да и как можно что-то «подозревать» в связи с невинным детским рассказом?

Из воспоминаний Чаловой:

«Он очень верил, что все его несчастья позади, что ничего подобного происшедшему с повестью “Перед восходом солнца” не повторится».

Люди верили в лучшее. Во время войны все были устремлены к Победе, работали из последних сил, героически воевали, работали, и — надеялись на мирную жизнь... Но надежды не оправдались.

В 1946 году СССР оказался втянут в новую, «холодную войну», на этот раз с бывшими союзниками. Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (чья партия в 1945 году проиграла на выборах; на пост премьера он вернется в 1951 -м) выступил со своей знаменитой Фултонской речью, с которой, по мнению историков, и началась «холодная война».

Зимой 1945/46 года, находясь в США, Черчилль получил предложение выступить с лекцией «о мировых делах» в Вестминстерском колледже города Фултон. На выступление, состоявшееся 5 марта 1946 года, он пригласил президента Трумэна и речь начал с того, что отныне «Соединенные Штаты находятся на вершине мировой силы» (к тому времени США стали единственным пока обладателем ядерной бомбы). А угрожают этому «торжественному моменту американской демократии» два главных врага — «война и тирания», и противостоять им способна только «братская ассоциация англоговорящих народов», то есть «специальные отношения между Британским Содружеством и Империей и Соединенными Штатами Америки». Причиной «международных трудностей» Черчилль назвал СССР. Сталин ответил на это 14 марта в газете «Правда»: «По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны... Господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию,

объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира...»

На 10 февраля 1946 года были назначены выборы в Верховный Совет СССР. Все силы государства были брошены на это. По квартирам ходили агитаторы. Чуть ли не на каждой улице был открыт «агитпункт», разукрашенный красными полотнищами и портретами. Такой был и в нашем доме, на первом этаже. Помню, как волновал меня наш огромный ленинградский (петербургский) дом, в который мы въехали после эвакуации, — его подвалы, чердаки. Загадочным был и агитпункт. Я его боялся. Какая-то чрезмерная яркость при тогдашней тусклой жизни. Но сильнее всего действовал на мое воображение огромный портрет — я его боялся и, быстро глянув, выбегал. Никто еще мне не рассказывал ничего плохого о Сталине... но смотреть на его портрет почему-то было страшно. Помню какую-то странную, сумбурную мысль: «А вдруг и он увидит меня? Лучше не надо!»

«Карусель» выборов закрутила, конечно же, и писателей. Уж их-то оставить без внимания власть никак не могла. 18 января 1946 года литераторов собирают в старинном Белом зале ленинградского Дома писателя, бывшего дворца Шереметевых, подаренного властью «инженерам человеческих душ». Конечно, и Зощенко пришлось поучаствовать. После разгрома повести «Перед восходом солнца» нужно было появляться на всех собраниях: я, мол, такой же, как все, в «едином строю».

И вот — торжественнейшее Окружное предвыборное собрание представителей трудящихся по выборам в Верховный Совет от Дзержинского района. Именно в Дзержинском районе, возле Литейного, недалеко от огромного и грозного Большого дома, находился шикарный Дом писателей, и в главном зале, с пухлыми купидонами под потолком, происходило это мероприятие. Впоследствии этот зал запомнится Зощенко совсем другим. А пока он призван со всеми осуществлять свое конституционное право — выдвигать, от души и сердца, кандидатов в Верховный Совет! Тем более что вместе с кандидатурой Михаила Ивановича Калинина, председателя Президиума Верховного Совета СССР, «всесоюзного старосты», как любовно называли его в народе, писатели предлагают «верного сына нашей Родины», выдающегося советского писателя Николая Тихонова!.. Кто, как не Зощенко, должен выдвигать

старого друга-«серапиона»? Вот его слова:

«Очень правильно, что именно наша писательская организация назвала имя Тихонова... У Николая Семеновича есть книга — это сборник его публицистических работ, его фельетонов, которые он написал в годы блокады. Это железная книга, мужественная, необычайно сильная книга... Мы, ленинградцы, хорошо знаем Тихонова, любим его. Лично я знаю Тихонова 25 лет, то есть четверть столетия, — это человек огромного обаяния!»

Может быть, и огромного, но во всяком случае — не безграничного. Порой «обаяния» Николая Тихонова как-то не хватало для его старого друга Михаила Зощенко: в Москве, живя в гостинице рядом, «не видел в упор»... А как «увидел», так сразу «понес по кочкам» — вспомним хотя бы его ругань по поводу повести «Перед восходом солнца» на писательском пленуме и его статью в журнале «Большевик»... Но теперь, может быть, лучше не ворошить прошлое, снова «задружиться»? Тем более что литературная жизнь, похоже, налаживается. И первые месяцы 1946-го вроде бы подтверждали надежды.

Теперь почти регулярно печатается Анна Ахматова. Вот журнал «Ленинград» (№ 1–2) за 1946 год. «Стихи разных лет». Старые — и новые.

ПАМЯТИ ДРУГА

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

Объявлены новые лауреаты Сталинской премии — тут и ленинградцы: Александр Прокофьев — за стихи «Россия», «Не отдадим», «Клятва», «Застольная», «За тебя, Ленинград!»; Михаил Лозинский — за перевод «Божественной комедии» Данте; Вениамин Каверин — за роман «Два капитана». Роман Каверина, брата-«серапиона» и одного из самых верных спутников Зощенко, писался долго и вместил многое: начиная с юности в

Пскове, где два друга-романтика находят сумку утонувшего почтальона с размытыми адресами и читают письма о таинственно пропавшей полярной экспедиции... Потом один из них, Саня Григорьев, становится летчиком и во время вынужденной посадки, случившейся в годы войны, находит во льдах следы экспедиции. Каверин писал в воспоминаниях, что помогла закончить роман его служба военным корреспондентом в полярной авиации. Книга была чрезвычайно популярна среди советских школьников — там еще была волнующая любовная история! Помню, и я не расставался с «Двумя капитанами». Многих вдохновлял тогда звонкий девиз героев романа «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Мне кто-то сказал, что это — несколько переиначенный девиз полярного исследователя Амундсена. У того было: «Бороться и искать, не найти — и не сдаваться!» И действительно, у Каверина лозунг выглядит несколько странно: «...найти — и не сдаваться!» Зачем же «не сдаваться», если уже нашел? Но не хотелось придирааться к любимой книге.

Наверное, Зощенко радовался и успеху друга Каверина, и триумфу Лозинского, получившего премию не за какую-нибудь «халтуру», а за серьезный труд, перевод мирового шедевра. И третий в этом списке ленинградцев, поэт Александр Прокофьев, бывший комиссар, был талантлив, его стихи, особенно ранние, «перепевали» народное творчество. И став руководителем ленинградских писателей, «сохранил колорит». Был неказист, приземист, грубоват, но крепок, помогал писателям, когда мог, и той же Ахматовой помог, когда ее выселяли. Бывал свиреп и, как говорили тогда, «ногой открывал любые двери», перед властью не робел. Все люди вполне достойные.

Казалось — жизнь возвращается. Прошло несколько совершенно триумфальных выступлений Ахматовой, ей устраивали овации. Зощенко в апреле 1946-го, в числе других писателей, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Медаль эту с радостью получали многие, доблестно работавшие в тылу — в том числе, помню, и мои родители.

В мае 1946 года выходит книга Зощенко «Избранное» в солидном издательстве «Художественная литература», немалым тиражом в 30 тысяч экземпляров. Пошла жизнь! В третьем номере журнала «Ленинград» с портретами лауреатов премии помещен и рассказ Зощенко «Происшествие на Олимпе». Часто он оказывается под одной обложкой с лауреатами, но не в их списке! «Происшествие на Олимпе» — рассказ едкий: о том, как редакторы душат литературу. «Пожалев» тонуций пароход, заставили автора «перенести» все имущество, что было на пароходе, на ялик. И когда

он принес рассказ, зарубили его «за неправдоподобие». Однажды, когда его в очередной раз прорабатывали «за мелкотемье», он выкрикнул: «Я и не брался на ялике перевозить рояль!» Вероятно, эта фраза как-то связана с «Происшествием на Олимпе».

Решением Ленинградского горкома ВКП(б) 26 июня Зоценко введен в состав редколлегии журнала «Звезда»... Еще одно роковое событие в числе других, еще один аргумент в папку будущего «зоценковского дела».

Если многие хорошие люди мечтали о том, чтобы в спокойной обстановке после войны почитать Зоценко, то в Кремле, похоже, мечтали совсем о другом — о послевоенной литературе, в которой не будет Зоценко.

ТЕАТР ЗОЩЕНКО

И вдруг он — снова возник!

Отдыхая под Ригой, 22 июля 1946 года Лидия Чалова получила от Зощенко письмо, еще спокойное: «...Мои дела, в общем, хорошие. Комедию закончил 15-го. И третий акт сделал даже с блеском».

1946 год связан с большими надеждами Зощенко. Пережив многое в связи с повестью «Перед восходом солнца», Зощенко не мог, конечно, полностью закрыть свою душу от критики: может быть, действительно в своей прозе он зашел не туда? И вот теперь главные его надежды — на театр! Попытки создания «положительной сатиры» давались ему нелегко, но он старался.

Этот «цех» он открыл для себя давно. Однако он приносил ему в основном неприятности. Раскритикована была его пьеса «Опасные связи», посвященная уж такой «верной теме» — разоблачению троцкизма. Но и троцкизм он, оказывается, разоблачал не так: живыми получились лишь отрицательные персонажи, которых он и должен был осудить, а положительные типажи — не удались!

После критики он пытается развернуть «положительную сатиру». Что это такое — никто не знал, но он старался. Оказаться вдруг «врагом народа» ему, объявившему себя «пролетарским писателем», никак было нельзя! И пьесы он продолжал писать. Наличие такого «запасного» жанра всегда несколько успокаивает писателя, живущего в постоянном волнении, вселяет надежду: если с литературой дела станут еще хуже, может, драматургия поможет? Вдруг — пойдет? Наиболее тесные отношения связывали Зощенко с уже упоминаемым Николаем Акимовым, режиссером Ленинградского театра комедии. Это был человек чрезвычайно талантливый, сильный, экстравагантный, создавший свой неповторимый стиль в театре — и не только в театре, но и в живописи, и в литературе, и в жизни тоже. Соединение двух столь ярких людей могло дать потрясающий эффект! Они оба в эти суровые годы тяготели к жанру «легкой комедии», почти водевиля. Зощенко так и старался писать. Акимову предназначалась написанная в Алма-Ате комедия «Маленький папа». 18 января 1943 года Зощенко писал ему: «Пьесу дал только Вам и Завадскому (Театр Завадского как раз был в Алма-Ате). С Завадским у меня договор. Комедия у него, но пойдет как водевиль. Он покажет мне, как переписать финалы, чтобы была музыка и пение. Я попробую это сделать, но не уверен, что получится».

хорошо. Он же говорит: “Будет прелестный, изящный водевиль!” Сомневаюсь».

Несмотря на «сомневаюсь», письмо уверенное — кажется, Зощенко своей пьесой доволен. Судьба все это сокрушит! И не только ударами «сверху». Порой возникают и неразрешимые творческие столкновения. Акимов был человек жесткий. Помню его огромный покатый лоб, толстый большой нос, пронзительный «волчий» взгляд. Блестящая, всегда язвительная речь. Зощенко, как известно, держался не столь агрессивно, но тоже уступать не любил. Поссорились из-за пустяка. Из-за паровоза! Герой комедии, «маленький папа», точнее, моложавый лейтенант, который, напомним, хочет усыновить сироту, но из-за своего «детского» облика не вызывает доверия и часто попадает впросак. В этом — основной источник смеха. Еще там есть две девушки, с которыми тоже происходит некоторая путаница, одна из них и чинит паровозы, и наш герой помогает ей. Так вот — жестокий Акимов в своем письме потребовал начисто убрать из пьесы производственную тему. Ай-ай-ай! Зощенко не уступал. Ссылался на то, что сцены с паровозами целиком принадлежат его соавтору В. Павловскому, и после их удаления от соавтора вообще ничего не останется. Неловко! Я думаю, что Акимов с помощью паровоза собирался пьесу вообще «задавить», поскольку пьеса ему не нравилась, а сказать это прямо он не хотел. Человек он был хитрый и упрямый.

Может, благодаря этому ему и удалось в суровые времена создать абсолютно свой, неповторимый Театр комедии в роскошном доме на Невском проспекте, над знаменитым магазином купцов Елисеевых.

Преодолев обиду, Зощенко после войны снова приходит к Акимову и читает ему свою новую пьесу «Очень приятно». Канва пьесы — раненые после лечения поправляются в санатории у моря. Тут же — милые медсестры, любовные конфликты, впрочем, довольно поверхностные.

Одиннадцатого октября 1945 года Зощенко шлет Акимову холодное письмо: «В сентябре с/г я читал Вам три акта моей комедии... судя по Вашим скупым и холодным словам, сказанным Вами по прочтении, я пришел к выводу, что комедия моя не заинтересовала Вас ни в какой степени, как, видимо, не заинтересовала Вас и моя драматургия вообще... Весьма высоко оценивая Ваш театр и почитая Ваш замечательный талант, я тем не менее вынужден просить о расторжении договора, дабы мои робкие драматургические шаги не заглушились бы случайно иными работами, более интересными Вам».

Вот как мог Зощенко писать — холодно и надменно! В конце письма он сообщает, что отдает комедию «Очень приятно» другому театру,

который, «преодолев многие препятствия» (явный «укол» Акимову), весьма любопытно «поставил мой “Парусиновый портфель”». И — церемонно расшаркивается: «Я не имею к Вам обиды, Николай Павлович, и сердечно прошу Вас не обижаться на меня».

Из статьи П. Муромского, одного из наиболее серьезных исследователей творчества Зощенко, мы узнаем, что комедия Зощенко «Очень приятно» вскоре появилась на сцене Ленинградского городского драматического театра в постановке В.П. Кожина и получила позитивный отзыв в печати. На обсуждении премьеры с одобрительными отзывами выступили ленинградские писатели Е. Шварц, М. Козаков, режиссеры А. Брянцев, Е. Морщихин и другие. Комедия была воспринята как удачное воплощение поисков Зощенко в области «скрещения жанров». Заговорили даже о «рождении зощенковского театра» как особого художественного явления!

Вот так вот Вам, Николай Павлович!

Акимов откликнулся, как всегда, умно и язвительно — написал, что оценивает пьесу «Очень приятно» «лишь как подступ к настоящей развлекательной комедии, в которой блеск деталей, на сегодня уже достигнутый, будет сочетаться с ясностью общего замысла и точностью драматургического построения».

Вот так вот Вам, Михаил Михайлович!

Но Зощенко не сдаётся. В апреле 1946 года состоялась премьера его комедии «Парусиновый портфель» в Блокадном театре (режиссер В. Кожич). Как людям хочется после тяжелой войны похохотать! Комедия уморительная... Муж, направляясь к любовнице, по ошибке берет вместо своего парусинового портфеля такой же портфель зашедшего электрика. Электрик свой портфель настойчиво ищет и находит его у любовницы. И все открывается... Из-за непрекращающегося хохота комедия вместо положенных двух часов шла три!

Впрочем, два гения, да еще занимающиеся одним делом в одном городе, не могут разойтись навсегда. Их обязательно «притянет» друг к другу!

И следующая комедия Зощенко «Пусть неудачник плачет» была-таки принята в Театре комедии! Акимов пишет Зощенко 25 июля 1946 года: «Мне очень нравится» — и просит автора прислать финальную сцену и подумать о выборе актеров на главные роли... Вот так!

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Но главное, что определяет нашу жизнь, — «театр политический». А политическая обстановка была напряженная. И особенно все накалилось в процессе подготовки к «Всенародному празднику выборов». Для властей это было главное — утвердить свои полномочия. Последние выборы в Верховный Совет были еще аж в 1937-м. Ряды, как сами понимаете, поредели...

Между тем подготовка к «Всенародному празднику выборов» шла не гладко. В присоединенных в результате войны частях братских республик — Западной Белоруссии и Западной Украине — население вообще не хотело голосовать: им, оказывается, новая жизнь вообще не нравилась. Кулаков (а их там почему-то оказалось очень много) выселяли с хуторов, многих отправляли в Сибирь. В Западной Украине, Западной Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии действовали националистические банды — убивали агитаторов, агитпункты сжигали. Даже в РСФСР появлялись листовки, нацеленные против выборов: «Граждане, голосуйте против! Сталин продает хлеб за границу, а народ сидит голодным. Он кровопивец, пьет народную кровь. Долой его, долой самодержавие!»

И конечно, раздраженный взгляд Сталина был направлен и на писателей, на их воспитательную роль: что они пишут? И проще всего было, конечно, бить по уже «пристрелянным целям» — Зоценко, Ахматова...

В начале августа 1946 года проходит заседание ЦК в Москве, куда были приглашены и «представители трудящихся», и некоторые ведущие (в основном, правда, «руководящие») писатели. И Сталин вдруг сказал: «Почему я недолюбливаю людей вроде Зоценко? Потому что они пишут что-то похожее на рвотный порошок. Можем ли мы терпеть на посту руководителей людей, которые это пропускают в печать? У нас журнал не частное предприятие... Разве этот дурак, балаганный рассказчик, писака Зоценко может воспитывать?»

И — «государственная машина» заработала!

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года:

«ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы “Звезда” и “Ленинград” ведутся совершенно неудовлетворительно.

В журнале “Звезда” за последнее время, наряду со значительными и

удачными произведениями советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой “Звезды” является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции “Звезды” известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко “Приключения обезьяны” (“Звезда”, № 5–6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

Предоставление страниц “Звезды” таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции “Звезды” хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как “Перед восходом солнца”, оценка которой, как и оценка всего литературного “творчества” Зощенко, была дана на страницах журнала “Большевик”.

Журнал “Звезда” всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, “искусства для искусства”, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среде ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Стали публиковаться произведения, проникнутые

тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни (стихи Садофьева и Комиссаровой в № 1 за 1946 год и т. д.). Помещая эти произведения, редакция усугубила свои ошибки и еще более принизила идейный уровень журнала.

Допустив проникновение в журнал чуждых в идейном отношении произведений, редакция понизила также требовательность к художественным качествам печатаемого литературного материала. Журнал стал заполняться малохудожественными пьесами и рассказами (“Дорога времени” Ягдфельдта, “Лебединое озеро” Штейна и т. д.). Такая неразборчивость в отборе материалов для печатания привела к снижению художественного уровня журнала.

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал “Ленинград”, который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой. Как и редакция “Звезды”, редакция журнала “Ленинград” допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений (“Случай над Берлином” Варшавского и Реста, “На заставе” Слонимского). В стихах Хазина “Возвращение Онегина” под видом литературной пародии дана клевета на современный Ленинград. В журнале “Ленинград” помещаются преимущественно бессодержательные низкопробные литературные материалы.

Как могло случиться, что журналы “Звезда” и “Ленинград”, издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности? В чем смысл ошибок редакций “Звезды” и “Ленинграда”? Руководящие работники журналов, и в первую очередь их редакторы гг. Саянов и Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством Советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности.

Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире,

состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия.

Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, “искусства для искусства” чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах.

Недостаток идейности у руководящих работников “Звезды” и “Ленинграда” привел также к тому, что эти работники поставили в основу своих отношений с литераторами не интересы правильного воспитания советских людей и политического направления деятельности литераторов, а интересы личные, приятельские. Из-за нежелания портить приятельские отношения притуплялась критика. Из-за боязни обидеть приятелей пропускались в печать явно негодные произведения. Такого рода либерализм, при котором интересы народа и государства, интересы правильного воспитания нашей молодежи приносятся в жертву приятельским отношениям и при котором заглушается критика, приводит к тому, что писатели перестают совершенствоваться, утрачивают сознание своей ответственности перед народом, перед государством, перед партией, перестают двигаться вперед.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что редакции журналов “Звезда” и “Ленинград” не справились с возложенным делом и допустили серьезные политические ошибки в руководстве журналами.

ЦК устанавливает, что Правление Союза советских писателей и, в частности, его председатель т. Тихонов не приняли никаких мер к улучшению журналов “Звезда” и “Ленинград” и не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов.

Ленинградский горком ВКП(б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства журналами и предоставил возможность чуждым советской литературе людям, вроде Зощенко и Ахматовой, занять руководящее положение в журналах. Более того, зная отношение партии к Зощенко и его “творчеству”, Ленинградский горком (тт. Капустин и Широков), не имея на то права, утвердил решением горкома

от 28.1. с. г. новый состав редколлегии журнала “Звезда”, в который был введен и Зоценко. Тем самым Ленинградский горком допустил грубую политическую ошибку. “Ленинградская правда” допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа о творчестве Зоценко в номере от 6 июля с. г.

Управление пропаганды ЦК ВКП(б) не обеспечило надлежащего контроля за работой ленинградских журналов. ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать редакцию журнала “Звезда”, Правление Союза советских писателей и Управление пропаганды ЦК ВКП(б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зоценко, Ахматовой и им подобных.

2. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных журналов в Ленинграде в настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала “Ленинград”, сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала “Звезда”.

В целях наведения надлежащего порядка в работе редакции журнала “Звезда” и серьезного улучшения содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию. Установить, что главный редактор журнала несет полную ответственность за идейно-политическое направление журнала и качество публикуемых в нем произведений.

4. Утвердить главным редактором журнала “Звезда” тов. Егорова А.М. с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б).

5. Поручить Секретариату ЦК рассмотреть и утвердить состав редакторов отделов и редколлегии.

6. Отменить решение Ленинградского горкома от 26 июня с. г. о редколлегии журнала “Звезда”, как политически ошибочное. Объявить выговор второму секретарю горкома тов. Капустину Я.Ф. за принятие этого решения.

7. Снять с работы секретаря по пропаганде и заведующего отделом пропаганды и агитации Ленинградского горкома тов. Широкова И. М., отозвав его в распоряжение ЦК ВКП(б).

8. Возложить партруководство журналом “Звезда” на Ленинградский обком. Обязать Ленинградский обком и лично первого секретаря Ленинградского обкома и горкома тов. Попкова принять все необходимые меры по улучшению журнала и по усилению идейно-политической работы среди писателей Ленинграда.

9. За плохое руководство журналом “Ленинград” объявить выговор тов. Лихареву Б. М.

10. Отмечая, что журнал “Звезда” выходит в свет со значительными опозданиями, оформляется крайне небрежно (обложка имеет неприглядный вид, не указывается месяц выхода очередного номера), обязать редакцию “Звезды” обеспечить своевременный выход журнала и улучшить его внешний вид.

11. Возложить на Управление пропаганды ЦК (т. Александрова) контроль за выполнением настоящего постановления.

12. Заслушать на Оргбюро ЦК через 3 месяца отчет главного редактора “Звезды” о выполнении постановления ЦК.

13. Командировать т. Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления ЦК ВКП(б)».

Вопиющая несправедливость этого постановления, написанного якобы в заботе о народе, состоит в том, что уничтожался Михаил Зощенко, любимый народом писатель. Все предыдущие статьи и постановления, направленные против него, убеждали лишь тех, кто их писал. На пристрастия читателей это мало влияло. Вот эпизод из воспоминаний писателя И. Меггера (*Меггер И. Свидетельство современника // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«В сорок четвертом году в Ленинграде еще действовали ночные пропуска — без них после полуночи появляться на улице запрещалось. А приключилось однажды так, что человек десять литераторов задержались в писательском клубе допоздна: когда хватились, оказалось — уже далеко за полночь. Ночных пропусков ни у кого из нас не было, в том числе и у Зощенко. Однако порешили мы коллективно так: авось проскочим, минуя военные патрули. С тем и вышли с улицы Воинова на Литейный. Идти пришлось недолго, метров триста, — задержали нас тут же, на Литейном. Улица была погружена в военную темень, электрический фонарик патрульного офицера нащупал нас, сбил в кучу, два солдата встали рядом. Перспектива была ясна — сидеть нам до утра в комендатуре. Офицер потребовал ночные пропуска. Михаил Михайлович протянул ему свой паспорт. Прежде чем спрятать его в планшет, офицер осветил фонариком первую страничку. И внезапно лицо его утратило всю свою суровость и служебную подозрительность.

— Товарищ Зощенко! — сказал он с почтительным восхищением. По-видимому, ему хотелось сказать что-то еще, но он лишь добавил совершенно по-домашнему: — Здравствуйте, товарищ Зощенко... Эти граждане с вами?

— Со мной, — кивнул Михаил Михайлович. И мы были пропущены всей гурьбой». Любовь к Михаилу Зощенко не определялась

официальной поддержкой, слава его зародилась и выросла в коммунальных квартирах, трамваях, жестких бесплацкартных вагонах. На мнение таких читателей, простых, а не номенклатурных — трудно «давить», трудно на них как-то влиять. Им нечего терять, кроме... Зощенко.

Очевидцы вспоминают, что когда вышло постановление ЦК, Михаила Зощенко с ужасом ждали на намеченном обсуждении его пьесы в театре: каким он явится? Все Зощенко любили, переживали: как с ним после всего разговаривать? И вдруг он пришел нарядный, подтянутый, и все сразу поняли, что он *еще не знает!* Да — тяжело было людям выступать, что-то дельное говорить, уже зная, что постановки пьесы не будет! А Зощенко кивал и записывал... Если это изобразить, тоже будет неслабая пьеса... Скорее — трагедия. Когда наконец Зощенко узнал о напечатанном постановлении, первое, что он сделал — помчался в Сестрорецк вытащить газеты из почтового ящика, чтобы «семья не узнала»... Это уже жест отчаяния — разве такое скроешь?

Лидия Чалова вспоминает:

«Все первые дни после публикации постановления ЦК начинались для меня так. Прихожу на работу и тут же слышу: “Зощенко застрелился!” Сломая голову бегу на канал Грибоедова. Он сам открывает дверь... Слава Богу!.. На следующее утро: “Сегодня ночью забрали Михаила Михайловича!” Снова бегу... Нет, к счастью, опять ложная тревога. Но он говорит, что вообще-то ждет ареста не сегодня, так завтра...

Возвратившись в Ленинград, я жила у родителей, и Михаил Михайлович почти каждое воскресенье приходил к нам обедать. Ждали мы его и 25 августа (то был первый воскресный день после напечатанного в “Правде” постановления), а он все не шел и не шел. Тогда отец попросил меня позвонить ему и сказать, что без него мы за стол не сядем. Я позвонила, Михаил Михайлович вскоре пришел, и с того дня мне ни разу уже не потребовалось делать ему “дополнительное приглашение”. Он знал, когда мы садимся за стол, и всегда появлялся точно ко времени».

Рядом с Зощенко были люди, пытавшиеся ему помочь. Он этого заслуживал.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Выбор Андрея Александровича Жданова на роль «главного обвинителя» был не случаен. К тому времени он уже «повысился» за свои заслуги до Москвы, но всю войну руководил Ленинградом: был первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), председателем Чрезвычайной комиссии по вопросам обороны Ленинграда, членом Военного совета Главного командования войск Северо-западного направления. То есть Михаилу Зощенко был противопоставлен человек не случайный, ленинградцам известный. Человек большой, заслуженный — человеку ничтожному, мизерному. Вот — Жданов, успешно руководивший жизнью нашего города в трудную пору. И вот — Зощенко, покинувший город, отсидевшийся в эвакуации, сочинивший там вредную книгу и продолжающий в том же духе.

Помню, в сороковые годы я увидел портрет Жданова на листке отрывного календаря и почему-то запомнил: солидный, упитанный, с усиками, похожий на остальных вождей.

Потом, в перестройку, в популярнейшем тогда «Огоньке» появилась очередная «сенсация», сразившая всех нас статья «Ждановская жидкость». Оказывается, ждановская жидкость употреблялась еще до революции, чтобы перебить запах покойника. Далее — перечислялись все жертвы Жданова.

Из опубликованных тогда же мемуаров Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, уехавшей на Запад, мы узнали, что в юношеские годы в Кремле она ходила в гости в семью Ждановых, дружила с их сыном. Папа Сталин ее расспрашивал, как Ждановы живут, и огорчился, что в их доме присутствует буржуазная «тяга к роскоши».

Да — Жданов был не из «босяков», вырос в семье старого воспитания, отец его был инспектором народных училищ. Из воспоминаний одной старой партийки, работавшей в Смольном, мы узнаём, что именно Жданов приказал им «одеваться прилично», а мужчинам носить костюм и галстук... И вообще — был культурный, воспитанный человек. Семья была музыкальная — и Жданов великолепно играл на фортепьяно, любил классику.

Биографы писали о том, как Жданов любил ранние произведения Шостаковича, полные «светлой романтики», и как его огорчали формалистические сочинения композитора, и как Жданов, легко наигрывая

с нот самые изощренные вещи Шостаковича, профессионально критиковал их.

Роль Жданова в годы блокады рисовалась по-разному. В 1990-е неоднократно писали о том, что он, когда горожане умирали от голода, ел ромовые бабы и заставлял себя играть в теннис, чтобы не растолстеть.

Однако в то, что он безответственно относился к своей работе, из-за чего выросло количество жертв блокады, — верится не очень. Безусловно — плохого организатора Сталин на этом месте не потерпел бы. Жданов вполне соответствовал требованиям, предъявляемым к советскому крупному начальнику. И при этом, конечно, был «солдатом партии» и действовал «по уставу». Вряд ли полная блокада и все, что случилось, входили в их планы. Тут надо винить гитлеровских стратегов, стремительно замкнувших кольцо вокруг города. Дальше Жданов действовал по тем законам, которые советское руководство считало правильными. «Город не сдаётся!» — это было основной задачей. Изможденные люди, дети в холодных цехах, работавшие, как взрослые, подставлявшие себе ящик, чтобы достать до станка, и — вытаскивавшие снаряды. Такая хроника показывалась не раз — с гордостью, под патетическую музыку Шостаковича. Город не сдавался, работал на победу! Тогда этим гордились. Во всяком случае, этим принято было гордиться. Иных «сценариев» тогда не признавали. Помню фильм «Как закалялась сталь». В невероятных условиях, в голоде и холоде, герои строят узкоколейку, чтобы привезти из леса в замерзающий город дрова. И вот — вагончик поехал. Измученные, но счастливые лица героев...

И Жданов, безусловно, руководил в тех же традициях: людей, оказавшихся в невыносимых условиях, поднимать на подвиги. Так и куются герои, вера в непобедимость наших людей!

Даниил Гранин в книге, вышедшей уже в наши дни, пишет, что на фронте Жданова не любили, потому как он не появлялся на передовой. Но другие очевидцы вспоминают, что когда по замерзшей Ладоге пришел первый грузовик — именно Жданов бросился к водителю и стал его обнимать. Теперь все чаще пишут о том, что никаким «оргиям обжорства» Жданов не предавался, поскольку был диабетик. Питался, конечно, лучше, чем рядовые ленинградцы, но — строго по партийным нормам. Спал порой прямо в кабинете, работая допоздна. И действительно, чтобы в замерзающем городе не исчезал «пульс» — нужно было многое делать, держать в голове сотни проблем и быстро, без долгих разговоров, решать. Один летчик вспоминает, как он приехал с аэродрома с заданием — сделать передвижные станции ремонта авиатехники — и Жданов в застывшем,

казалось, городе нашел и автобусы, и оборудование, и бензин. Нельзя не верить очевидцам, бывшим с ним рядом, написавшим, что Жданов, старый «сердечник», на ногах перенес инфаркт. Пишут, что Сталин вызвал Жданова во время блокады в Москву, поблагодарил его и даже обнял. «Инфаркт, перенесенный на ногах», безусловно, украшал образ настоящего большевика. И других образов тогда и быть не могло!

То есть — по их, большевиков, правилам — Жданов действовал безупречно. И во многом благодаря его усилиям Ленинград устоял. Как всегда у нас в экстремальных ситуациях подтверждение необыкновенно высокого духа именно советских людей, в отличие от людей прочих, значит гораздо больше, чем жизнь (и смерть) отдельных граждан.

А Зощенко, с его постоянной иронией, неуправляемым инакомыслием (написать во время войны книгу черт знает о чем!) раздражал.

И вот — Жданов приехал.

Писателей собрали в актовом зале Смольного. Длинный доклад Жданова слушали в тишине.

«Товарищи! Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала “Звезда” является предоставление своих страниц для литературного “творчества” Зощенко и Ахматовой. Я думаю, что мне нет нужды цитировать здесь “произведение” Зощенко “Приключения обезьяны”. Видимо, вы все его читали и знаете лучше, чем я. Смысл этого “произведения” Зощенко заключается в том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зощенко совершенно не интересуется труд советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Это копание в мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зощенко....

“Приключения обезьяны” не есть для Зощенко нечто выходящее за рамки его обычных писаний. Это “произведение” попало в поле зрения критики только лишь как наиболее яркое выражение всего того отрицательного, что есть в литературном “творчестве” Зощенко. Известно, что со времени возвращения в Ленинград из эвакуации Зощенко написал ряд вещей, которые характерны тем, что он не способен найти в жизни советских людей ни одного положительного явления, ни одного положительного типа. Как и в “Приключениях обезьяны”, Зощенко привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, советскими людьми, прикрывая это глумление маской пустопорожней

развлекательности и никчемной юмористики.

Если вы повнимательнее вчитаетесь и вдумаетесь в рассказ “Приключения обезьяны”, то вы увидите, что Зощенко наделяет обезьяну ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которой дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяне гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей.

Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?

Если “произведения” такого сорта преподносятся советским читателям журналом “Звезда”, то как слаба должна быть бдительность ленинградцев, руководящих журналом “Звезда”, чтобы в нем можно было помещать произведения, отравленные ядом зоологической враждебности к советскому строю. Только подонки литературы могут создавать подобные “произведения”, и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход.

Зощенко с его омерзительной моралью удалось проникнуть на страницы большого ленинградского журнала и устроиться там со всеми удобствами. А ведь журнал “Звезда” — орган, который должен воспитывать нашу молодежь. Но может ли справиться с этой задачей журнал, который приютил у себя такого пошляка и несоветского писателя, как Зощенко?! Разве редакции “Звезды” не известна физиономия Зощенко?!

Ведь совсем еще недавно, в начале 1944 года, в журнале “Большевик” была подвергнута жестокой критике возмутительная повесть Зощенко “Перед восходом солнца”, написанная в разгар освободительной войны советского народа против немецких захватчиков. В этой повести Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: смотрите, вот какой я хулиган.

Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та “мораль”, которую проповедует Зощенко в повести “Перед восходом солнца”, изображая людей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести. И эту мораль он преподносил советским читателям в тот период, когда наш народ обливался кровью в неслыханно тяжелой войне, когда жизнь Советского государства висела на волоске,

когда советский народ нес неисчислимые жертвы во имя победы над немцами.

А Зощенко, окопавшись в Алма-Ате, в глубоком тылу, ничем не помог в то время советскому народу в его борьбе с немецкими захватчиками. Совершенно справедливо Зощенко был публично высечен в “Большевике” как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк. Он наплевал тогда на общественное мнение. И вот не прошло еще двух лет, как тот же Зощенко триумфально въезжает в Ленинград и начинает свободно разгуливать по страницам ленинградских журналов. Его охотно печатает не только “Звезда”, но и журнал “Ленинград”. Ему охотно и с готовностью предоставляют театральные аудитории. Больше того, ему дают возможность занять руководящее положение в Ленинградском отделении Союза писателей и играть активную роль в литературных делах Ленинграда.

На каком основании вы даете Зощенко разгуливать по садам и паркам ленинградской литературы? Почему партийный актив Ленинграда, его писательская организация допустили эти позорные факты?!

Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его современные “произведения” вовсе не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного “наследства” Зощенко, которое ведет начало с 20-х годов.

Кто такой Зощенко в прошлом? Он являлся одним из организаторов литературной группы так называемых “Серапионовых братьев”. Какова была общественно-политическая физиономия Зощенко в период организации “Серапионовых братьев”? Позвольте обратиться к журналу “Литературные записки” № 3 за 1922 год, в котором учредители этой группы излагали свое кредо. В числе прочих откровений там помещен “символ веры” и Зощенко в статейке, которая называется “О себе и еще кое о чем”. Зощенко, никого и ничего не стесняясь, публично обнажается и совершенно откровенно высказывает свои политические, литературные “взгляды”. Послушайте, что он там говорил:

“ — Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, та же идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность”. “Какая, скажите, может быть у меня 'точная идеология', если ни одна партия в целом меня не привлекает?” “С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный...” и т. д. и т. п.

Что вы скажете, товарищи, об этой «идеологии»? Прошло 25 лет с тех пор, как Зоценко поместил эту свою «исповедь». Изменился ли он с тех пор? Незаметно. За два с половиной десятка лет он не только ничему не научился и не только никак не изменился, а, наоборот, с циничной откровенностью продолжает оставаться проповедником безыдейности и пошлости, беспринципным и бессовестным литературным хулиганом. Это означает, что Зоценко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, так и теперь он чужд и враждебен советской литературе. Если при всем этом Зоценко в Ленинграде стал чуть ли не корифеем литературы, если его превозносят на ленинградском Парнасе, то остается только поражаться тому, до какой степени беспринципности, нетребовательности, невзыскательности и неразборчивости могли дойти люди, прокладывающие дорогу Зоценко и поющие ему славословия!

Какой вывод следует из этого? Если Зоценко не нравятся советские порядки, что же прикажете: приспособливаться к Зоценко? Не нам же перестраиваться во вкусах. Не нам же перестраивать наш быт и наш строй под Зоценко. Пусть он перестраивается, а не хочет перестраиваться — пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безыдейным и пошлым произведениям. (Бурные аплодисменты.)

Вот из чего исходил ЦК, принимая решение о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Пропаганда безыдейности получила равноправие в «Звезде». Мало того, выясняется, что Зоценко приобрел такую силу среди писательской организации Ленинграда, что даже покрикивал на несогласных, грозил критикам прописать их в одном из очередных произведений. Он стал чем-то вроде литературного диктатора. Его окружала группа поклонников, создавая ему славу. Спрашивается, на каком основании? Почему вы допустили это противоестественное и реакционное дело?

Советские писатели должны помочь народу, государству, партии воспитать нашу молодежь бодрой, верящей в свои силы, не боящейся никаких трудностей».

Читая этот доклад теперь, что можно понять нам в той ситуации? Интересно заявление Жданова о том, что «Зоценко приобрел такую силу среди писательской организации Ленинграда, что даже покрикивал на несогласных, грозил критикам прописать их в одном из очередных произведений. Он стал чем-то вроде литературного диктатора».

Видимо, Зоценко действительно начал набирать вес. О некоторой

барственности его тона писал и близкий ему человек, жена Михаила Слонимского. Но что в этом такого? Писатель должен знать себе цену. За время своего пребывания в Союзе писателей я видел столько «барственных» особ!.. Но даже фамилий их теперь не могу вспомнить. А уж Зоценко — имел основания!

Жданов не забыл, конечно, и о буйной молодости «Серапионовых братьев», когда каждый из них пытался поразить читателя экстравагантностью своих «аполитичных» заявлений... И слова Зоценко той поры о его «политической безнравственности» — теперь, в тяжелых послевоенных условиях, после победы, давшей такую цену, конечно, выглядели неприглядно. В общем, речь Жданова была составлена «как надо».

Не мог он пропустить и уже известный мотив «деятельности» Зоценко во время войны, когда тот, «окопавшись в Алма-Ате» (правда, как раз по указанию Смольного), «вывернул свою мерзкую душонку» в повести «Перед восходом солнца». Читая эту вещь, мы понимаем, что ничего «мерзкого» там нет — повесть чрезвычайно серьезная, откровенная, чистая... Но Жданову обязательно надо было «уничтожить» Зоценко как наиболее авторитетного писателя, олицетворяющего независимость, внутренне несогласившегося «приковаться навек» к «галере» соцреализма и продолжавшего писать то, что считал нужным — и притом еще не осужденного за это окончательно, как уже было сделано с Булгаковым, Платоновым и другими, не говоря о сгинувших. А этот — жив и еще пользуется авторитетом и любовью. Редакторы, вместо того чтобы покончить с ним, снова «поднимают его на щит»! Пора дать ему должную оценку! И на примере детского рассказа «Похождения обезьяны», перепечатанного из детской «Мурзилки» в «Звезде», Жданов заключает: «Зоценко привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, советскими людьми, прикрывая это глумление маской пустопорожней развлекательности и никчемной юмористики».

Посмотрим, насколько справедлива такая оценка. Прочтем этот злополучный рассказ.

«Похождения обезьяны»

В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором находились — один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна, или, попросту говоря, мартышка. И,

конечно, разная мелочь — птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная чепуха из мира животных.

В начале войны, когда фашисты бомбили этот город, одна бомба попала прямо в зоологический сад. И там она разорвалась с громадным оглушительным треском. Всем зверям на удивленье.

Причем были убиты три змеи — все сразу, что, быть может, и не является таким уже тяжелым фактом, и, к сожалению, страус.

Другие же звери не пострадали и, как говорится, лишь отделались испугом.

Из всех зверей больше всего была перепугана обезьяна мартышка. Ее клетку опрокинуло воздушной волной. Эта клетка упала со своего возвышения. Боковая стенка сломалась. И наша обезьяна выпала из клетки прямо на дорожку сада.

Она выпала на дорожку, но не осталась лежать неподвижно по примеру людей, привыкших к военным действиям. Наоборот. Она тотчас влезла на дерево. Оттуда прыгнула на забор. С забора на улицу. И как угорелая побежала.

Бежит и, наверное, думает. “Э, нет, — думает, — если тут бомбы кидают, то я не согласна”. И, значит, что есть силы бежит по улицам города, и до того шибко бежит, — будто ее собаки за пятки хватают.

Пробежала она через весь город. Выбежала на шоссе. И бежит по этому шоссе прочь от города. Ну — обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе.

Бежала, бежала и устала. Переутомилась. Влезла на дерево. Съела муху для подкрепления сил. И еще пару червячков. И заснула на ветке, там, где сидела.

А в это время ехала по дороге военная машина. Шофер увидел обезьяну на дереве. Удивился. Тихонько подкрался к ней. Накрыл ее своей шинелькой. И посадил в свою машину. Подумал: “Лучше я ее подарю каким-нибудь своим знакомым, чем она тут погибнет от голода, холода и других лишений военного времени”. И, значит, поехал вместе с обезьяной.

Приехал в город Борисов. Пошел по своим служебным делам. А мартышку в машине оставил. Сказал ей:

— Подожди меня тут, милочка. Сейчас вернусь.

Но мартышка не стала ждать. Она вылезла из машины через разбитое стекло и пошла себе по улицам гулять.

И вот идет она по улице как миленькая. Гуляет, прохаживается, задрав хвост. Народ, конечно, удивляется, хочет ее поймать. Но поймать ее не так-то легко. Она живая, проворная, бегаёт быстро. Так что ее не поймали, а

только замучили напрасной беготней.

Замучилась она, устала. И, конечно, кушать захотела.

А в городе, где она может покушать? На улицах ничего такого съедобного нет. Не может же она со своим хвостом в столовую зайти. Или в кооператив. Тем более — денег у нее нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. Кошмар.

Все-таки она зашла в один кооператив. Почувствовала, что там что-то такое имеется. А там отпускали населению овощи — морковь, брюкву и огурцы.

Заскочила она в этот магазин. Видит — большая очередь. Нет, в очереди она не стала стоять. И не стала расталкивать людей, чтобы пробиться к прилавку. Она прямо по головам покупателей добежала до продавщицы. Вскочила на прилавок. Не спросила, почему стоит кило морковки. А просто схватила целый пучок морковки и, как говорится, была такова. Выбежала из магазина довольная своей покупкой. Ну — обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия.

Конечно, в магазине шум произошел, гам, переполох. Публика закричала. Продавщица, которая вешала брюкву, та вообще чуть в обморок не грохнулась от неожиданности. И действительно, можно напугаться, если вдруг рядом, вместо обычного, нормального покупателя, скачет что-то такое мохнатое с хвостом. И еще, вдобавок, денег не платит.

Публика бросилась за обезьяной на улицу. А та бежит и на ходу морковку жует, кушает. Не понимает, что к чему.

И вот впереди всех бегут мальчишки. За ними взрослые. А позади бежит милиционер и дует в свой свисток.

И вдруг, откуда ни возьмись, выскочила собака. И тоже погналась за нашей мартышкой. Притом такая нахалка, не только тявкает и лает, а прямо-таки норовит схватить обезьяну своими зубами.

Наша мартышка побежала быстрее. Бежит и, наверное, думает: “Эх, — думает, — зря покинула зоосад. В клетке спокойнее дышится, непременно вернусь в зоосад при первой возможности”.

И вот бежит она что есть мочи, но собака не отстаёт и вот-вот может ее схватить.

И тогда наша обезьяна вскочила на какой-то забор. И когда собака подпрыгнула, чтоб схватить мартышку хотя бы за ногу, та со всей силы ударила ее морковкой по носу. И до того больно ударила, что собака завизжала и побежала домой со своим разбитым носом. Наверное, подумала: “Нет, граждане, лучше я буду дома спокойно лежать, чем ловить вам обезьяну и испытывать такие неприятности”.

Короче говоря, собака убежала, а наша обезьяна прыгнула во двор.

А во дворе в это время колот дрова один мальчик, подросток, некто Алеша Попов.

Вот он колет дрова и вдруг видит обезьяну. А он очень любил обезьян. И всю жизнь мечтал иметь при себе такую обезьяну. И вдруг, пожалуйста.

Алеша скинул с себя пиджачок. И этим пиджачком накрыл мартышку, которая забилась в угол на лестнице.

Мальчик принес ее домой. Накормил ее. Чаем напоил. И обезьяна была очень довольна. Но не совсем. Потому что Алешина бабушка сразу ее невзлюбила. Она накричала на мартышку и даже хотела ударить ее по лапе. Все из-за того, что когда пили чай и бабушка положила свою надкусанную конфету на блюдечко, обезьяна схватила эту бабушкину конфету и запихала ее в свой рот. Ну — обезьяна. Не человек. Тот, если и возьмет что, так не на глазах же у бабушки. А эта сразу в присутствии бабушки. И, конечно, довела ее чуть ли не до слез. Бабушка сказала:

— Вообще, это крайне неприятно, когда в квартире живет какая-то макака с хвостом. Она будет меня пугать своим нечеловеческим видом. Будет прыгать на меня в темноте. Будет кушать мои конфеты. Нет, я категорически отказываюсь жить в одной квартире с обезьяной. Кто-нибудь из нас двоих должен находиться в зоологическом саду. Неужели же непременно я должна перейти в зоологический сад? Нет, уж пусть лучше она находится там. А я буду продолжать жить в моей квартире.

Алеша сказал своей бабушке:

— Нет, бабушка, вам не надо переходить в зоосад. Я вам гарантирую, что мартышка больше у вас ничего не съест. Я ее воспитаю, как человека. Я научу ее кушать с ложечки. И пить чай из стакана. Что касается прыжков, то не могу же я запретить ей лазать на лампу, которая висит на потолке. Оттуда, конечно, она может прыгнуть вам на голову. Но вы, главное, не пугайтесь, если что произойдет. Потому что это всего лишь безобидная обезьяна, привыкшая в Африке прыгать и скакать.

На другой день Алеша ушел в школу. И попросил бабушку присмотреть за обезьяной. Но бабушка не стала за ней смотреть. Она подумала: “Вот еще, стану я смотреть за всяким чудовищем”. И с этими мыслями бабушка взяла и нарочно заснула в кресле.

И тогда наша обезьяна вылезла через открытую форточку на улицу. И пошла себе по солнечной стороне. Неизвестно, — может быть, она прогуляться хотела, но, может быть, и решила снова заглянуть в магазин, чтобы там что-нибудь себе купить. Не на деньги, а так.

А по улице проходил в это время один старик. Инвалид Гаврилыч. Он

шел в баню и в руках нес большую корзинку, в которой лежало мыло и белье.

Он увидел обезьяну и сначала даже не поверил своим глазам, что это обезьяна. Он подумал, что это ему показалось, поскольку перед этим он выпил кружку пива.

Вот он с удивлением смотрит на обезьяну. И та на него смотрит. Может быть, думает: “Это еще что за чучело с корзинкой в руках?”

Наконец Гаврилыч понял, что это настоящая обезьяна, а не воображаемая. И тогда он подумал: “Дай-ка я ее словлю. Отнесу завтра на рынок и там продам ее за сто рублей. И за эти деньги подряд выпью десять кружек пива”. И с этими мыслями Гаврилыч стал ловить обезьяну, приговаривая: “Кыс, кыс, кыс... подойди сюда”.

Нет, он знал, что это не кошка, но он не понимал, на каком языке с ней надо разговаривать. И только потом сообразил, что это высшее существо из мира зверей. И тогда он вытащил из кармана кусочек сахара, показал его обезьяне и сказал ей, поклонившись:

— Красавица мартышка, не желаете ли скушать кусочек сахара?

Та говорит: “Пожалуйста, желаю...” То есть, вообще, она ничего не сказала, потому что она говорить не умеет. Но она просто подошла, схватила этот кусочек сахара и стала его кушать.

Гаврилыч взял ее на руки и посадил в свою корзинку. А в корзинке было тепло и уютно. И наша мартышка не стала оттуда выскакивать. Быть может, она подумала: “Пусть этот старый пень понесет меня в своей корзинке. Это даже интересно”.

Сначала Гаврилыч думал отнести ее домой. Но потом ему не захотелось домой возвращаться. И он пошел с обезьянкой в баню. Подумал: “Еще и лучше, что я с ней в баню схожу. Я там ее вымою. Она будет чистенькая, приятненькая. На шею ей бантик привяжу. И мне за нее на рынке дороже дадут”.

И вот он со своей мартышкой пришел в баню. И стал с ней мыться.

А в бане было очень жарко — прямо как в Африке. И наша мартышка была очень довольна такой теплой атмосферой. Но не совсем. Потому что Гаврилыч намылил ее мылом, и мыло попало в рот. Конечно, это невкусно, но уже не настолько, чтоб кричать, царапаться и отказываться мыться. В общем, наша мартышка стала плевать, но тут мыло попало ей в глаз. И от этого мартышка совершенно обезумела. Она укусила Гаврилыча за палец, вырвалась из его рук и, как угорелая, выскочила из бани.

Она выскочила в ту комнату, где раздевались люди. И там она всех перепугала. Никто не знал, что это — обезьяна. Видят — выскочило что-то

такое круглое, белое, в пене. Кинулось сначала на диван. Потом на печку. С печки на ящик. С ящика кому-то на голову. И снова на печку.

Некоторые посетители закричали и стали выбегать из бани. И наша обезьяна тоже выбежала. И спустилась вниз по лестнице.

А там, внизу, находилась касса с окошечком. Обезьяна прыгнула в это окошечко, думая, что там ей будет спокойней и, главное, не будет такой суетни и толкотни. Но в кассе сидела толстая кассирша, которая ахнула и завизжала. И выбежала из кассы с криком:

— Караул! Кажется, бомба попала в мою кассу. Накапайте мне валерьянки.

Нашей мартышке надоели все эти крики. Она выбежала из кассы и побежала по улице.

И вот бежит она по улице, вся мокрая, в мыльной пене. А за ней снова бегут люди. Впереди всех мальчишки. За ними взрослые. А за взрослыми милиционер. А за милиционером наш престарелый Гаврилыч кое-как одетый, с сапогами в руках.

Но тут снова, откуда ни возьмись, выскочила собака, та самая, которая вчера за ней гналась.

Но собака на этот раз не погналась за ней. Собака только посмотрела на бегущую обезьяну, почувствовала сильную боль в носу и не побежала, даже отвернулась.

А в это время наш мальчик Алеша Попов, вернувшись из школы, не нашел дома своей любимой обезьянки. Он очень огорчился. И даже слезы показались на его глазах. Он подумал, что теперь уже никогда больше он не увидит своей славной обожаемой обезьянки.

И вот от скуки и грусти он вышел на улицу. Идет по улице, меланхоличный такой. И вдруг видит — бегут люди. Нет, сначала он не подумал, что они бегут за его обезьяной. Он подумал, что они бегут благодаря воздушной тревоге. Но тут он увидел свою обезьянку, всю мокрую, в мыле. Он бросился к ней. Схватил ее на руки. И прижал к себе, чтоб никому не отдавать.

И тогда все бегущие люди остановились и окружили мальчика.

Но тут из толпы вышел наш престарелый Гаврилыч. И, всем показывая укушенный палец, сказал:

— Граждане, не велите этому парнишке брать на руки мою обезьяну, которую я завтра хочу продать на рынке. Это моя собственная обезьяна, которая укусила меня за палец. Взгляните все на этот мой распухший палец. И это есть доказательство того, что я говорю правду.

Мальчик Алеша Попов сказал:

— Нет, это моя обезьяна. Видите, с какой охотой она пошла ко мне на руки. И это тоже доказательство того, что я говорю правду.

Но тут из толпы вышел еще один человек — тот самый шофер, который привез обезьяну в своей машине. Он говорит:

— Нет, уважаемые, это не ваша и не ваша обезьяна. Это моя мартышка, потому что я ее привез. Но я снова уезжаю в свою воинскую часть. И поэтому я подарю обезьяну тому, кто ее так любовно держит в своих руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно на рынке продать ради своей выпивки. Обезьяна принадлежит мальчику.

И тут вся публика захлопала в ладоши. И Алеша Попов, сияющий от счастья, еще крепче прижал к себе обезьяну. И торжественно понес ее домой.

Гаврилыч же со своим укушенным пальцем пошел в баню домываться.

И вот с тех пор обезьяна стала жить у мальчика Алеша Попова. Она и сейчас у него живет. Недавно я ездил в город Борисов. И нарочно зашел к Алеше — посмотреть, как там она у него живет. О, она хорошо живет! Она никуда не убегает. Стала очень послушной. Нос вытирает платком. И чужих конфет не берет. Так что бабушка теперь очень довольна, не сердится на нее и уж больше не хочет переходить в зоологический сад.

Когда я вошел в комнату к Алеше, обезьяна сидела за столом. Она сидела важная такая, как кассирша в кино. И чайной ложкой кушала рисовую кашу.

Алеша сказал мне:

— Я воспитал ее, как человека, и теперь все дети, и даже отчасти взрослые, могут брать с нее пример».

Прелестная вещь — и главное — чисто зощенковская, веселая! Тут и наш любимый инвалид Гаврилыч, который получил «кастрюлькой по кумполу» еще в замечательном рассказе «Нервные люди», и тут же коронная зощенковская баня, где всегда происходит что-то потешное — в этот раз Гаврилыч попытался вымыть с мылом обезьяну, но потерпел фиаско... Что тут «вредительского»? Да всё, по меркам Жданова, тут «вредительство»!

Начиная с обычного зощенковского языка, его лукаво-ироничных оборотов. Даже обезьяна «не видит смысла оставаться в этом городе». Злостная клевета! В каком это советском городе «нет смысла оставаться»? Или — такой «пассаж»: «Эх, думает, зря покинула зоосад. В клетке спокойнее дышится!» Как это понимать?! Можно по-разному. Но Жданов, блюститель всего советского, предлагает почему-то наиболее

антисоветскую трактовку — конечно же, автор намекает на то, что в Советской стране жить хуже, чем за решеткой. Конечно, можно понять и так. Но вряд ли Зощенко, сочиняя для детишек, такое имел в виду. Однако воспаленное воображение Жданова это «высветило». Можно и сказку «Про Курочку Рябу» и разбитое яйцо трактовать как призыв к разрушению устоев. Безусловно, разоблачительный взгляд Жданова не мог пропустить и такой фразы: «...и теперь все дети, и даже отчасти взрослые, могут брать с нее пример». Значит, советские люди хуже обезьяны, раз автор призывает брать с нее пример? Скорее — это мысль Жданова, а не Зощенко... Как говорится — кому что мерещится! Удивительно, что и сейчас, решившись пройтись по Интернету и посмотреть, как смотрят на это дело наши современники, я столкнулся, среди прочих, и с критическими суждениями. Вот отзыв одного из «пользователей»:

«1. Такие сказочки — после блокады Ленинграда, и для детей, на головы которых падали бомбы совсем недавно?

2. Скидки и карточки — тогда об этом старались не писать.

3. Идея про то, что в разбомбленном зоосаде было лучше, и в клетке дышалось привольнее.

4. Обезьяна крадет в открытую — а наш советский человек по-тайному, и у бабушки.

5. Пьяницы-инвалиды, живущие спекуляцией на рынке, — не годится.

6. Брать пример с обезьяны-воровки, хоть и перековавшейся, — так себе идея».

Да, конечно, в тот год было принято писать о другом. Помню, мы, дети, с увлечением читали бестселлер тех лет — книгу Матвеева «Зеленые цепочки», где ребята выслеживают «зеленые цепочки» ракет, которыми диверсанты наводили на цель немецкие бомбардировщики. Такие книги были — и я призываю любителей этой темы их почитать, чтобы понять и время, и то, как про него полагалось писать. Я вовсе не отрицаю книгу Матвеева, если бы нашел, с удовольствием бы ее перечитал... Но при чем здесь Зощенко? Он про мирную жизнь написал, где люди уже пытаются как-то веселиться. Инвалид — спекулянт? Помню, они выпиливали из военного плексигласа мундштуки и пытались их продавать. И спасибо Зощенко, что благодаря ему мы их вспомним, и нашего любимого инвалида Гаврилыча, который так пострадал в баталиях, кухонных и военных, и, как написал Зощенко, «конечность потерял»! Тут и фирменное зощенковское добродушие, и любовь, и настоящая близость к простому человеку, что всегда доводило начальство до судорог: не тот народ любит! Оказывается, и сейчас кто-то Зощенко не одобряет. Что делать? Люди, оказывается,

бывают разные, независимо от времен. И Жданов жив.

НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Однако хочется вспомнить и других людей. И поглядеть на те дни их глазами. Не всё же Жданов да Жданов! А Зоценко многие любили. Вот что вспоминал Владимир Лифшиц, поэт-сатирик (*Лифшиц В. Последняя встреча // Вспоминая Михаила Зоценко. Сборник*):

«Мне рассказывали об одном из выступлений Михаила Михайловича во время войны. Он был уже эвакуирован из осажденного Ленинграда в Алма-Ату и как-то читал в госпитале свои рассказы раненым бойцам. Слушатели, заполнившие госпитальный коридор, благодарно хохотали. Внезапно начальник госпиталя прервал Зоценко, извинился и, обращаясь к раненым, приказал: “Челюстникам выйти!..” Из рядов неохотно поднялись несколько фигур с забинтованными лицами и разошлись по палатам. “У них ранения в челюсти, им вредно так смеяться, — объяснил начальник госпиталя Михаилу Михайловичу. — Продолжайте, пожалуйста...”»

И после этого кто-то говорил, что Зоценко не помогал победе. Его и в окопах читали, как рассказывал мне один старичок. Маленькие книжечки с его рассказами и фельетонами широко издавались, и их читали на фронте. Сказать, что Зоценко ничего не сделал для победы, что на время войны он «дезертировал», что он и его книги никому были не нужны, особенно тем, кто воевал, — это грубая подтасовка. На самом деле Зоценко любили и штатские, и военные. Об этом рассказывает Меттер, современник Зоценко (*Меттер И. Свидетельство современника // Вспоминая Михаила Зоценко. Сборник*):

«Мне казалось тогда, что само физическое присутствие Михаила Михайловича как бы создавало вокруг него бактерицидную среду — этим свойством обладают благородные металлы. Серебро, золото, платина. Цельность его натуры, нестигаемой при всей ее деликатности, была отчетливо заметна и в первые месяцы блокады Ленинграда.

Мы виделись в то нелегкое время часто: Зоценко приходил в Радиокомитет, а я там бывал ежедневно. Литературно-драматический отдел с первых дней войны выпускал семь раз в неделю свою “Радиохронику” — большую передачу, состоявшую из выступлений писателей, деятелей искусства, науки, репортажей с фронта, великолепных стихов Ольги Берггольц и антифашистских фельетонов».

Можно построить дальнейшее описание той ситуации на цитировании сухих постановлений, многочисленных заказных, казенных статей,

появившихся после «разноса». Но лучше мы построим дальнейший ход повествования на воспоминаниях людей сочувствующих — чтобы не осталось ощущения безнадежности, напрасности всех усилий — как писательских, так и человеческих. На самом деле хорошее скапливается и сохраняется. Снова обратимся к воспоминаниям Меттера.

«Но все-таки было одно обстоятельство, изначально отличающее то наше собрание от тоскливого сериала всех иных. Дело в том, что Михаила Михайловича Зощенко любили. Не было на моей долгой памяти ни одного писателя, к которому испытывали бы подобное редчайшее единодушие любви и уважения. Я говорю буквально о всей пестроте ленинградского писательства, где постоянно хватало — хватает и сейчас — всякой мути. Однако общность высокого, ничем и никем не замутненного мнения о личности Зощенко подымала его над извилистыми интригами групповой поножовщины. Во всяком случае, мне казалось, что несправедная жестокость, обрушившаяся на Михаила Михайловича в августе сорок шестого года, ни в ком из ленинградских писателей не вызвала злорадства.

Я отлично помню то ощущение раздавленности и унижения, которое навалилось на нас в актовом зале Смольного во время развязного, площадногрубого и литературоведчески полуграмотного доклада Жданова. Обычно писатели с быстротой звука при любой команде начальства проделывали солдатский экзерсис “На караул!”, но тогда, в Смольном, ни один литератор не нашел в себе нравственных сил немедля отомобилизоваться применительно к подлости: никто, ни один человек не ринулся после доклада к трибуне доколачивать Ахматову и Зощенко.

Естественно, впоследствии тотчас опомнились самые законопослушные — те, кто с хоругвями вышагивает по бокам любого правительственного постановления. Но даже и они — так мне тогда казалось — хотя и гнали Зощенко с гончей сноровкой на возможный выстрел хозяина, но делали это без особого псиного азарта, а скорее по казенной служебной надобности. И в своем закадычном кругу они даже огорчались: ну зачем же такой замечательный писатель и человек сочинил этот гадкий пасквиль про обезьянку! И теперь не только ему, но и нам всем приходится это расхлебывать...»

Вот запись жены писателя Михаила Слонимского — о ситуации с Зощенко (*Слонимская И. Что я помню // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«Положение его в Ленинграде было прочное и спокойное. Он как-то посolidнел, успокоился, и даже в его обиходе появились какие-то снисходительные, покровительственные нотки. Мне они не нравились, но

тем не менее отношения были дружеские, привычные. И тут грянул доклад А. Жданова и постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”. По-моему, мы еще жили в Комарове и приехали на этот день в Ленинград. Никто ничего точно не знал (я говорю о близких нам людях), ходили какие-то неясные слухи. М.Л. ушел на собрание. И вот тут, кажется, вечером мне позвонил Зоценко (а он тоже в это время жил на своей даче в Сестрорецке), позвонил из города, и я поняла, что ему на это собрание билет не послали. Мы условились, что, когда М.Л. вернется, мы ему позвоним и он придет к нам.

М.Л. вернулся с собрания не один. Пришли к нам еще Козаковы, Мариенгоф с Никритиной, Эйхенбаумы. Сразу же позвонили Зоценко, и он пришел. Он явно был обеспокоен, но старался не подавать вида и пытался шутить. М.Л. увел его в кабинет и рассказал ему о том, что происходило на собрании. Кстати, один из московских “руководящих” товарищей предложил М.Л. выступить с осуждением Зоценко. М.Л. отказался (может быть, его потому и включили в то знаменитое постановление, потому что сам рассказ, по поводу которого “постановляли”, не представлял специального интереса). Выступил Н. Никитин очень растерянно и, не закончив выступления, под каким-то нелепым предлогом сошел с трибуны (или, как он сказал в своей сумбурной речи, — с эстрады). О Никитине я, естественно, говорю со слов тех, кто был на собрании.

В общем, все были и очень удивлены, и очень обеспокоены. Просидели мы за столом в ту ночь очень долго. Советовали Зоценко написать на самый верх, объяснить неправильность трактовки его писательского труда. О чем говорили точно, я уже не помню, а писать по принципу “если память мне не изменяет” о столь важных вещах не хочу. Помню только, что атмосфера была очень дружная.

Шли дни, полные всяких тревожных событий. Зоценко ничего не предпринимал и наверх не писал. Как я потом узнала, и Вера Вл. уговаривала его сделать это. Тучи сгущались, и в конце концов мы с Катей Саяновой решили почему-то, что, может быть, нас он послушается, и пошли к нему уговорить его написать письмо Сталину, чтобы снять с себя обвинения в том, в чем он не виноват. Мы говорили горячо и долго. Он слушал нас терпеливо, но и не выражая согласия. В конце концов он поблагодарил нас за участие и поцеловал мне руку, а Кате — нет. Меня это очень шокировало, и мне было неудобно — она приняла во всем этом разговоре такое же горячее участие, как и я. Потом я поняла, что она была женой Саянова, а Саянов напечатал ту несчастную “Обезьянку” и на собрании всячески отмежевывался. Вероятно, это его затормозило.

Письмо Сталину, очень достойное, спокойное письмо, было все же им написано и отправлено. Зоценки продавали вещи, продали половину своей сестрорецкой дачи. У них-то было совсем плохо.

Как же все-таки они жили? Зоценко, по-моему, ни к кому не обращался за помощью. Он был слишком самолюбив и горд. Я знаю, что ему (через Веру Владимировну, по-моему) помогали Каверин, Мариэтта Шагинян, Федин (он мне как-то сказал, что получил письмо от Веры Вл.). Купила для них рабочие карточки и этим обеспечила какой-то жизненный минимум Л.А. Чалова, с которой он был в эвакуации в Алма-Ате. И, конечно, большой поддержкой для него была Марина Деодоровна Мухранская. Она ему сказала, что, пока она существует, он с голоду не умрет (это я пишу с его слов), а ситуация была такая и его положение было таково, что эти слова имели совершенно реальный смысл. После пятьдесят первого года, когда М.Л. уже прочно вернулся в Ленинград, мы расплатились с долгами и жить стало легче, Зоценко иногда занимал у нас деньги на оплату квартиры. Мы предлагали ему взять столько, сколько ему нужно, а он говорил, что он будет брать у богатых, а вот у нас будет брать на квартиру и ему будет спокойнее житься, зная, что квартира у него всегда будет оплачена».

А вот воспоминания самого Михаила Слонимского:

«В августе 1946 года я, потрясенный только что выслушанным докладом, в котором Зоценко подвергся жесточайшей критике, шел домой через город, еще носивший страшные следы бомбежек и обстрелов. Мой спутник, молодой поэт, то и дело спрашивал меня:

— Что теперь будет, Михаил Леонидович? Что теперь будет?

Дома ждали меня Б.М. Эйхенбаум, М. Козаков с женой З. А. Никитиной и А. Мариенгоф с женой А.Б. Никритиной. Они были тоже взволнованы докладом. Мне сказали, что сейчас придет Зоценко.

Он пришел. В кепочке. В сером пиджачке и брюках в полоску. С палочкой. С легкой усмешкой на тощем лице.

— К чему же меня приговорили? — спросил он. — Меня не позвали на собрание.

Я ответил, что положение в высшей степени серьезное.

Все мы вместе прошли ко мне в кабинет. Зоценко спросил уже без улыбки:

— Какое самое худое слово из всех худых слов было обо мне сказано?

Меня оставили с ним наедине, и я постарался сжато изложить суть доклада. Заключил я так:

— Тебе бы, по-моему, следовало прежде всего заявить, что ты

советский человек и советский писатель.

— А кто же я такой? — искренне удивился Зощенко. — Как это вдруг на старости лет, на пятьдесят втором году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другим я и не был за все годы!

Мы перешли в другую комнату, где сидели остальные.

Зощенко хотел понять то, что произошло, но недоумение вновь и вновь вспыхивало в нем. Поистине то была страшная ночь.

Бдение наше длилось до утра. Затем мы расстались. О сне, конечно, и думать было нечего.

День за днем положение обострялось — в газетах, по радио, на собраниях. Имя Зощенко приобретало какой-то зловещий цвет.

Как-то в те дни я шел с Зощенко по набережной канала Грибоедова, и он сказал мне:

— А ведь со мной опасно показываться на людях.

— Да ну тебя! Не до шуток.

— Вот именно, что тут не до юмора. Появились какие-то критики, которые соединяют имена. Ты заметил? Я уже сложил чемоданчик».

Лишь 20 августа (все делается с изуверской медлительностью) постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» публикуется в газетах «Культура и жизнь» и «Ленинградская правда».

Двадцать шестого августа Зощенко посылает письмо Сталину. 4 сентября 1946-го постановлением Президиума Правления ССП СССР М.М. Зощенко исключается из Союза советских писателей (и тем самым лишается продуктовой карточки). Можно ли это «решение» считать «ответом вождя на письмо»? Вероятно. Тогда никакие важные решения без согласования с ним не принимались.

Кто помнит те времена — знает, что лишение продуктовых карточек было равносильно смертному приговору. Помню, как у моей старшей сестры Эли в 1946 году вытащили из кармана карточки на всю нашу семью, затем — помню, как она делает из веревки петлю и надевает на шею. Мы, плача, хватаем ее за руки... И положение Зощенко было отчаянное. Еду можно было купить только на рынке, в десять раз дороже — но и денег нет. Все издательства, журналы и театры расторгают с ним заключенные ранее договоры, требуют возвращения финансовых ссуд.

От голодной смерти его спасает самый преданный человек — Лида Чалова, она покупает для него продуктовые карточки.

Приходится распродавать мебель, купленную в годы успеха. Квартира пустеет. Писатель Иван Крат (автор военной повести, где действующим

лицом был Жданов) покупает у Зоценко тяжелый старинный диван, прет его к себе на этаж, у него случается сердечный приступ, и он умирает.

Нужда заставляет Зоценко вспомнить профессию сапожника. Один из знакомых, зайдя в гости без предупреждения, успел увидеть, как Зоценко ползает по полу, вырезая из войлока стельки. Всё как у героя Зоценко сапожника Снопкова: «И жили они определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали...» Для Зоценко наступила «зима» — его новые вещи под разными предложениями не принимали, старые договоры аннулировали.

В десятках статей, обзоров, рецензий, читательских писем, «творческих отчетов» и интервью Михаила Зоценко прорабатывали и поносили с такой монотонной яростью, какой не видывали со времен недоброй памяти РАППа.

Все это привело к самому печальному — в сознании обывателя, проще говоря, в среде героев Зоценко стало развиваться негативное к нему отношение, как к вредителю и врагу государства.

Литератор Георгий Мунблит приводит характерный эпизод (*Мунблит Г. Слезы сквозь смех // Вспоминая Михаила Зоценко. Сборник*):

«...Прошло не меньше года, прежде чем в Союзе писателей было решено попытаться что-либо сделать, чтобы облегчить положение Зоценко, и он был вызван в Москву.

Приехав, Михаил Михайлович позвонил мне по телефону и пришел ко мне, а придя, рассказал об удивительных обстоятельствах, сопровождавших его нынешний приезд, причем рассказ этот был, пожалуй, первым смешным рассказом, какой мне удалось за все время нашего знакомства услышать от Зоценко.

Все началось с того, что еще с вокзала он позвонил в Союз писателей, чтобы узнать, когда его смогут принять. Ему ответили, что час приема еще не назначен, а пока ему надлежит ехать в гостиницу “Метрополь”, где для него забронировано место. Он отправился туда. Администратор выслушал его, полистал какие-то бумажки и сообщил, что место для него действительно имеется в четвертом этаже, комната номер такой-то. При этом администратор почему-то смущался и сетовал на трудные послевоенные времена.

Уже поднимаясь в лифте, Михаил Михайлович подивился внимательному взгляду и странному тону администратора, каким тот сообщил номер отведенной ему комнаты.

Дежурной по этажу не оказалось на месте, и Михаил Михайлович решил поискать ее в коридоре, но, проходя мимо чуть приоткрытой двери и

увидев на ней цифру, названную администратором, толкнул ее и вошел. А войдя, остановился в ошеломлении.

Комната оказалась апартаментами довольно внушительных размеров, сплошь уставленными кроватями, между которыми ветвились узкие, замысловато перекрещивающиеся проходы. Дело происходило утром, но почти на всех кроватях лежали люди. Одни, уже одетые, размышляли о чем-то, уставившись в потолок, или читали газеты, другие спали, свернувшись калачиком под тонкими, сиротскими одеялами.

Михаил Михайлович поздоровался, поискал глазами свободную кровать и, стараясь не побеспокоить спящих, добрался до нее, осторожно ступая на цыпочках. Здесь он поставил в ногах свой портфель, скинул пиджак и ботинки и прилег, а прилегли, незаметно для себя самого задремал.

Очнувшись от резкого телефонного звонка и, оглядевшись, только сейчас заметил, что в центре комнаты стоит стол, а на столе — телефон.

Между тем звонки следовали один за другим, что, впрочем, не мешало людям, лежавшим вокруг, продолжать нежиться в своих постелях, видимо, в ожидании, пока кто-нибудь первым не выдержит характера и возьмет трубку.

Наконец один из соревнующихся, вне всякого сомнения наименее выносливый, яростно чертыхнулся, встал и подошел к телефону.

— Слушаю вас! — сказал слабохарактерный этот человек и некоторое время действительно слушал невидимого своего собеседника, не прерывая. Потом лицо его отразило крайнюю степень недоумения. — Кого-кого? — переспросил он и, убедившись, что на этот раз не ослышался, торжественно отчеканил: — Нет! Писатель Зоценко в настоящее время в гостинице “Метрополь” не проживает! — после чего, сочтя вопрос исчерпанным, приготовился бросить трубку.

Но тут Михаил Михайлович вскочил со своей кровати и принялся показывать знаками, что он и есть Зоценко, которого зовут к телефону.

Молчаливое это притязание привело человека, стоявшего у стола, в смятение. Он недоверчиво оглядел Михаила Михайловича с головы до ног, пожал плечами и только после этого протянул ему телефонную трубку.

Оказалось, что звонят из Союза писателей, чтобы сообщить, что секретарь примет Зоценко сегодня во второй половине дня. Выслушав эту добрую весть и поблагодарив, Михаил Михайлович снова улегся, но заснуть не пытался, понимая, что без объяснений с соседями по комнате теперь уж дело не обойдется. Так оно действительно и оказалось.

— Значит, вы тот самый Зоценко и есть? — адресовался к нему

лежащий на соседней кровати плотный пожилой человек, глядя на него с интересом.

Михаил Михайлович подтвердил, что тот самый.

И сразу же к его кровати подошло несколько любопытных, а один даже присел у него в ногах.

По словам Михаила Михайловича, это было похоже на то, как если бы с ним приключился на улице обморок и вокруг столпились любопытствующие и недоумевающие прохожие. Однако очень скоро он понял, что недоумевающих здесь не так уж много. Выяснилось, что некоторые обитатели “Боярского зала” (так почему-то именовалась комната, в которой происходила вся эта сцена) читали не только “Приключения обезьяны”, но и многие другие его рассказы и вовсе не склонны считать Зоценко злопыхателем и клеветником. А один из собеседников Михаила Михайловича, тот самый, что устроился у него в ногах, вообще отказывался верить в то, что сыр-бор загорелся из-за одной “Обезьяны”, и стал убеждать его порыться в памяти и вспомнить, нет ли у него еще каких-либо прегрешений.

Иначе, чем другие, повел себя только тот человек, который давеча подходил к телефону. Понаблюдав некоторое время за поведением роящихся вокруг Михаила Михайловича доброжелателей, он окинул их мрачным и пронзительным взглядом и проскрежетал:

— Любопытно! До чрезвычайности любопытно! — И, повернувшись к участнику разговора, сидевшему на кровати, потребовал: — Вот вы, например... потрудитесь сообщить... по-вашему, эту самую “Обезьяну” критиковали напрасно? По-вашему, нынче, когда все мы, а если взять конкретно, например, я, на своем, пусть незначительном предприятии, — я лично работаю на консервном заводе, — не щадя сил, восстанавливаем хозяйство, разрушенное войной, а товарищ писатель себе позволяет всякие, понимаешь, хихоньки да хахоньки, мы это будем терпеть?!

И он еще раз обвел глазами тех, что стояли вокруг, на этот раз как бы пунктиром, отметив каждого в отдельности.

Охотников спорить с суровым этим оратором не нашлось, кружок любопытных, столпившихся вокруг Михаила Михайловича, стал быстро редеть, и уже через минуту он остался в одиночестве.

Последним покинул его тот, что сидел у него в ногах. Испуганно поглядев на строгого своего оппонента, он сделал вид, будто вспомнил о неотложном каком-то деле, и кинулся к телефону.

И все же от всей этой сцены, которая в изображении Михаила Михайловича была исполнена какой-то иронической примиренности, у

меня осталось непреложное убеждение: несправедливо суровые критические оценки, при каких бы обстоятельствах они ни выносились и какой бы аргументацией ни сопровождалась, ничего, кроме сочувствия к автору, подвергнутому такой критике, у сторонних и беспристрастных наблюдателей вызвать не могут».

Что сказать по поводу того, не было ли у Сталина каких-то особых, тайных причин для преследования Зощенко? Существуют утверждения, будто Сталин особенно возненавидел Зощенко после того, как Геббельс в своей пропаганде использовал рассказы Зощенко для доказательства убожества русской, точнее, славянской расы. Но это вряд ли. Больше доверия вызывают сведения о том, что книги Зощенко, имеющиеся в Германии, фашистами сжигались, как и книги других «дегенеративных», по их мнению, писателей.

Зощенко понимал, однако, что какие-то действия необходимо предпринимать, ситуацию надо пытаться исправить, написать что-то, доказывающее его лояльность.

Еще в 1944 году, вскоре после возвращения в Ленинград, он был приглашен на встречу с партизанами Ленинградской области, услышал там много интересного, записал. И вот теперь, после «разгрома», взяв себя в руки, упорно начал работать над этими рассказами, понимая, что это — единственное, что может его спасти. И он, казалось, не ошибся. 5 июня 1947 года его вызывают в Москву, в «Новый мир», к главному редактору Константину Симонову. Симонов в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине» пишет об одной из встреч с вождем: «После того как Сталин отнесся положительно ко всем моим предложениям как редактора “Нового мира”... я вдруг решил на то, на что не решался до этого, хотя и держал в памяти, и сказал про Зощенко — про его “Партизанские рассказы”, основанные на записях рассказов самих партизан, — что я отобрал часть этих рассказов, хотел бы напечатать их в “Новом мире” и прошу на это разрешения». Далее Смирнов приводит ответ Сталина: «Ну, раз вы как редактор считаете, что их надо печатать, печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем». Вызвал Симонов Зощенко только после разговора со Сталиным.

Вот как описывает свои впечатления о «Партизанских рассказах» Зощенко Г. Мунблит:

«И вот через некоторое время после всех этих происшествий Михаил Михайлович привез в редакцию “Крокодила” несколько рассказов о партизанах, рассказов, имевших целью продемонстрировать его готовность делом ответить на суровую критику.

Приехав в Москву, Михаил Михайлович позвонил мне по телефону, и в тот же вечер я пришел к нему в гостиницу.

Он встретил меня со своей всегдашней любезной и чуть печальной улыбкой, мы уселись и некоторое время беседовали о посторонних и не очень интересных предметах. Обоим нам казалось невозможным говорить о том, что произошло... пока разговор наш не оборвался и в гостиничном номере, вознесенном высоко над Манежной площадью, не воцарилась напряженная и словно бы даже на ощупь осязаемая тишина.

И тогда Михаил Михайлович смущенно откашлялся и внезапно попросил у меня разрешения (не предложил, а именно попросил разрешения) прочесть несколько только что написанных им коротких рассказов. Он так упирал на то, что рассказы короткие, что было понятно — он в них не очень уверен. Мне же было все равно — какие они, потому что до того я ни разу не слышал чтения Зощенко и только с чужих слов знал, что он великий мастер этого дела.

Так оно и оказалось. Читал Михаил Михайлович великолепно — просто, почти без всякой акцентировки и вместе с тем придавая необыкновенную значительность каждому слову.

Рассказы же, как мне тогда показалось, были невыразительны, и талант их автора был в них почти совершенно неразличим. Не могло быть никакого сомнения, что идея покровительствующего Михаилу Михайловичу редактора, вздумавшего превратить его в военного летописца, не увенчалась успехом. Удивительнее же всего было то, что сам он, очевидно, придавал своим опытам в новом жанре большое значение, очень волновался, читая, все поглядывал на меня, пытаюсь определить, нравятся ли мне рассказы, и все спрашивал, перед тем как начать читать следующую вещь, не надоело ли мне слушать.

Каюсь, я не сказал ему тогда правды. Прежде всего потому, что, как мне почудилось, эта правда была ему не нужна, а главное — при всей моей тогдашней угловатой нелюбезности я уразумел, что преподнести Михаилу Михайловичу в те трудные для него дни мои критические, пусть даже справедливые, недовольства было бы все равно что ударить ребенка.

Поэтому я пробормотал что-то о простоте, лаконичности и прозрачности прочитанного, попутно выяснив для себя, что уклончивые эти любезности говорить не в пример легче, чем резать пресловутую “правду-матку”.

Что же до Михаила Михайловича, то он удовлетворился сказанным, ни о чем больше меня не спрашивал, аккуратно сложив, спрятал рукопись в ящик стола и стал рассказывать о своих планах на ближайшее будущее.

Планы были самые что ни на есть оптимистические».

Вокруг Зощенко, конечно, была зона повышенного, обостренного внимания, и особенно к тому — что он теперь напишет? Большинство советских писателей писали тогда о войне. Твардовский в 1945-м завершил свою замечательную поэтическую эпопею «Василий Теркин» (начатую в 1941-м), создав образ настоящего народного героя, веселого и неунывающего. Но большинство лучших произведений о войне появилось гораздо позже, в эпоху «оттепели», когда уже можно было говорить правду или хотя бы часть ее. А в послевоенные годы, кроме знаменитых стихов — скажем, Симонова или Суркова, — ярких произведений о войне почти не было. В такой ситуации рассказы Зощенко о партизанах вполне были уместны и интересны. Забавен рассказ о том, как фашист из окопа поднимает ногу, чтобы наши ее прострелили, и его увезли бы в госпиталь. Или вот — рассказ о том, как один немецкий солдат чрезвычайно походил на Гитлера и, пользуясь этим, командовал остальными, запугивал их. И вот они попали в плен к русским — но и тут «ложный Гитлер» пытался командовать, но пленные вдруг стали смеяться и сказали самозванцу: «Гитлер капут!»

Не то чтобы Зощенко так уж пытался угодить властям, главное — он чувствовал, что без любимой работы погибнет. Так что высокомерно осуждать труды Зощенко той поры не стоит. Нам бы такое написать!

В сентябре 1947 года десять из тридцати партизанских рассказов (самые слабые, по уверениям Зощенко) вышли в «Новом мире» (№ 9). Казалось — выкарабкался! Летом и осенью того же года он работает над пьесой «Здесь вам будет весело» — сатира на Америку, где Зощенко не бывал никогда! Но — сделано лихо: американский миллионер нанимает двойника, чтобы не рисковать своей жизнью, а двойник этот, естественно, устраивает миллионеру «страшную месть». Вполне могло бы пойти! Но никто не брал! Зощенко пишет тринадцать вариантов пьесы. Но — ни публикации, ни постановки. 20 октября 1947 года Зощенко читает эту пьесу в доме Мариенгофа. Присутствуют Эйхенбаум, Козаков, кинорежиссер Блейман... Реакция положительная, но все знают — у Зощенко не возьмут. Он пишет отчаянное письмо Фадееву, чтобы тот сказал ему, как жить человеку, лишенному профессии. Фадеев помог: через некоторое время Зощенко предлагают переводы. С начала 1948 года до весны он работает над переводом комической повести финского писателя Лассилы «За спичками». Перевод замечательный! Но в первых изданиях книги, как помним, Зощенко-переводчик даже не упоминается!

Затем он берется за перевод документальной повести финского

писателя Тимонена «От Карелии до Карпат». Если повесть Лассилы (чьи герои-горемыки ему близки) Зощенко переводил не без удовольствия и даже своим переводом гордился, то повесть Тимонена — всего лишь «кусочек хлеба», протянутый ему.

Не забывают его и друзья-«серапионы». 19 апреля 1948 года он встречается с сочувствующими и помогающими ему Всеволодом Ивановым и Константином Фединым. Однако — не вылезает из нужды. И самый, возможно, угнетающий момент, напомним, — обмен большой квартиры, полученной еще «знаменитым Зощенко», на гораздо меньшую с Верой Кетлинской за доплату. И вынужденные записки Кетлинской, чтобы она нашла возможность отдать ему деньги за оставленное в прежней квартире и проданное ей старинное бюро. Только голод и страдания семьи могли заставить Зощенко такое написать. Вот как жизнь покатилась!

Однако никто не видел его жалким и заискивающим. Когда драматург Гинцбург предлагает ему поработать над опереттой «Шутки в сторону», Зощенко соглашается и добросовестно работает. Но когда видит, как театральным начальством отклоняется вариант за вариантом (причем явно из-за его участия) — с достоинством, не выказывая эмоций, деликатно «уходит из дела».

В начале 1949 года Зощенко получает предложение от «Крокодила» — писать политические фельетоны. Но веселить публику, пусть даже в небольшой степени, разрешенной тогда в «Крокодиле», а тем более политическими фельетонами — «себе выйдет дороже»! Темы уж больно страшные! 1949 год становится годом «Ленинградского дела».

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО

Я помню открывшийся после войны интереснейший Музей обороны Ленинграда. Больше всего меня, шестилетнего, поразили там сбитые немецкие самолеты, какой-то болотно-пятнистой, сразу видно — фашистской, окраски. И еще одно поразило меня — огромный портрет при входе, от пола до потолка: высокий красивый мужчина в длинной распахнутой шинели. Победитель! Спаситель! Сталин! — сразу скажете вы. Нет — это был не Сталин! Как же так, спросите вы, огромный портрет в шинели перед входом в военный музей... и не Сталин? Даже меня, помню, это как-то изумляло — и пугало. Своим детским чутьем, ничего не зная о политике, я улавливал: что-то не так и что-то здесь случится. Не может быть таких огромных портретов не Сталина. «Кто это, папа?» «Это Кузнецов», — сказал папа, тоже слегка смущенный.

Алексей Александрович Кузнецов был одним из руководителей города в блокаду. После войны Жданов, уйдя на повышение в Москву, оставил «свою команду», и Кузнецов стал первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. И «позволил себе» столь несоразмерный портрет в Музее обороны. Надо сказать, что был он мужчина видный — портрет был весьма хорош. Но вскоре с портретом этим разобрались, как и со всей «ждановской командой» — которая, как казалось некоторым, слишком уж «высунулась» после героической блокады. Птенцы «гнезда Жданова» разлетелись по всей стране, причем на самые высокие должности. И при этом — держали связь друг с другом. Чем не «преступная группа»? И началась новая «война в верхах», направленная против «ленинградских выдвиженцев», а значит, против самого Ленинграда. Все уже знали, что репрессии, начинаясь сверху, уходят затем глубоко, страдают сотни, если не тысячи людей.

Обычно «дела» такого масштаба начинались с личной неприязни Сталина к кому-то из высоких начальников, потом — «коса шла» по нисходящей. Но в этот раз получилось наоборот. Причиной послужила «любовь Сталина» — к ждановской команде. Жданова он очень ценил, особенно за его работу в блокаду, а Кузнецова, настоящего русского богатыря, так просто любил, называл — Алеша! И после войны взял его секретарем ЦК ВКП(б). Чрезвычайно уважал он и замечательного руководителя, талантливейшего экономиста, тоже ленинградца Николая Вознесенского, бывшего заместителя председателя Ленинградского

горисполкома. После войны Сталин сделал его членом Политбюро ЦК, председателем Госплана, заместителем председателя Совета министров, то есть практически своим заместителем — поскольку Сталин тогда занимал должность председателя Совета министров. У него было еще два заместителя — Георгий Маленков и Лаврентий Берия. И мы, уже искушенные в политике, понимаем, чем чреват такой расклад и как он опасен для «ленинградских выдвиженцев».

Раскол наметился скоро. Жданов, как это ни странно сейчас слышать, был довольно прогрессивным деятелем, во всяком случае в экономике, и именно он, после войны высоко поднявшийся и уверенный в поддержке своей весьма продвинувшейся команды, предлагает «новый курс» развития государства. Видя крайнее обнищание населения после войны, отсутствие самых элементарных бытовых вещей, Жданов предлагает поменять традиционный советский путь развития и вместо усиленного развития тяжелой промышленности переместить силы и средства в развитие легкой промышленности — хоть немного улучшить быт людей. Идею эту Жданов разрабатывал вместе с Вознесенским, но неожиданно и Сталин поддержал эту инициативу. Таким образом, Вознесенский становился «главным заместителем» Сталина в Совете министров — именно по предложенному им пути государство будет теперь развиваться. Ясно, что два других заместителя, да еще такие, как Маленков и Берия, такого пропустить не могли.

В декабре 1948 года Сталин на своем дне рождения, слегка выпив и расчувствовавшись, заговорил о том, что стареет, что надо искать преемников, и вдруг сказал, что преемником в экономике видит Вознесенского, а в политике — Алешу Кузнецова. «Есть возражения?» Возражений, ясное дело, не последовало. Но кончилось это для «ленинградских выдвиженцев» самым страшным образом. В 1948 году Жданов умер, и «ленинградцы» потеряли своего лидера, хорошо разбирающегося в дворцовых интригах. У них такого опыта не было. А Маленков и Берия были истинными «злыми гениями» подобных дел. Разумеется, они не выступали против открыто — у них был арсенал более тонких, но более действенных методов.

Двадцать пятого декабря 1948 года состоялась 10-я областная и 8-я городская объединенная ленинградская партийная конференция и были выбраны руководящие органы. По официальным данным, единогласно прошли соратники Вознесенского и Кузнецова. Секретарем горкома партии был избран Попков, секретарем обкома — Бадаев, вторым секретарем обкома — Капустин, председателем исполкома — Лазутин. Было

объявлено, что за всех кандидатов проголосовали единогласно, иначе тогда и не бывало.

В первых числах января 1949 года на столе у Сталина оказывается анонимное письмо, в котором сообщается, что выборы в Ленинграде фальсифицированы и многие коммунисты на самом деле голосовали против.

Вообще-то на имя Сталина ежедневно приходило несколько тысяч писем, и они, естественно, тщательно отфильтровывались — и в том, что это письмо, да еще анонимное, оказалось на столе у Сталина, видна рука или Берии, или Маленкова. Маленков даже в большей степени, чем Берия, был «поваром» «Ленинградского дела». Прочитав письмо, Сталин приходит в негодование, немедленно вызывает Маленкова и расследование поручает ему. Очевидно, что и письмо было составлено не без участия Маленкова, так что дело попало в «верные руки». Тут же Маленков сообщает Сталину: «...и вообще, в Ленинграде отбились от рук — там идет какая-то оптовая ярмарка, а я, заместитель председателя Совета министров, ничего об этом не знаю». Это была еще одна западня — теперь «ленинградцам» было не уйти.

Ярмарка на самом деле была разрешена Советом министров. Сталин, председатель Совета министров, был человек занятой, и заседания обычно вели по очереди его заместители — то Берия, то Маленков, то Вознесенский. Когда решался вопрос об оптовой ярмарке в Ленинграде, председательствовал Вознесенский. Это естественно — именно он был проводником новой политики государства, чтобы хоть как-то улучшить жизнь народа. По причине неуклюжести власти на складах отдельных регионов скопилось огромное количество их продукции, но никакого движения не было, все тормозилось какими-то запретами и циркулярами, и полки в магазинах были пусты, люди голодали. И Вознесенский организовал оптовую ярмарку в Ленинграде: все регионы привозили свою продукцию, заключались договоры на поставки. Началось какое-то движение. Но тут, вместе с материалами о подтасовке выборов (оказывается, голоса «против» все же были), Маленков кладет бумагу о ярмарке, на которую якобы было завезено столько товаров, что большинство из них испортилось, и государству нанесен ущерб в 4 миллиарда рублей. Вместе с материалами о подтасовке выборов (в Ленинграде нарушают советские законы) — и «вредительство» на 4 миллиарда казалось уже естественным: враг идет на все!

Родионов, председатель Совета министров РСФСР, чувствуя опасность, послал рапорт об успешном ходе ярмарки, о заключении

договоров между регионами на поставку товаров... В результате — погиб и он.

Началось «Ленинградское дело». 13 августа 1949 года на совещании в кабинете Маленкова были арестованы Кузнецов, Попков, Родионов, Лазутин. Вознесенский, член Политбюро ЦК, заместитель председателя Совета министров, был арестован по решению Пленума ЦК ВКП(б), прошедшего 12–13 сентября. Следствие велось грубейшими методами, подозреваемых избивали. Дело раскручивалось, привлекались сотни «соучастников» и даже родственников. Судебный процесс (без адвокатов, отброшенных как пережиток) проходил в сентябре 1950 года в Ленинграде, в Доме офицеров на Литейном. Военной коллегией Верховного суда и Особым совещанием при Министерстве госбезопасности Вознесенский, Кузнецов, Попков, Лазутин, Родионов, Капустин были приговорены к смертной казни и в Большом доме, где располагалась Госбезопасность, через час расстреляны.

Выявлены и арестованы были еще сотни «соучастников». Город замер. Все послевоенные надежды — рассеялись. Снова шли аресты.

Помню ночные тихие разговоры моих родителей за перегородкой. Мне было десять лет, слов я разобрать не мог, но тревогу почувствовал. Можно себе представить, что чувствовал Зоценко!

Ясно, что роль «политического фельетониста», предложенная в «Крокодиле», ему не подходит. Тут требовались не фельетоны, а фельетоны-приговоры, но приговоры Зоценко писать не умел.

ВЫЖИВАНИЕ

Зощенко пережил много поражений, но особенно сокрушительными и обидными были они тогда, когда он старался приспособиться к «текущей политике». Казалось бы, можно уже понять, что это — не его. Так нет, опять наступал на те же грабли. Возможно, к пьесам он относился «проще» — мол, это другое, «запасной жанр», нужно попробовать все. И он делает еще одну попытку...

В те годы начала «холодной войны» после вынужденной дружбы с союзниками ради победы над Гитлером мы снова «расплевались» с чуждым нам капиталистическим миром. В журнале «Крокодил» и даже в таких серьезных газетах, как «Правда» и «Известия», стали то и дело появляться карикатуры на бывших наших союзников. Америка изображалась в виде коварного «Дядюшки Сэма», с седой бородой и в цилиндре, а Англию изображал некий Джон Буль, маленький и пузатый. В руках они держали мешки с деньгами — один с изображением доллара, другой — с изображением фунта стерлингов. Помню, на одной карикатуре они протягивают свои мешки «кровавому маршалу Тито», югославскому лидеру, который совсем еще недавно был нашим союзником — и вот! Тито тоже изображался пузатым и всегда с этакой секирой с руке, зазубренной и окровавленной — какую-то гадость они задумывали против нас!

И, казалось бы, пьеса с критикой американского империализма будет тут в самый раз! Комедия Зощенко «Здесь вам будет весело» — разоблачение американских нравов. Тут уж, наверное, не обвинят в клевете.

Седьмого мая 1949 года Зощенко посылает комедию «Здесь вам будет весело» на имя начальника Главного управления театрами Пименова. Еще один экземпляр — Константину Симонову. Тот был «выездной», бывал на разных международных конгрессах и уж, казалось бы, разоблачение растленного Запада должен поддержать!.. Не ответил.

В июне 1949-го Комитет по делам искусств разрешает постановку комедии «Здесь вам будет весело» в Новом театре. Но советская система была устроена с двойной и даже тройной защитой — если какая-то инстанция совершала ошибку, то существовала другая, которая могла эту ошибку исправить. Кроме Комитета по делам искусств существовал еще Главрепертком. Комитет разрешил — Главрепертком запретил. Им хорошо — нам не очень.

Двадцать седьмого августа 1949 года Зощенко отправляет уже не

первое письмо главному литературному вождю Александру Фадееву с описанием своего положения и просьбой указать, что делать, чтобы не быть «лишним человеком в государстве». Фадеев откликнулся — и у Зощенко появилась «работенка»: перевод другой повести Лассилы — «Воскресший из мертвых» и повести Тимонена «Освещенный берег». Он начинает работать (хотя договоры придут с опозданием — лишь в 1950 году).

Зощенко посылает письмо Георгию Маленкову — с просьбой оценить комедию «Здесь вам будет весело». Маленков в то время был популярен в народе — при нем прошло радостно встреченное снижение цен. А его роль в «Ленинградском деле» както не очень волновала народ. Михаилу Зощенко, однако, Маленков не помог.

Выходит мало кем замеченная книжка Тимонена «От Карелии до Карпат» с мелкой строчкой: «Перевод М. Зощенко». Выходит книга Лассилы «Воскресший из мертвых». В конце июля 1950 года опубликован в «Крокодиле» первый — после семилетнего перерыва — рассказ Зощенко «Страшная месть».

Следующий его рассказ выходит через полтора года — в ноябре 1951-го в «Огоньке» — «Домашний тигр». Рассказ какой-то тихий, робкий, прежнего «зубастого» Зощенко не узнать. Пишет фельетоны для «Крокодила» — опубликованы целых пять! Переводит на русский язык украинских писателей Рыбака, Гаврилюка...

Вот — 23 декабря 1950 года Зощенко приглашают в солидное издательство «Советский писатель» и заключают с ним договор... на перевод повести осетинского писателя Цагараева «Повесть о колхозном плотнике Саго»!

И Зощенко — соглашается. Хоть такую работу дают! Из классика, любимца народа он превращается в жалкого поденщика.

Казалось бы, всё! Зощенко «стерли». Но у гениев есть такая привычка — погибать красиво!

НЕСЛОМЛЕННЫЙ ЗОЩЕНКО

Происходит некоторое «просветление в умах»: а не чрезмерно ли мы наказали Зощенко? Добрые люди ведут тихую кампанию по восстановлению Михаила Зощенко в Союзе писателей.

Двадцать второго апреля 1953 года (уже после смерти Сталина) по предложению руководства Союза писателей Зощенко подает заявление о восстановлении в Союзе писателей. Целых семь лет прошло «в изгнании»! И еще вопрос — вернут ли? В волнении Зощенко пишет тем, на кого надеется — В. Каверину, К. Федину, К. Чуковскому, М. Шагинян — с просьбой поддержать. Но бумаги попадают к Константину Симонову в Москве — и тот «гуманно» решает: «...Нет. Восстановить — нельзя! Если восстановить — значит, получится, что зря исключили? А это не так! Исключили за дело!» Но теперь, «после осознания вины» и подачи заявления — «можно принять заново».

И 23 июня 1953 года на заседании Президиума Правления Союза писателей СССР Михаил Зощенко как новичок принят в Союз писателей. У меня возникла неожиданная историческая параллель — это как Пушкину за несколько лет до конца жизни вдруг присвоили придворный чин камер-юнкера — «дали шанс» попробовать сделать карьеру с самого начала.

Зощенко, снова «принятый в профессионалы», начал работать над книгой «Что больше всего меня поразило». Она задумывалась в жанре «Голубой книги» — как сборник парадоксальных и поучительных новелл, но замысел не осуществился. Сначала «Новый мир», который прежде печатал Зощенко, отказал в публикации. А потом уже и сам Зощенко все «сорвал».

Наступил 1954 год. Который, казалось, ничего «не предвещал». Сталин умер. Ужасы позади.

Но именно в этом году Зощенко настигла новая катастрофа. В разное время были разные версии этой истории. Я приведу здесь версию свидетеля тех событий, советского литературоведа Дмитрия Молдавского (*Молдавский Д.М.* Михаил Зощенко. Очерк творчества. Л., 1977):

«В Ленинград прибыла группа английских “студентов”. Беру слово “студенты” в кавычки потому, что за последующие четыре десятилетия никто из этой довольно большой группы никак не проявил себя ни в русистике, ни просто как человек, которому удалось поговорить с Зощенко и Ахматовой... И все вопросы их были загодя очень уже продуманы,

сформулированы, ловко нацелены.

— А почему у вас запрещен Достоевский?

...Когда им принесли недавно изданные книги Достоевского, классик мгновенно перестал их интересоваться. Да это и не было для них главным. А главным был явно продуманный, очень ловкий, “следовательский” вопрос:

— Господин Зоценко! В постановлении сказано, что вы специализировались на безыдейности, аполитичности, рассчитанных на то, чтобы отравить сознание молодежи; что вы — автор антисоветского пасквиля и изображаете жизнь с жульнических позиций. Неужели вы согласны с этим?

И Зоценко прорвало! Потеряв обычное, сохраняемое даже в трудных ситуациях спокойствие, постепенно повышая голос, он проговорил — нет, прокричал, — что всегда считал себя советским человеком, что он сражался за советскую власть, что его книги... Но вместо сочувствия и боли на лицах своих английских собеседников он увидел непонятное ликование. И смолк.

Тогда “студенты” обратились к Анне Андреевне Ахматовой. Они спросили, как она относится к постановлению, считает ли его формулировки справедливыми, верными и пр. (напомню, что в постановлении 1946 года об Ахматовой говорилось, как о «типичной представительнице чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии и т.п.»).

Но Анна Андреевна уже поняла, что происходит. И с “царственностью” (это слово, несвойственное их лексике, повторили присутствующие на встрече и Орлов, и Дымшиц) она сказала, равнодушно оглядев англичан:

— Мои отношения с моим правительством касаются меня и моего правительства. Посторонним здесь делать нечего!

“Студенты” замолкли.

Услышав ответ Ахматовой, Зоценко сказал соседу:

— Я же был первым и не успел ничего сообщить!

Ответ Зоценко, поданный как “расслоение советской интеллигенции”, вызвал раздражение “на самом верху”: “Его простили — а он опять!”».

И последовали роковые для Зоценко события. Довольно подробно об этом рассказал Даниил Гранин, участник тех событий, сумевший через многие годы разыскать стенограмму того собрания, где опять «разбирали» Зоценко. И благодаря ему мы можем увидеть тот страшный день (*Гранин Д. Мимолетное явление // Вспоминая Михаила Зоценко. Сборник*):

«Я застал его тогда, когда с ним почти не общались. Он жил в

Ленинграде, изредка бывал в Доме писателя, то есть заходил, но как-то украдкой, избегая людей; с ним здоровались и с озабоченным видом спешили мимо. Словно чувствовали себя виноватыми. Некоторые сторонились, на всякий случай. У каждого имелись свои опасения. Я тоже испытывал чувство вины. Потом, когда мы познакомились, он, с присущей ему деликатностью, старался снять это чувство. Но оно все равно оставалось. До сих пор оно пребывает у меня среди прочих грехов и угрызений, что накопились за годы нашей путаной жизни.

Может, из-за этой виноватости я продолжал разыскивать стенограмму одного выступления Зоценко, и вот, спустя много лет, раздобыв ее, могу написать о том собрании в 1954 году.

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то... Это запомнить невозможно, так же невозможно было ничего запомнить из доклада В. Друзина. Хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад и прения, и все прочее было увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зоценко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы Константин Симонов и Аркадий Первенцев. До этого в газетах заклеили поведение Зоценко перед иностранными, разумеется буржуазными, сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали пребывать сотни тысяч, а может, и больше отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. Никто не знал, что История готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как, только что опубликовали эренбургскую «Оттепель», но сразу же на нее накинута стража вечной мерзлоты.

Большой зал Союза был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так отстоял до конца у стенки».

Гранин был в том зале... А я в 1954-м учился в седьмом классе, уже

активно читал, причем вовсе не обязательно школьную литературу, помню, хохоча, прочел подсунутый мне другом-хулиганом растрепанный том «Похождений бравого солдата Швейка», потом он же дал мне такого же потертого Мопассана. Зощенко, до того момента, как его обругала на уроке наша учительница, был неизвестен мне. Его «заломали». Но он снова поднялся! И произошло это так... Вот — продолжение воспоминаний Гранина:

«Докладчик бубнил про то, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли, лишь когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины: прежде всего по «Оттепели» Эренбурга прошлись ритуально, затем шли местные нарушители — предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; поучал и раздавал колотушки, уверенный в своем праве на это. Как же — главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года».

Этот зал с белыми купидонами под потолком, в котором я впервые появился уже в 1960-х, успел впитать много зла... И в конце концов, будто от накопленной под его сводами злобы, вдруг вспыхнул и сгорел. Но — вернемся в 1954-й. Гранин вспоминает:

«Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут... Но уж больно круто ругали, злобились не по резону: «беспринципный, бессовестный хулиган» — это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... как будто в самую последнюю минуту заменили на «блудница». Принял бы и это, если бы не Жданов. Со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым не шло. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне и то его в нашей армии не видали.

Винили в той газете и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они раздували авторитет Зощенко и Ахматовой, пропагандировали их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживали и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил

Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь-то я несогласно переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, уж ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучили, мордовали, так нет, зачем-то опять влез в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся. 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел секретарем ЦК Н.С. Хрущев. Что-то происходило, какое-то потепление ощущалось. И вдруг эта новая кампания против Зоценко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять зажмут, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал — какого черта он вылез, не надо было провоцировать, это только на руку сталинистам... Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом, в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили втык от начальства — что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте...

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае, на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зоценко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зоценко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Так и сказал. Это ахнуло, как взрыв: не согласен — всполошило, посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, “на руку классовому врагу”. Как сказал Друзин, поведение Зоценко вообще стало “классовой борьбой в открытой форме”.

Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зоценко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он.

То, что Зоценко не согласен, и на меня произвело впечатление ошарашивающее — как так, сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина если и запомнился, то исключительно оттого, что на этом собрании произошло с Зоценко. И то — запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил ни доклада, ни самого Друзина на том собрании, помнят одного Зоценко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился,

какими трудами — никто не мог назвать. Я в те годы не понимал — почему же командовать журналом “Звезда” поставили такого человека, почему он поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных — возмущался. Собрание двигалось слаженно, согласованно, предусмотренно... Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация “здоровая”, “правильно расценивает”. Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание “даст отпор”. Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зоценко. Говорили про него: “пособник наших врагов”, “подобно буржуазным писакам”, “холуйское поведение на потребу”, “потерял достоинство советского человека”. Я знал, что Зоценко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с холодной жестокостью».

Спрашивается, куда делись все друзья Зоценко, те же «серапионы», многие ставшие уже «советскими авторитетами»? Заняты творчеством, не могут «нарушить процесс»? Почему всегда вылезают никому не известные, закомплексованные, ничего не сделавшие, зато имеющие массу свободного времени и злобной энергии, желающие отомстить тем, кто замечен? А где — лучшие? Посмотрим у Гранина:

«Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В.А. Кочетов. Он посоветался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зоценко.

Зоценко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зоценко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, “справный”, как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих

событий, до войны и еще раньше, в годы “Серапионовых братьев”, была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, с грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, где больше было враждебного, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, отвергающий настрой был задан.

Зощенко оглядел ряды, лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

— Очень трудно говорить в моем положении. — Голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно: что бы он ни сказал, все будет не так, — “неискреннее покаяние”, “вынужден признать”, “разоблаченный в двурушничестве” обязательно как-то его сформулируют.

— ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали “сам Симонов” и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, не важно, меры приняты, можно доложить.

— ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность — это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думает, — этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.

— ...Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

— ...В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель. — И

опять повторил четко: — Не могу согласиться!

— Зачем подчеркивать несогласие? — прошептал кто-то рядом. — Напрасно он...

— ...Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние, и я главным образом занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления, — о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

— ...Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что имело продолжение.

— ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. По одному моему рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принял все указания партии, какой должна быть литература.

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

— ...Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных, и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ “Аристократка” был напечатан в двадцать третьем году, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, — это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты: “Ваше личное отношение к докладу Жданова?” На любой вопрос я сумел бы ответить шуткой. Но про доклад, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над

советскими людьми, — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно у всех перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и отдельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

— ...Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в двадцатых — тридцатых годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало, я писал о мещанах, порожденных прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мещанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие. Прямо-таки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

— ...Закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю Советскому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: “Я согласна”. У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. ...А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?!

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... “На ее месте я бы так же ответил”. (Много позже понял я, что означала эта фраза. Сын Анны Андреевны находился еще в лагере, она была опутана по рукам и ногам, она чувствовала себя заложницей.) Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зощенко остался один, на него одного наставлены все прицелы, все мушки.

— ...Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо встал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Для некоторых все было

ясно: соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зоценко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зоценко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех, снова подвергнуться осуждению, снова пройти адовы круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас — может, этот вопрос был провокационный, заранее продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

— ...И только дома я догадался, что должен был ответить: передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

— Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что Зоценко хочет увильнуть и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить, чтоб не вывернулся, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале.

Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Надеялся как-то перешагнуть через все условности этой гражданской жизни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

— ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

На этом месте стенограммы я вспомнил свое чувство досады за него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не подействуют, он только усугублял — может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, заседающих на

него.

— ...Существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, что нас натренировали в этом бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио, — достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжкий груз времени.

— ...Да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

— Только в этом? — ехидно выпалил Друц.

Я знал, что это Друц, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слышал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда, как писатели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза, что Панова, что Друц и Неручев.

— ...Я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как “скрывал свои истинные убеждения”... Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, я знаю надменные взгляды редакторов, — здесь Зоценко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смешил всю страну, чьи фразы повторяли, цитировали. В самые темные времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зоценко, хохотали до упаду. Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так чтобы обидно, потому что автор в общем-то сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зоценко, как никто другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно. Господи, неужели это он годами был источником смеха, и все здесь сидящие, и тот же Друзин и Друц, всех их он смешил, все они обязаны ему многими часами радости.

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

— ...Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжело, но даже в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение и те, кто был против, и те, кто не знал, как вести себя, и те, кто втайне страдал за него.

— ...Вот уже семь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он по пунктам зачитал опровержение на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично ответить. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили всякого рода поклепы, небылицы и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

— ...Я никогда не втирался в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал лезть в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от ладана, от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегию “Звезды”.

Про рассказ “Обезьянка”, из-за которого якобы разгорелся сыр-бор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, — во всяком случае, для нас, молодых, это было совершенное открытие:

— ...Этот рассказ был напечатан еще в 1945 году в журнале “Мурзилка” для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии других рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано, и никакого подтекста — я клянусь! — не вложил в него.

По поводу того, что он окопался в войну в Алма-Ате, что он трус, что не захотел помочь Советскому государству в войне:

— Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М.М. Зощенко командовал взводом в Первую мировую войну, был награжден

двумя Георгиями, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии».

...Но где был тот же Слонимский в тот день? Зоценко оказался один. И ему поначалу было трудно сказать главное. И другие, кроме Гранина, там были и рассказывали, что на том собрании Зоценко говорил долго. Присутствующим могло показаться, что это будет обычная трибунная речь, каких тут слышали уже сотни... Зоценко что-то бормотал о том, что прочел все тома Сочинений Ленина и Сталина, все усвоил. Одно время уже казалось, что он еще так побормочет, всех усыпит, потом, не вникая, все поднимут руки за какое-нибудь “успокоительно-усыпительное” постановление. Не только Гранин, но уже и все знали, что все собрания и постановления так и проходят. Но — на трибуне был великий писатель, не такой, как все! И он — рос на глазах у всех:

«...Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в Радиокomitee, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение “Под липами Берлина”, это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе — сентябре сорок первого года. Весь город был оклеен тогда афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...»

Гранин, свидетель тех лет, поясняет ситуацию:

«Насчет упреков в отъезде из Ленинграда, много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над “Блокадной книгой”, нам с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября 1941 года, провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленинграде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложно-патриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллион ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зоценко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила всю».

А Зощенко говорил все резче:

— ...Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?

Гранин запомнил этот момент:

«...Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла над рядами. Оказалось вдруг, что Зощенко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против Кочетовых и Друзиных, которые были не сами по себе, а представляли Власть, необозримые силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покаялся. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более перетерпевший, доведенный до полного изничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться, ни сил, ни духа.

— ...Этого требуете вы? Вы? — Крик его повис и сорвался.

Взгляд толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжелая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: “Нет, мы не требуем этого!” Жалкое это молчание сгущалось чувством позора. И общего позора, и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зощенко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через столько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где резвились пухлые гипсовые купидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

— У меня нет ничего в дальнейшем, — ровно и холодно произнес он. — Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, — он посмотрел на президиум, — ни вашего Друзина, ни

вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнуто, но сквозь захлопнутые ставни пробивался непонятный свет.

Спускался, словно уходил от нас в небытие. Не раздавленный, он сказал то, что хотел, и ясно было, что отныне это будет существовать.

Все эти годы проработок, анафем, отлучения, оказалось, ничего с ним сделать не смогли, и, как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению!

Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то — невесомый, легкий, свободный, все привязи, скрепы рухнули, и нечем было остановить его. Те, кто только что угрожал ему изгнанием, смотрели ему вслед с неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Председательствующий Кочетов поднялся, всмотрелся в зал — кто это позволяет себе, осуждающе покачал головой. Потом перешептался с Симоновым. Надо было сбить впечатление от речи Зоценко. Друзин сидел, изображая горделивую усмешку. Как будто его позабавил выпад Зоценко, даже польстил ему, как будто получалось, что он, В.П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле, и это все поняли, для Зоценко он был всего лишь символом посредственного, если не сказать бездарного, руководителя. Сколько этих друзиных, напыщенных, вельможных, неведомыми путями пробиралось на редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию, учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

...Но фразу — “не надо мне вашего Друзина” — запомнили крепко. Спустя десятилетия я принялся опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны. Восстановить по ним текст выступления М.М. Зоценко было невозможно. Но что любопытно — все повторяли: “Не надо мне вашего Друзина!” Запомнили дословно эту

заключительную фразу».

Но Друзин был не один. В президиуме сидел Всеволод Кочетов — писатель с именем, который успешно писал эпопеи о рабочем классе, по ним даже снимались неплохие фильмы, присуждались премии. Казалось бы, у таких должны быть сила, самостоятельность, умение сказать что-то свое.

Мужики ведь, казалось бы! Неужели так непреодолимо «давление сверху»? Или, может быть, то была зависть — к поверженному, но все равно свободному? Гранин восстановил тот день до конца:

«Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться. Тонкие его губы пренебрежительно кривились.

— Мы не будем преувеличивать значения того выступления, которое вы выслушали от товарища Зоценко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церквей. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто аплодировал ему, что за люди.

И “паперть”, и “кликушество” было грубо, и все равно не действовало, люди медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, вздыхали, двигались, шептались.

— Это была изворотливая речь... — настаивал Кочетов. — Почти весь Союз писателей возмутился после того, как произошло высказывание Зоценко перед студентами, большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только что “Правда” опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой “Времена года”, его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем, что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с “гнилой интеллигенцией”. Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой — пострадал, отстаивая основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искреннее убеждение. “Почему вы все придаете такое значение выступлению Зоценко и самому Зоценко? Кто такой Зоценко, чего мы носимся с ним?..” — таков был смысл его слов. Но и они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным

впечатлением речи Зощенко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

— Зощенко — это единица, это явление мимолетное! Ну, был такой, сочинял рассказы на потеху нэповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что у нас, мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подействовало. Встрепенулись, только когда объявили Константина Симонова.

Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступления Симонова ждали, приехал не просто один из секретарей Союза, а К.М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили дружины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат фронтовик. Я смотрел на него с надеждой и гордостью. С Кочетовым все было ясно, но Симонов-то был настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зощенко, досталась ему, но объединяла их талантливость, — я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно: что же вы тут, бедолаги ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь — приходится порядок наводить.

— ...Советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, и нате вам, апеллирует к буржуазным щенкам. Срывает у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше-то, дальше он выйдет на справедливость, которая теперь прояснилась.

— Незачем, конечно, делать из этого историю, — как бы поддержал он Кочетова и тут же поднял палец: — Но! — Барственно грассируя: — Противно! Нехорошо! Непорядочно!

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет “Звезды” и “Ленинграда”, оно действует,

никаких перемен не будет и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зоценко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то, что ты литературный подонок, только работой можно избавиться... Мы же недавно напечатали в “Новом мире” его партизанские рассказы, поверили товарищу Зоценко и напечатали. Что же изображать из себя жертву советской власти? Как вам не стыдно!

...Боже ты мой, да куда ж это его повело... Помню боль и чувство отчаянья, смотреть на него было неловко, как будто с ним случилось на сцене что-то неприличное.

Придя домой, я записал: “...как мог К. С., он не имел права топтать человека за то, что тот не позволил оплевать себя. З. поддержал честь офицера, а С. уронил”.

Симонов воплощал для меня достоинство русского офицерства, что-то из галереи 1812 года, из “Дней Турбиных”, он казался мне из той же породы, что мой комбат, мой комполка. Не хотелось верить, что он говорит по своей воле, может, так обязали его? А зачем он согласился, да и слова его были не казенные, и произносил он их проникновенно; зачем, зачем участвовал он в этой расправе? Неужто не понимал он, что пятно неотмываемо останется на его имени?

Так я недоумевал и горевал и втайне утешал себя — что мы, если самого Симонова заставили. Не иначе как вынудили его. Вынужденность, ее можно было различить, недаром тонкие бескровные губы Кочетова иронично кривились.

— Как не стыдно! — повторил Симонов. Рядом со мною кто-то выкрикнул:

— Кому стыдно?

Симонов услышал, сбился и, уже без позы, резко принялся честить Зоценко за то, что тот в войну писал “Перед восходом солнца”. Тут он был на коне, война была его козырем. Что это за повесть? Гробокопательская!

Немецкий поэт Стефан Херmlin впоследствии рассказал мне: “То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зоценко, и Симонов твердо сказал мне: ‘Пока я редактор ‘Нового мира’, я буду печатать Зоценко, я не дам его в обиду’. Помню, как меня поразила храбрость его высказывания”.

У Симонова это бывало: держался, держался — и в самый последний момент скинул, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз

потом, встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго еще присутствовало при нашем общении свернутое калачиком, упрямое вглубь воспоминание о том собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал, — домашние чистюли, которые сами ничего не отстояли, не участвовали, не избирались, не выступали... В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды, при мне, к Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились — в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать. “Врать не хочу, — запинаясь, сказал он, — а говорить, что думаю, — не могу. Вот так”. Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощаю ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Немало ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклонение, за связь с “Ленинградским делом”... Однако то собрание с Зоценко потрясло и бывалых, все выдавших ленинградских писателей».

И не напрасно то собрание 15 июня 1954 года так взволновало Гранина и всех тайно сочувствующих. Все уже знали, что такого рода события не остаются без последствий.

Начинается обвальная травля Зоценко в печати и на радио. Пытаюсь как-то остановить эту «лавину», Зоценко обращается с письмом к главному советскому критику Ермилову. Когда-то он говорил о Зоценко добрые слова. И если бы он теперь заступился...

Ермилов отвечает Зоценко — но через газету «Правда». Надо ведь, чтобы о его «принципиальности» узнали и власти! Вот это письмо — своего рода «эпитафия» Зоценко:

«М.М. Зоценко.

Да, я писал Вам девятнадцать лет тому назад о моем положительном отношении к Вашей “Голубой книге”, которая печаталась тогда в редактировавшемся мной журнале “Красная новь”. Вы напомнили мне об этом в Вашем письме от 27 июля 1954 года. В этом письме Вы напоминаете также о том, что Горький видел “социальную педагогику” в Ваших рассказах. Вы напоминаете о том, что руководство Союза писателей

представило Вас в 1939 году к ордену Трудового Красного Знамени за заслуги в литературе. Наконец, Вы напоминаете о письмах читателей. Из всего этого Вы делаете вывод, что в приводимых Вами фактах заключалась для Вас моральная санкция — как Вы выражаетесь — “строить мою литературу так, как я ее строил”. Иными словами, Вы считаете возможным утверждать, что Горький, читатели, Союз писателей морально санкционировали и Вашу упадочническую эгоистическую повесть, напечатанную Вами в дни Великой Отечественной войны, и такие Ваши, с позволения сказать, труды, как рассказ о приключениях обезьяны, чей “моральный облик”, по концепции Вашего рассказа, выше морального облика советских людей, и другие Ваши подобные изготвления.

Неужели Вы действительно не понимаете, что все упоминаемые Вами факты были выражением борьбы советской общественности за Вас, как за писателя? Неужели Вы действительно не понимаете, что все эти факты были попыткой нашей общественности указать Вам на те стороны в Вашем творчестве, которые могли бы вывести Вас на дорогу советской литературы? Каждый талант дорог народу и Коммунистической партии. Наша общественность долго не теряла надежду на то, что Вы, в конечном итоге, встанете на путь советской, народной сатиры, а не мещанской пошло-злопыхательской, антигуманистической, основанной на неуважении к человеку, дешевой лжесатиры, которая была связана с присущей Вам безыдейностью и аполитичностью. Советская общественность, конечно, никогда не забывала о том, что Вы начинали свой литературный путь как проповедник аполитичности и безыдейности. Но она в течение долгих лет считала возможным не напоминать Вам об этом, потому что знала, что к правде, к социалистическому реализму приходят самые разные люди, в том числе и такие, которые стояли в свое время на позициях, враждебных народу. Достаточно вспомнить, хотя бы, пример Алексея Николаевича Толстого. В числе бывших “серапионов”, к которым и Вы когда-то принадлежали, есть писатели, ставшие украшением и гордостью нашей литературы. Почему же наша общественность должна была отказаться от надежды на Вас? Наш читатель, наш народ, наше общество воспитано Коммунистической партией в духе социалистического гуманизма, исходящего из веры в человека, любви и уважения к нему, из ориентировки на лучшее в каждом человеке.

И только тогда, когда стало вполне ясно, что Вы, несмотря на некоторые обнадеживающие тенденции в Ваших произведениях, стоите на позициях той самой безыдейности и аполитичности, которую Вы проповедовали еще в начале двадцатых годов. Только после того, как Вы в

самую грозную годину во всей исторической жизни нашей Родины, в годы героического народного напряжения, сочли позволительным выступить с гнилой повестью, проникнутой цинизмом самовлюбленности, где Вы всерьез на все лады толковали о том, как Вы спасали свое драгоценное для всего человечества здоровье в то время, когда миллионы тех самых людей, которых, как оказалось, Вы считаете ниже обезьяны, отдавали и свое здоровье, и самую свою жизнь, — только после того, как Вы своеобразно поздравили их с победой, противопоставив им обезьяну в качестве морального образца, — только после всего этого наша общественность напомнила Вам устами покойного А.А. Жданова о Вашем гнилом прошлом, к которому Вы не только вернулись, но которое Вы превзошли еще большей гнилью. И вот теперь Вы попрекаете тех, кто надеялся на то, что Вы станете человеком — чем, однако, Вы их попрекаете? Вы стремитесь запечатать проявленное в свое время искреннее, столь свойственное советским людям, стремление помочь Вам, вовлечь Вас в круг работников культуры, служащих народу. Вы хотите запечатать их радость — пусть оказавшаяся, может быть, наивной, — их радость за то, что, как им показалось, Вы сможете быть вместе с народом!

Да, Вам хочется осмеять, загрязнить эту искренность, это стремление видеть в Вас писателя и человека, это желание ухватиться за такие стороны Вашего творчества, за которые Вам, Вам, М.М. Зощенко, следовало бы ухватиться. Если бы в душе Вашей было бы хотя на золотник народности и простой человечности, Вы сейчас, с елейно-кривой усмешкой, столь же пошлой, сколь и нелепой, напоминаете о том, что были представлены к ордену, что Вам сказал хорошие слова Горький и строите на этом некий “ехидный” силлогизм: дескать, по-видимому, все это было ошибкой советской общественности, и эта ошибка санкционировала для Вас всю Вашу, как Вы выражаетесь, “литературу”.

Вам ничего не стоит попытаться привлечь великое имя Горького для оправдания “всей Вашей литературы”. Не забыли ли Вы о существовании в русском языке такого слова, как бесстыдство?»

Какой пафос, какой величественный тон письма! Ну просто — «Письмо Белинского Гоголю». Хотя отличие есть. То написано искренне. А это, на мой взгляд, сплошная ложь, прикрытая пафосом. Слово «бесстыдство» в гораздо большей степени можно применить к автору этого письма. Оказывается — это они «заботились» о Зощенко, вульгарно разбирая и грубо обругивая лучшие его вещи, отнимая у него остатки здоровья. Почему Ермилов столь «величественен»? Что, вообще, от него осталось, кроме этого лживого письма? — это можем мы спросить сейчас.

Но для Зощенко тогда это письмо звучало приговором. Если сам «великий Ермилов» изображает весь его творческий путь как путь позора и предательства «лучших чаяний советского народа», — то ситуация безнадежна.

Наступает резкое ухудшение здоровья. Еще один результат «неустанной заботы» о писателе Зощенко. Особенно ему стало худо после появления, вслед за письмом Ермилова, злобной, уничтожительной статьи «Факты опровергают клевету» в газете «Известия» за 7 сентября. Видимо, кто-то решил: «недовоспитали». После этого имя Михаила Зощенко исчезает надолго.

Однако заботу — если не о литературных делах, то хотя бы о разрушенном его здоровье — все-таки проявляют; в конце этого ужасного года Зощенко получает в Литфонде ссуду 3 тысячи рублей и бесплатную путевку в Сочи, в санаторий имени С. Орджоникидзе.

Умереть Зощенко не дают.

Вот как описывает его жизнь Г. Леонтьева, одна из свидетельниц последних лет (*Леонтьева Г. Ненаписанная новелла // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«С 1954 года, после встречи с английскими студентами, где Зощенко позволил себе не согласиться с рядом положений постановления и доклада Жданова, в коем он именовался подонком, хулиганом, пройдохой, несоветским писателем, гонения возобновились с новой силой.

Как раз к той печальной поре в жизни Зощенко и относится моя первая встреча с ним. Случилось это так. Мой теперь уже старый друг Ю. Нагибин мечтал о личной встрече с Зощенко. В отличие от подавляющего большинства писателей, в те тягостные времена, когда каждому мыслящему человеку стало ясно, что “оттепель” не обернется весной, не расцветет разноцветьем лета, Нагибин не боялся вслух высказывать свое восхищение как Зощенко и Ахматовой, так и на многие годы вычеркнутым из литературы Андреем Платоновым. И впрямь, на смену краткой “оттепели” вскоре пришла стужа, при которой в нашей культуре не только не могли выжить, но губились на корню какие бы то ни было ростки свободомыслия.

Зощенко в эти времена добывал хлеб насущный всякого рода нелитературными заработками, включая сдачу внаем части своего домика в Сестрорецке. Мой добрый (еще с институтских времен) товарищ ленинградский писатель и сценарист Дима Поляновский как раз ту часть домика и снимал. Он-то и привел нас с Нагибиным к Михаилу Михайловичу в его квартиру в Ленинграде, на канале Грибоедова.

Уже при входе в переднюю охватывало ощущение бедной пустоты и скудости. В доме не пахло вареным, съестным, хотя мы пришли в предобеденное время. Дух сурового аскетизма жил в маленькой комнатке, которую занимал хозяин дома: железная койка, покрытая суконным солдатским одеялом, пустые стены; лишь над кроватью висел маленький крестик. Возле кровати — древтрестовская тумбочка. Разнокалиберные стулья — родные братья тумбочки — Зоценко принес из глубины квартиры, где обитала его безработная жена. Ее согласны были взять куда-то машинисткой, но при условии, что она сменит замаранную фамилию Зоценко на девичью...

Благородным аскетизмом веяло и от лица Зоценко, худого, изрезанного глубокими морщинами, смуглого, с сине-коричневыми тенями под черными глазами, то тусклыми, то вдруг загоравшимися ярким, сверкающим светом.

Мы принесли с собой бутылку коньяка. Михаил Михайлович достал крохотные рюмочки. За наше многочасовое пребывание у него он едва пригубливал горячительную влагу, не опорожнив и половины малого сосуда. Он лишь беспрестанно курил, чередуя самые дешевые папиросы “Звездочка” с выпускавшимися тогда, тоже самыми дешевыми, полусигаретами “Новость”, которые он вставлял в опять-таки дешевенький черный пластмассовый мундштук.

В разговоре он ни разу не проявил себя остроумцем. Смеха его нам не довелось услышать. Все это было естественным в те трудные для него годы. Он лишь изредка чуть улыбался, причем глаза не теряли выражения печали и боли, улыбку означали только чуть приподнимавшиеся уголки лиловатых губ да собиравшиеся у глаз морщинки. Но думаю, что и в молодости вряд ли в обыденной жизни он бывал завзятым главой застолья, весельчаком и юмористом. Юмор, сатирические построения, как некая антитеза, принадлежали целиком его творчеству, не проникая в каждодневную жизнь.

Конечно, после того первого посещения я не осмелилась бы по своей воле нарушить еще раз уединение Зоценко. Но обстоятельства сложились так, что вскоре, в мой очередной приезд в Москву (я тогда была аспиранткой Института теории и истории искусств при Академии художеств), Мариэтта Сергеевна Шагинян попросила меня передать маленькие сувениры Михаилу Михайловичу. Их связывала несколько необычная любовь-нелюбовь, приятие-неприятие: Мариэтта Сергеевна была неистребимым оптимистом, отличалась редкостным, поразительным жизнелюбием, общительностью, животворной энергией; Зоценко же, судя

по его серьезным научным работам (примечания к “Возвращенной молодости”, повесть “Перед восходом солнца”), всегда был склонен к депрессии, иссушающему самоанализу.

После этого второго посещения Зоценко уже сам пригласил меня, если не будет у меня страха, а будет желание, навестить его дом еще. С того дня до последнего края его жизни я бывала у него в течение почти двух лет не слишком часто, но регулярно.

Однажды Михаил Михайлович сказал мне, что, дескать, вполне понятно и объяснимо, что ему в его отшельничестве приятны мои приходы и долгие разговоры. Но мне-то что в нем, что мне, молодому человеку, в нем, старом, отмеченном клеймом отщепенца, отторгнутом от общества? Я ответила ему, что в моем представлении он — прямой духовный наследник декабристов, и прежде всего лучшего, любимейшего мною из них — Михаила Сергеевича Лунина. Наследник по всему — по чистоте душевной, честности, негибавшей принципиальности, верности своему делу, истинно гражданской позиции. Тогда Зоценко первый и единственный раз поцеловал мою руку».

ПОСЛЕДНЯЯ ПОДРУГА

Страшно представить себе, что Зоценко остался один в этой страшной ситуации. Жена и сын, конечно, делали что могли — но близости, взаимопонимания давно уже не было. И опять — Зоценко спасла женщина! Главной «подругой» Зоценко, его спасительницей становится его соседка по дому, Марина Деодоровна Багратион-Мухранская. И в ее воспоминаниях Зоценко предстает с несколько неожиданной стороны: Зоценко меняется, причем порой и правда неожиданно — в зависимости от того, с кем общается. Марина Деодоровна вспоминает (*Багратион-Мухранская М. Без литературы // Вспоминая Михаила Зоценко. Сборник*):

«Меня многие упрекали: почему я не вела дневник? Что ж, наверное, перед будущими биографами М.М. Зоценко я виновата. Но не перед Михаилом Михайловичем! Двенадцать последних лет его жизни я чуть ли не каждый день видела его у себя, но дорожила нашими отношениями не потому, что он знаменитый писатель. Для меня он был просто человек, которого несправедливо и жестоко обидели, и вот он приходит в мой дом, чтобы отдохнуть от забот и на время забыть свои горести.

Человек приходит к человеку. Доверяет ему свой покой. И что же? Он — за дверь, а я вынимаю дневник и записываю, в каком он пребывал настроении, что делал и о чем говорил? Так, что ли? Но ведь это нелепо. Бестактно. Это, можно сказать, предательство. Именно так я считаю. Ну а тем, кто думает, что коль я ничего не записывала, то зря Михаил Михайлович приходил в мой дом, отвечу: а что, если он приходил, как раз спасаясь от всяческих записей?

Я и сейчас сомневаюсь, нужен ли мой рассказ. Ведь никаких “исторических событий” под крышей моего дома не произошло. Но мне говорят: надо. О таком человеке, как Зоценко, все важно знать.

Ну что ж. Расскажу, что помню.

Начну, пожалуй, с того, что никогда не заводила разговоров на литературные темы. И он тоже — лишь в редких случаях говорил о литературных делах. Я не спрашивала его о семье, о людях, с которыми он поддерживал отношения, о том, чем в тот или иной день было занято его время до прихода ко мне, — словом, я не спрашивала его ни о чем, что находилось за пределами интересов, которыми жил мой дом. И потому он рассказывал мне лишь то, что хотел, делился лишь тем, чем ему было необходимо со мной поделиться.

Время от времени он приходил в очень плохом состоянии. Что-то опять в очередной раз случилось — какая-то новая неприятность. Если заговорит, я, конечно, разговор поддержу — постараюсь успокоить, развеять его страхи и опасения, отвлечь от тяжелых дум. Но, бывало, придет и молчит, весь вечер промолчать может. Я копошусь на кухне, вяжу или, если очень устала задень, прилягу и задремлю, а он все сидит и думает о своем. Потом встанет и так же молча уйдет. В такие вечера я не тревожила его разговорами. Я вообще старалась не мешать ему жить своей жизнью. Здесь у нас был как бы негласный сговор. И никто не хотел его нарушать. Видимо, именно это — прежде всего привлекало его в мой дом...

А познакомилась я с Михаилом Михайловичем еще до войны. Как и он, я жила в писательском кооперативе на канале Грибоедова, но пути наши както не пересекались. Однажды мы с мужем, Михаилом Юрьевичем Блейманом, зашли к Стеничам. Переводчик Валентин Осипович Стенич с женой жили этажом ниже, и мы часто у них бывали. И вот на сей раз встретили там Михаила Михайловича. Был какой-то незначительный разговор — не помню. До начала войны и отъезда в эвакуацию я его больше не видела. Так что знакомство оказалось шапочным.

Эвакуировали нас в Алма-Ату. Муж (он был сценарист, теоретик кино) стал работать на кинофабрике. Там же вскоре начал сотрудничать и Михаил Михайлович. Эвакуированным кинематографистам была отведена под общежитие гостиница “Дом Советов”, и недолгое время Михаил Михайлович занимал там один из номеров, а затем переехал куда-то. Иногда я встречала его на улице, здоровались, перекидывались несколькими словами и расходились... Нет, никогда я не думала, что он войдет в нашу жизнь!

Вскоре после возвращения из эвакуации, весной 1946 года, недалеко от дома я как-то столкнулась с Михаилом Михайловичем. Он спросил, не может ли чем-нибудь быть нам полезным. Я очень любила читать, без книг не жила, и сказала, что если он даст почитать какую-нибудь интересную книгу, то буду благодарна. В тот же вечер он принес только что вышедший собственный сборник рассказов и повестей. Я, честно говоря, весьма небрежно отреагировала на подарок (книга была с дарственной надписью). Как это понимать? Значит, из всех существующих на свете интересных книг самой интересной он считает свою?

Не знаю, обиделся он или нет, только начиная с этого вечера он стал приходить к нам все чаще и чаще. Однажды принес купленную в коммерческом магазине (который нам был недоступен) банку

консервированных ананасов. На его глазах мы с сыном моментально ее уничтожили. На другой день он снова поставил на стол такую же банку. И снова — момент, и банка пуста. Видимо, приняв нашу тоску по вкусным вещам за пристрастие именно к ананасам, он стал приносить их нам ежедневно. Ну и кончилось тем, чем должно было кончиться: уже сам вид этого недавно недоступного для нас изысканного продукта стал вызывать отвращение. Тогда Михаил Михайлович “перешел” на торты из “Севера”, тогдашнего “Норда”...

В первые годы после войны у меня не было телефона. И, естественно, Михаил Михайлович не всегда мог предупредить о своем приходе. Придет иногда, а дома никого нет. В таких случаях он заходил в квартиру (у него был свой ключ), обедал (обед всегда ждал его на столе), отдыхал и, уходя, оставлял записку. Этих записок сохранилось множество. И почти в каждой из них несколько слов, но обязательно о том, что он сегодня съел или наоборот — что не съел, не мог съесть. Еда, питание — это было одной из самых больных проблем его жизни. Тут у него было полное неблагополучие. Он и ходить-то к нам начал, по сути дела, из-за того, что, сев однажды за стол, вдруг почувствовал: может есть!

Помню, когда он пришел в тот день, я как раз кормила сына обедом. Предложила и ему пообедать. Он начал отказываться. Сказал, что у него нигде, даже у себя дома, толком поесть не получается. Нет аппетита. Обычно он что-нибудь перехватит, пожует на ходу кусочек — и все. И так, мол, было всегда — сколько он себя помнит.

Я все-таки уговорила его. Сел. Осторожно так повозил по тарелке вилкой, поковырял, попробовал на язык. Проглотил. И такое удивление отразилось на его лице... С этого дня он стал к нам ходить буквально по часам: к завтраку, обеду и ужину. И на ужин обязательно приносил с собой что-нибудь вкусное.

Никогда не забуду комическую ситуацию, связанную с теми днями, когда Михаил Михайлович только начал у нас “столоваться”. Он считал, что, по правилам хорошего тона, неприлично доедать все, что положили тебе на тарелку: немного, но надо оставить. Я, конечно, тоже знала об этом “правиле”, но война заставила забыть множество всевозможных правил, а это в первую очередь. И вот в следующий его приход, думая, что накануне слишком много ему положила — потому он и не доел, я уменьшила порцию. Он с видимым аппетитом принялся за еду, но снова чуть-чуть оставил. Пришлось уменьшить еще. Потом еще и еще... Я уже догадалась, в чем дело, но остановиться не могла. Любопытно: чем же все это кончится? И когда наконец я поставила перед ним тарелку с маленькой, в

одну ложку, кучкой картофельного пюре, он взмолился: “Могу я получить нормальную порцию?!”

Обиделся. А я поняла, что подшучивать над ним опасно. По-видимому, так истрепаны его нервы, так много и часто в последние годы его унижали, что даже самые легкие уколы болезненны для его самолюбия.

Ну вот, например, такой уж вовсе невинный с моей стороны поступок... Жили у нас два снегиря — семейная парочка. Товарищ моего сына принес как-то еще одного — самца, похожего, как две капли воды, на нашего. Приходит Михаил Михайлович и видит, что на подоконнике сидят две совершенно одинаковые птички. Спрашивает: “А откуда тут второй снегиришка взялся?” Мне бы ответить, как было: мол, Юркин товарищ принес. Но я сделала большие глаза: “Где? Я вижу только одного...”

Как же он рассердился! Мне пришлось потом долго его успокаивать. Просила прощения, обещала оставить свои “глупые шуточки”. А как их оставить, когда сам он подковырнуть, подкусить (конечно, совсем необидно, по-доброму) был очень не прочь! И ты волей-неволей настраиваешься на заданную им “волну”».

Марина Деодоровна, может быть, ближе всех подошла к Зоценко как к человеку, а не как к знаменитому писателю, и оказалось, что это вовсе не одно и то же. Когда его не пугали, не травили, когда он мог забыть на время о своих скорбных делах, он бывал совсем другим:

«Я вот не раз слышала и читала, будто Михаил Михайлович был человеком замкнутым, а то и вовсе — мрачным, угрюмым. Что ж, вполне возможно, что в непривычной, неудобной для себя обстановке он в самом деле мог показаться кому-то именно таким. Ноя его таким не знаю. Не помню. Нет, конечно, все его неприятности, страдания, муки остались в памяти: и август 1946 года, когда он пришел прощаться, думая, что его арестуют; и растянувшаяся на несколько месяцев нервотрепка, следовавшая за его встречей с английскими студентами; и его обиды на разбежавшихся, как от чумы, вчерашних друзей и товарищей... Забыть этого нельзя. Но хорошо помню и вот что: даже в самые тяжелые времена, как бы ни угнетали, ни подавляли Михаила Михайловича обстоятельства, он не терял веры в лучшие для себя и для всей нашей страны времена, и его никогда не покидало то, что принято называть чувством юмора. Он приходил к нам не за сочувствием, не с жалобами на свою судьбу. Он приходил отдыхать от ее ударов. И, видимо, поэтому не “втраивал” нас в свои переживания. Устав от сложных взаимоотношений, возникших у него с внешним миром, он искал в нашем доме простых и спокойных житейских радостей. И, как я смею предполагать, нашел их. Он оставлял за дверью все

свои боли и неудачи и становился не писателем Зощенко, со всей известностью своего гордого и печального имени, а обыкновенным домашним человеком — исключительно добрым, заботливым и... Я вот недавно спросила сына: “Каким ты его запомнил?” И он, не задумываясь, ответил: “Веселым!”

Михаил Михайлович — веселый человек? Нет, наверное, это сказано слишком сильно. Я бы внесла такую поправку: он умел и любил быть веселым. Когда он нас веселил и, глядя на нас, сам веселился, я чувствовала: в эти минуты он-то и был, как говорят, настоящим, самим собой, тем самым, каким был задуман и сотворен, — настолько естественно и свободно это у него получалось.

Вот играют они с сыном в карты, в “подкидного дурака”. Михаилу Михайловичу не везет: не идет карта. И вот раз за разом он начинает жульничать. Притом делает это так напоказ неумело, так нарочито неловко, так комично он выглядит, совершая очередную шулерскую манипуляцию, что мы умираем со смеху. Мы — это я и сын, а у Михаила Михайловича невинно-недоумевающее лицо: чего, мол, смеются? Наконец сын не выдерживает: “Михаил Михайлович! Кончайте свои арапские штучки!” Ему обидно: карта идет, а выиграть не может... На другой день, прибежав из школы и не успев сбросить пальто, жаждущий взять реванш за вчерашнее поражение сын уже с порога кричит: “Где арап?!” А “арап”, едва услышав, как поворачивается в замочной скважине ключ, залез... под стол и там трясется от смеха: ему нравится, что его так называют. Недолго покружив по комнате, сын находит Михаила Михайловича и в восторге вытягивает его из-под стола. И снова — бой, “арапские штучки” и смех до упаду. А однажды зашла к сыну знакомая девочка, его ровесница. Они играют, и она захотела сыграть. Ну и, конечно, вскоре схватила Михаила Михайловича за руку — как всегда, намеренно-неуклюже он передернул карту. Швырнув свою колоду на стол, девочка в крайнем возмущении закричала: “Михаил Михайлович, вы — жила!” Он удивился: “А что такое жила?” А потом все спрашивал, озорно поблескивая глазами: “А где та очаровательная Юркина подруга, которая меня жилой назвала?”

Ему нравилось быть с детьми. Он легко себя чувствовал в их компании. Ведь, не в пример взрослым, дети еще не научились скрывать своих чувств и говорят то, что думают. Помню, когда сын уезжал в свой первый пионерский лагерь, Михаил Михайлович предложил ему переписываться. Сын с радостью согласился, но тут же откровенно признал, что вот-де, неплохо, как ему кажется, умея вести разговор, он не умеет излагать свои мысли в письмах. Как быть?

— Многого я от тебя не потребую, — сказал Михаил Михайлович и, сходя к себе домой, принес “Письмовник” 1812 года. — Я уже давно ни с кем в переписке не состою и, видимо, состоять не буду. Так что он мне не понадобится. А тебе пригодится... — Он открыл первую попавшуюся страницу и стал читать. Что-то такое: “Милостивый государь! Спешу уведомить Вас, что я нахожусь в моем поместье, чувствую себя великолепно, буду рад Вас видеть, примите и прочее...”

Вручив сыну “Письмовник”, он сказал, что, конечно, все это вчерашний век, много тут негодного сору, но вежливость, каковой учат нас предки, выпустившие эту книгу, — не сор, это как раз то, что, к сожалению, сегодня утрачено. И потому — это полезная книга.

С помощью этого “Письмовника” сын писал Михаилу Михайловичу очень смешные письма. Старый, потрепанный, но, как дорогая реликвия, он и сейчас у него хранится. И это далеко не единственный подарок Михаила Михайловича. Трудно перечислить все то, что появилось в нашем доме с его легкой руки. У него было очень трудно с деньгами, но он не мог отказать себе в удовольствии: по любому случаю что-нибудь да подарить. Радиоприемник, проигрыватель, пишущая машинка, часы, даже подзорная труба были подарены сыну на день рождения. Я считаю, да и сын тоже, что именно Михаилу Михайловичу он обязан своей профессией кинооператора. Все началось с увлечения фотоделом, с подаренных Михаилом Михайловичем фотоаппарата и увеличителя. С первых же проб (кстати, нередко позировал перед объективом “даритель”) у сына стали получаться хорошие кадры, но он разбрасывался в своих детских увлечениях, хватался то за то, то за это и лишь благодаря настойчивости Михаила Михайловича не бросил фотографировать, стал заниматься во Дворце пионеров, а по окончании школы, выезжая в течение ряда лет в пионерский лагерь, руководил фотокружком. Ну, а от фотографии до кинематографии, как говорится, рукой подать...

Я от многих слышала: у Михаила Михайловича не было личных врагов, его все любили. А за что его не любить? Не знаю человека, который был бы добрее его и заботливее. Вот в конце сороковых годов я заболела и попала в больницу. Сын остался один. Узнав об этом, из Москвы приехал его отец. Заходила и одна знакомая, мать моей школьной приятельницы. Вроде сын под присмотром. Но я все равно очень нервничала: как он там? И если бы не Михаил Михайлович с его умением успокоить и ободрить, не знаю, скоро бы я вышла из больницы. У меня сохранилась записка, которую он переслал мне в палату — то ли на второй, то ли на третий день. Вот что, помимо прочего, он писал:

“...Даю тебе отчет по дому:

Все обстоит хорошо. И, пожалуй, даже не хуже, чем при тебе. Парнишка твой на редкость славный мальчик — умный и рассудительный. И с ним можно договориться без нажима на него. Все больше убеждаюсь, что из него выйдет толк. А вежливость его и корректность к людям прямо меня умиляют.

Так что насчет его ты не тревожься. И вообще, не беспокойся о доме. Все будет как полагается.

В пятницу мы с Екатериной Марковной (упоминавшаяся выше знакомая) долго сидели “у тебя в гостях”. И, так сказать, руководили твоим несложным хозяйством...

В общем, буду каждый день хоть ненадолго ходить к твоему “Рыжику”...

Постарайся побольше спать. Ты ведь постоянно недосыпала. Спала часов по 5. И тем самым стала такой, какая ты есть — хрупкой и (настаиваю) нервной до крайности. Твое лежание в больнице должно принести тебе хоть эту пользу научиться спать по 10 часов...

Сейчас иду к твоему Рыжику на часок...”»

То есть можно сказать — на склоне лет Михаил Зощенко нашел, наконец, хорошую семью. Правда — не свою, а чужую. Но ему там было хорошо. И мы увидели, наконец, счастливого Зощенко. Вдруг оказалось, что могло быть и так, но... «ошибся этажом». Интересно порой подумать об «альтернативных вариантах» биографий великих людей. Что «было бы», если бы Пушкин не женился на замечательной красавице Гончаровой, а выбрал бы кого-нибудь попроще... может, и не погиб бы? А если бы Зощенко не поддался чарам «роковой красавицы» Веры Кербиц-Кербицкой, с ее претензиями на «великую судьбу», «безумную любовь» и т. п., а женился бы на скромной, понимающей его женщине? Талант все равно не пропал бы — а характер смягчился, и не стал бы он «нарываться», писать то, что опасно... глядишь, прожил бы счастливую жизнь. Но — написал бы он то, что написал? Вспоминали бы мы его сейчас? Писателю, как правило, выпадает необычная судьба, он должен многое пережить, благополучная жизнь — не для него. Марина Деодоровна спасала его, помогала ему избавляться от неврозоз... но ведь без них он не написал бы «Перед восходом солнца». Однако — может быть, писатель заслуживает покоя и счастья хотя бы в конце жизни?

В руководстве Союза писателей, видимо, поняли, что, возбудив против Зощенко «дело», связанное с английскими студентами, переусердствовали — и, как сказано выше, наградили его бесплатной путевкой на юг, в

сочинский санаторий. Теперь Марина Деодоровна — главная его «корреспондентка», именно с ней он делится своими переживаниями:

«8 декабря 54 г.

Мариша! Сообщаю тебе известия — скорее плохие, нежели хорошие.

В Сочи, конечно, чудесно — тепло, солнце, зелень.

Люди ходят без пальто.

Санаторий отличный. Комнату мне дали более чем роскошную — с золотыми бархатными портьерами, с балконом на море. Балкон в мавританском стиле!

Весь медперсонал побывал у меня с визитом. Забота самая удивительная. Но вот со здоровьем моим оказалось плохо.

Нашли у меня: весьма плохое сердце, усложненное мерцательной аритмией, нашли полнейшее истощение (дистрофию) и, что более всего меня удивило, плохие легкие. Стали ставить термометр — к вечеру 37,3. Стало быть, какой-то процесс происходит. Вот это крайне огорчило меня. Не хватает тут еще чахотки! Но, может, и обойдется. Посмотрим через несколько дней.

Браню себя не переставая — не надо было мне ехать на юг в моем чертовском состоянии. Даже малая перемена иной раз дает отрицательные результаты. Надо было подкормиться и окрепнуть в Ленинграде. А потом ехать.

Одно тут хорошо — не чувствую ни отвращения, ни тошноты — ем хорошо, но маловато — все еще не могу свыкнуться с большими порциями.

Вряд ли я пробуду здесь до конца месяца — работать не могу, а без работы уныние.

В Москву не поеду, вернусь домой раньше. Однако попробую заставить себя выдержать испытание до конца.

Извини, что пишу карандашом — лежу, почти все время лежу по предписанию врачей, которые все же перепутаны — как бы я тут не сдох. Но я пока еще не сдохну.

Целую тебя, Маришенька. Привет Юрке.

Михаил».

Приписано:

«Встаю в 7 утра (без принуждения). Днем сплю часа два. Ложусь в 11. Это необыкновенно!

Сегодня ел:

Утром — $\frac{1}{2}$ стакана сметаны, стакан кефира, 2 кильки, кусок хлеба с маслом (30 грамм), кофе (курицу не стал есть).

Днем — тарелку ухи (очень хорошей), котлеты по-шахтерски (из дичи) с пюре. Шарлотку. стакан кефира.

Вечером не стал есть. Только компот и $\frac{1}{2}$ яблока.

Так почти ежедневно. Но все же ем примерно $\frac{1}{3}$ того, что дают. И это поражает подавальщиц, которые подали жалобу на меня. Главврач спросил — что бы я хотел есть. Но он не может понять, что это мой максимум!

Конечно, чахоткой противно заболеть, но, я думаю, до этого дело не дойдет. А ежели дойдет, то, в сущности, безразлично, от чего околеть.

Возможно, что врачи путают. У меня простуда, я чувствую это. Вообще врачи (как и с сестрой Валентиной) не разобрались в моем теле.

Вернусь и буду сам лечиться.

Писать ты не любишь, и поэтому я освобождаю тебя от обязательства отвечать. Тем более что я и в самом деле (может быть) уеду раньше».

Однако не уезжает. Из Сочи, с его жаркими днями, теплыми, душистыми вечерами и ночами, вообще не хочется уезжать. Самочувствие там быстро улучшается:

«14 декабря 54.

Маришенька.

Здоровье мое значительно лучше. Чахотки не оказалось. Температура прервалась после первых же дней. Аппетит увеличился. И я стал (как будто) поправляться. Однако ем мало. А против шахтеров (которые изумили меня своим чудовищным аппетитом) ем ничтожно.

Сегодня 10 дней, как я тут. Кажется, уморил всех врачей своим нежеланием лечиться. Только сегодня дал наконец (из пальца) каплю крови для исследования. Об этом упрасивал меня главврач (и даже директор).

Какое же все-таки у меня удивительное нежелание быть здоровым! Уж я так свыкся с мыслью, что тяжело болен, должен лежать (почти без памяти), а тут опять предстоят тяжелые дни здорового человека.

Вот тут-то и есть мой конфликт, который надо бы распутать до конца. Но только неохота.

Здесь в Сочи чудесно. Солнце с утра до ночи. Совсем тепло. Хожу в костюме. На море люди принимают солнечные ванны, а кое-кто даже купается.

Климат здесь благодатный. Кругом зелень, пальмы. Такой сказочный фон не сходится с моим (все же еще слабым) состоянием. Вот сейчас обед, и я не без отвращения думаю, что надо опять есть и есть, как едят мои соседи по столу шахтеры.

Будь здорова, Мариша!

Юрке привет! Он бы тут посоревновался с шахтерами в еде!

Твой Михаил.

На всякий случай мой адрес: Сочи, санаторий им. Орджоникидзе».

Да — все же было хорошее и в тех временах.

«20 декабря 54.

Маришенька! Все было хорошо — я начал было поправляться, но врачи произвели на меня такой натиск (анализы, процедуры, исследования), что я опять чуть не сдох. Снова поднялась тошнота и отвращение к еде.

Надо сказать, что анализы дали неожиданные результаты — оказалось, что у меня все в норме — отличное давление, идеальные почки, печень. Даже малокровия (к удивлению врачей) у меня не оказалось. Кровь не показала никаких болезней, даже не было обнаружено никакой склонности к склерозу.

Единственный минус — недостаток сахара в организме.

Такой неожиданный анализ вдохновил врачей, и они произвели на меня новый натиск — стали делать какие-то уколы и впрыскивания, чтобы вызвать у меня аппетит и повысить тонус. Но вот это и оказалось губительным для моего слабого состояния. Вот тут-то и пошли у меня знакомые симптомы — тошнота и прочее.

В общем, врачи отступили от меня. Главврач сказал: “Придется закрыть санаторий — не справились с больным”. Он (сегодня) прислал мне бутылку коньяка и сказал, чтоб я принимал перед едой по 50 грамм. Это (сказал он) единственное лекарство, которое, пожалуй, поможет вам.

Попробую. Но уже чувствую отвращение к вину.

Сейчас (без давления врачей) мне несколько лучше. Но нервы взбудоражены после таких боев. Лежу на балконе (в общем, слабый). Солнце мягкое, тепло. Рассчитываю, что естественные силы природы сами приведут меня в порядок...»

Покой так и не приходит к нему, судя по воспоминаниям Марины Деодоровны Мухранской:

«После возвращения из Сочи Михаил Михайлович продолжал чувствовать себя неважно. Сократил и до того нечастые “выходы в свет”, визиты к знакомым. Виделся с Груздевым (чаще, чем с кем-нибудь другим), бывал у Эйхенбаума, встречался с Акимовым, с Шостаковичем, когда Дмитрий Дмитриевич приезжал в Ленинград. Приезжал с гастрольями театр Образцова — мы были на двух спектаклях. А однажды позвонил Вертинский, пригласил на концерт, оставил в кассе билеты. Сидели мы очень хорошо, а после концерта Михаил Михайлович повел меня за

кулисы. Я поняла, что они знакомы коротко, иначе Михаил Михайлович, при его скромности, ни за что бы не решился на такой шаг. Их встреча подтвердила мое предположение: по всему было видно, что они искренне симпатизируют друг другу. Впрочем, что касается Михаила Михайловича, то о его отношении к Вертинскому я знала: когда появились в продаже первые его пластинки, он тут же послал Юру купить их, а потом с удовольствием слушал. Но то было еще в сороковые годы, а теперь шли пятидесятые, и он уже давно не включал проигрыватель.

Работал Михаил Михайлович тоже без настроения, скорей — по привычке. Да и могло ли быть настроение, если почти все, что он писал, под разными предлогами отвергалось журналами и издательствами. “Над книжкой своей я еще сижу, — писал он мне в одной из записок, — всякие доделки, и пускаю последний блеск, который все равно никому не нужен, да и не будет понятен, а скорей всего раздражит. Ну уж сделаю профессионально, по всем правилам нашей науки”».

К Марине Мухранской, жившей двумя этажами выше, Зощенко продолжал ходить в гости — а точнее, как к себе домой, в уютный и теплый дом — до последних дней своей жизни.

ПОСЛЕДНИЕ РАДОСТИ

Да — были вокруг Зощенко люди благородные, чуткие, талантливые. И были радости от встреч с теми, кто и его ценил за талант, — с Шостаковичем, режиссером Акимовым, литературоведом Эйхенбаумом... Одна из таких встреч произошла в 1950-е годы — с турецким поэтом Назымом Хикметом. Будучи убежденным коммунистом, он 17 лет провел в турецких тюрьмах, а после освобождения в 1950-м — перебрался в СССР, где был принят с почетом. В Москве ему дали отличную квартиру и вообще всячески поощряли.

Хикмет оказался человеком умным, веселым, талантливым. К тому же он был красивый мужчина, женился на одной из московских красавиц и вскоре сделался чуть ли не «королем» светской жизни Москвы. Они с женой стали обязательными участниками всех самых модных премьер, вечеринок, фестивалей, юбилеев и т. д. Неверно думать, будто жизнь в Москве состояла лишь из одних партсобраний и очередей — существовало, несмотря ни на что, «высшее общество», которое «держало марку». А Хикмет еще оказался талантливым и удачливым драматургом — его язвительные, смешные комедии весьма успешно шли в театрах, они привлекали и широкую публику, и «изысканный бомонд» «вольным духом», политической смелостью, что Хикмет, как «почетный гость государства», себе позволял — и чего не могли себе тогда позволить наши писатели. «Какие же вы коммунисты, если вы всего боитесь!» — насмешливо говорил он советским друзьям, которых, однако, любил. Были у нас смелые люди!

Замечательно Назым Хикмет показал себя и при встрече с Михаилом Зощенко. Думаю, такого рода события помогали Зощенко жить, возвращали ему веру в себя.

Об их встрече в Ленинграде вспоминает жена Хикмета, красавица Вера Тулякова-Хикмет (*Тулякова-Хикмет В. Аплодисменты // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«Я узнала, что первую книжку рассказов сразу покоровшего его писателя молодой Назым получил, едва научившись читать по-русски, в начале двадцатых в Кунцеве от своего старшего друга и московского переводчика поэта Эдуарда Багрицкого, которому во многом обязан безупречным литературным вкусом. Эта книжка оставила след на всю жизнь, и когда в 1937 году Хикмета посадили в Турции на огромный срок в

тюрьму, он вспомнил именно о рассказах Зощенко, вспомнил о писателе, который в этот момент поможет ему улыбнуться, а это значит — сохранить стойкость.

Друзья раздобыли ему русский сборник рассказов Зощенко, и Назым с усердием заключенного много лет вчитывался в его удивительные сюжеты. Вся тюрьма чуть не наизусть знала большинство этих русских историй и по-доброму смеялась над их не очень-то удачливыми героями. И вот тут Назым и понял, что через рассказы Зощенко даже самый темный турецкий крестьянин легко воспринимает то, чего ну никак не мог осознать раньше, что эти советские русские такие же, как и он, люди. Да, люди, а не красные монстры, запугавшие весь мир своим чудовищным коммунистическим бытом.

Назым считал, что книги Зощенко — самая лучшая пропаганда жизни советских людей, что его юмор в прямом смысле обезоруживает и роднит. С большим волнением он переводил в тюрьме этот сборник, наряду с двумя томами “Войны и мира”, и был рад, что в его успехе не ошибся.

Когда Назым вновь приехал в сталинскую Москву 1951 года уже зрелым человеком и его спросили, с кем он хочет увидеться — одним из первых имен после Мейерхольда он назвал Зощенко. Но в свидании было отказано под предлогом того, что Зощенко опасно болен, живет в Ленинграде и врачи к нему никого не пускают.

Только спустя три года Назым узнал от Николая Павловича Акимова всю правду о трагедии писателя, и тут уже встретиться с Зощенко ему никто не мог помешать.

Случай не замедлил представиться. В ноябре 1954 года Назым совершенно неожиданно для себя получил телеграмму из Ленинграда, в которой главный режиссер Драматического театра, позже получившего имя Комиссаржевской, Владислав Станиславович Андриюшкевич приглашал драматурга срочно приехать на премьеру хикметовской пьесы “Первый день праздника”. Назым ответил согласием, позвал с собой близкого друга и переводчика Акпера Бабаева и таким образом в одно прекрасное утро он оказался в Ленинграде.

В тот период Назым Хикмет еще не написал своей главной остросатирической пьесы “А был ли Иван Иванович?”, направленной против бюрократии и культа партийной власти, ею же незамедлительно и запрещенной, и продолжал быть в большой чести у госаппаратчиков. Его торжественно встретили, поселили в “Европейскую”. А как только чужие ушли, он попросил Акпера позвонить Зощенко и пригласить его вечером на премьеру. Сам он позвонить не решился, просто боясь напугать Михаила

Михайловича.

К телефону подошел сам Зоценко, но когда узнал, что его приглашает в театр Назым Хикмет, страшно разволновался и стал всеми силами отказываться, конечно, решив, что знаменитый турок постановления ЦК по его поводу не читал и не ориентируется в его страшной ситуации литературного изгоя. Пойдя на премьеру, он его просто-напросто подведет.

Тогда Назым взял трубку и сказал: “Товарищ Зоценко, я все знаю. Вы не думайте. Но вы один из моих самых любимых писателей. Я приехал ради встречи с вами. И я прошу вас пойти сегодня со мной в театр. Это очень для меня важно”.

И Зоценко согласился. Писатели договорились, что по дороге в театр заедут за Михаилом Михайловичем, а он в назначенное время будет ждать их у подъезда своего дома.

Сделали все, как условились. Встретились, обнялись и так вошли в театр, где Назыма в дверях поджидало с букетами партийное начальство города Ленина.

Назым горько смеялся, вспоминая разыгравшуюся сцену в служебных дверях Драматического театра, сильно напомнившую ему финал гоголевского “Ревизора”. Он смешно показывал, как опрокинулись лица культпартработников, как все встречающие разом вспотели от напряжения и испуга, и великий жар повалил от них, он помнил их злые глаза, прожигающие ненавистью писателя, и то, как, овладев собой, они попытались оторвать Михаила Михайловича от Назыма Хикмета и куда-то увести... Но старый подпольщик крепко держал друга за плечо. Так после третьего звонка они прошли по опустевшему фойе к дверям переполненного зала. Назым распахнул перед своим гостем дверь и подтолкнул Зоценко вперед к зрителям, а сам задержал шаг и остался стоять за порогом. Он увидел, как премьерная ленинградская публика вдруг напряженно замерла, оставшись как бы наедине со своим замечательным писателем, а потом взорвалась искренними восторженными аплодисментами, решив по извечной наивности, что классик прощен и легализован. Зоценко стоял перед ними тихий, сосредоточенный, несуетный... Потом вошел Назым Хикмет, и овация повторилась. Но это была рядовая овация, говорил он, а аплодисменты Зоценко — это совсем другое, это были одни из самых дорогих и очень счастливых мгновений его жизни, о которых он любил вспоминать.

Назым с радостью рассказывал, как все на редкость хорошо складывалось в тот вечер. Спектакль удался, пьеса понравилась зрителям, артисты замечательно играли, зал часто им аплодировал, и, главное,

Зощенко (Назым почему-то произносил его фамилию, всегда сильно напирая на оба “о”) был здесь, с ним рядом. Правда, в антракте, когда они прохаживались, обнявшись, среди публики и Назым рассказывал Михаилу Михайловичу, как он помог своими рассказами выжить ему в тюрьме, потому что улыбающийся в лицо своим врагам узник — это самый непобедимый узник, он вдруг услышал за спиной мужской голос. С нарочитой издевкой, отвратительно громко, в затылок, как удар кастетом, были произнесены слова: “А это что за маленький черненький носатый прицепился к Назыму Хикмету?!”

Закрыв глаза от волнения, Назым сбивчиво говорил, как ему хотелось крикнуть на весь театр: “Сволочи!” и бить, бить этих хамов, когда он обернулся и увидел двух молодых мужиков с комсомольскими значками, явно подосланных. Но он, с присущей ему выдержкой, своим митинговым, хорошо поставленным голосом поэта дал провокаторам ответ: “Это мой большой друг товарищ Зощенко. Русский писатель, которого уважает и любит весь цивилизованный мир!”

Здесь бы мне и поставить точку, остановиться на мажорной ноте да на вещих для сегодняшнего Зощенко словах... Но не могу. Скажу, что было дальше.

Когда спектакль счастливо завершился и премьерный ритуал с речами, подношением букетов и целованием актрисам рук был исполнен, Назым физически ощутил, что не готов, не в состоянии вот так взять и расстаться с Зощенко. Он видел, как тот от волнений и усталости еле держится на ногах, и все-таки решился: “Товарищ Зощенко, я завтра вечером возвращаюсь в Москву. Давайте едем сейчас ко мне в гостиницу. Если бы вы могли читать ваши новые рассказы, я был бы самым счастливым человеком!”

Зощенко без всякого согласился. Попросил только по дороге в “Европейскую” на несколько минут завернуть к его дому за рукописью.

В номере Назыма Хикмета былолюдно. Приехали режиссер В.С. Андриюшкевич с женой, актеры, переводчики, была здесь и журналистка из Москвы Л. Батагова. Сюда же был подан ужин. Позже все эти люди помогут мне восстановить подробности той редкой по художественной насыщенности ночи.

Назым был очень нетерпеливым человеком. Если его душа к чему-то рвалась, он энергично брался за дело. Так и в ту ночь — он торопил всех с едой: “Товарищи, умоляю, ешьте скорей! У нас дело есть!” Наконец посуда была вынесена, Михаила Михайловича посадили в центре в кресло, он поднял у ног стоявший старый портфель и вынул из него рукопись.

— Здесь неопубликованная книга. Я назову ее “Сто рассказов”. Все

написано после приговора (он так и сказал: “после приговора”). Я хочу одного — пусть мой читатель знает: я не прекращал работать. Другое дело, что обстоятельства для писателя моего профиля сложились неподходящие. Ну, так не мы их, они нас выбрали...

И он начал премьеру никому еще не ведомой книги “Сто рассказов”, книги, которая в задуманном виде никогда не осуществится. И тут Назым впервые толком рассмотрел Михаила Михайловича. Поразили глаза, худоба, прозрачность, подавляемая нервность рук, явный предел физических сил... Он говорил, какую боль испытал за этого гордого человека, про которого ему Акпер Бабаев только что сказал, что он доведен преследователями от литературы до такой нищеты, что недавно ходил наниматься на работу лаборантом мыть пробирки в какой-то научный институт.

Поначалу Зощенко после каждого прочитанного рассказа порывался уйти, ссылаясь на ночь. Потом забыл о времени, скинул напряжение, читал артистично, вдохновенно, на глазах становился красивым, привлекательным человеком.

Назым вспоминал, как он то хохотал до слез, то сочувствие к героям овладевало им, усиливая ощущение объемности исследуемой жизни. Все, о чем он слышал, — было правдой, рассказываемой художником уникального таланта. Магический дар Зощенко он ощущал во всем: в высочайшей литературной культуре замысла каждого рассказа, в лаконизме изложения любого художественно осмысленного факта и в особой грани, которую Назым очень ценил, когда узнаваемая реальность доводится тончайшим пером Мастера до гротеска. Когда былинка становится бревном и об нее невозможно не споткнуться душе.

Зощенко читал много, щедро, всю ночь. В тонких пальцах хрустальный бокал, рубиновый от вина. Время от времени он подносил бокал к лицу, вдыхал запах хорошего вина, так и не отхлебнув. Он был очень серьезен. Из этой читки Назым запомнил несколько сюжетов, любил их пересказывать, меняя детали. Чаще других он вспоминал историю о старом скорняке, которого стали одолевать болезни, но поликлиники со всем их арсеналом врачей ему не приносили облегчения и грустные мысли о свалке жизни стали посещать изболевшегося трудягу. Кто-то надоумил его обратиться к одному древнему профессору. Старик пошел. “Умираю совсем, говорит. Меня и к врачам таскали, и на курорт — пустое дело”. А тот поглядел на него и сразу заключил:

— Все ваше горе в плоскостопии.

— Да вы же меня вовсе не смотрели!

А профессор смеется: видел, отвечает, как вы шли, и спрашивает пациента: “Вы кем работаете?” — “Скорняком”. — “Ну, и как часто ошибаетесь в качестве кожи?” — “Никогда”. — “Вот и я так же. Поживите с мое, куманек, тогда не только через пиджак, но и через стену будете видеть”.

Это был трогательный рассказ о человеческом сочувствии, когда профессионал не только помог человеку избавиться от недуга и страха перед старостью, но и вселил в него уважение к его делу, его профессии, его бесценному опыту, возродил желание жить да еще взял полцены. И ничего, что в рассказе, позднее изданном Зоценко (“Похвала старости”), герой не скорняк, а закройщик и некоторые детали расходятся, саму суть оптимистической истории Назым запомнил на всю жизнь. С не меньшим удовольствием вспоминал он и фельетон “Душевный конфликт” о добродушном веселом мастере мебельной фабрики Сергее Сергеевиче, примерном семьянине, пристрастившемся к водке, и его соседу — профессоре ботаники, вызвавшемся отучить бедолагу от пьянства. Пропали оба. Как выяснилось, спиртное подавали везде и всюду: от буфета до театра...

В полном восхищении от прочитанного, Назым вскричал: “Товарищ Зоценко, брат! Дайте мне вашу книгу, я ее сейчас же напечатаю!”

И взял рукопись.

Зоценко помолчал, а потом тихо спросил:

— А каким образом вы, Назым, собираетесь это сделать?

— О, не беспокойтесь, брат, у меня есть друг, который сейчас же это напечатает.

— Кто он? — так же негромко спросил Зоценко.

— Симонов! У него журнал, вы знаете...

— Симонов? Ну уж нет, — твердо сказал Зоценко и взял у Назыма рукопись. И, видя недоумение Назыма, Михаил Михайлович пояснил:

— А вы знаете, что ваш друг приезжал сюда стыдить меня за мою литературу?! А вскоре встретил меня в окружении молодых столичных литераторов и как ни в чем не бывало: “О, Михал Михалыч! Что вы тут? Идемте ко мне!” И руку мне на спину. Я руку стряхнул. Тяжелой оказалась его рука...»

ДРУЗЬЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Да — тяжелая рука на плече Зоценко все лежала... Хотя хватка той «руки» вроде ослабевала. Но уже не было сил и у Зоценко.

Год 1955-й начался тяжело. Только он вернулся, чуть вздохнув, из санатория, как возникла необходимость обменивать свою квартиру, и так уже далеко не шикарную, на еще более убогую — и комнату для семьи сына, о чем речь уже шла выше.

Зоценко еще пытается писать, возобновляет работу над циклом рассказов «Что меня больше всего поразило». Но журнал «Октябрь», как помним, по прочтении рукописи ответил отказом.

Однако Зоценко не сдается. По предложению Ленфильма пишет сценарий «Пять ошибок» — но работа прерывается... Все, кто видел Зоценко тогда, говорят, что он работает по инерции, с неохотой. В основном пишет скетчи для эстрады. После долгого затворничества он приходит на юбилей надежного товарища и замечательного драматурга Е. Шварца в ресторан «Метрополь»... В поддержке влиятельных, знаменитых друзей Зоценко очень даже нуждается. «Политическая погода» в стране понемногу теплеет. И друзья постепенно «вспоминают» своего друга — и возвращаются.

Главное, что беспокоит сейчас Зоценко, — восстановление его социального статуса: близится время пенсии, а у него в документах «пропуск в стаже» — те семь лет, которые он провел вне Союза писателей.

В середине августа 1955 года он подает заявление в Союз писателей о предоставлении пенсии — хлопоты продлятся долго. Но — перед самой кончиной пенсию ему назначат. И поддержка коллег в это время для Зоценко весьма ощутима.

С помощью друга-«серапиона» Константина Федина в 1956 году, после долгого перерыва, в «Советском писателе» выходит большая книга Зоценко «Избранные рассказы и повести. 1923–1956».

Как-то Зоценко выходит из своего дома на канале Грибоедова — и видит на углу Невского, возле Дома книги, толпу на улице.

— Что там такое? — спрашивает он.

— Народ стоит за вашей книгой!

— Но ведь дождь идет! — Зоценко пожимает плечом и, открыв зонт, уходит в другую сторону.

Уже даже и вышедшая после такого перерыва книга не радует его.

Напомню (о чем говорилось ранее), что в 1957 году Зощенко получит еще одну «весточку» от Федина: в своей книге воспоминаний «Писатель, искусство, время» он напишет о Зощенко, дав наконец высокую оценку его творчества... Сколько лет Зощенко не слышал доброго слова! Ну, может быть, и слышал, но в печати это — первый раз после десятилетий ругани.

Друзья возвращаются наконец. Но не поздно ли? Все же и горечь, и обида у Зощенко были.

Вот что помнит Евгения Оскаровна Путилова, известный литературовед (*Путилова Е. Две встречи // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«Это было в декабре 1957 года. Дом писателя им. Маяковского отмечал юбилей С.Я. Маршака: ему исполнилось семьдесят лет, и он приехал в Ленинград на свое торжество. Я занималась детской литературой, преподавала ее, и увидеть Маршака, побывать на таком вечере мне очень хотелось. Когда я вошла в Белый зал, оставалось всего несколько минут до начала. Зал был переполнен: не было не только ни одного свободного места, но стояли вдоль стен, сидели на подоконниках. И вдруг где-то в середине прохода я увидела банкетку, явно рассчитанную на двоих. На ней сидел один человек, второе место было свободно. Если бы у меня была секунда на размышление, я бы поняла, что второе место, наверно, тоже занято, что сейчас подойдет человек, который, вероятно, на минуту отлучился. Но я ни о чем таком не успела подумать, а просто протиснулась к банкетке и спросила:

— Это место свободно? Можно сесть? Мне ответили:

— Да, пожалуйста.

Я села, повернула голову, чтобы поблагодарить, и обмерла: рядом со мной сидел М.М. Зощенко.

В это время на сцену вышел ведущий, объявил о начале вечера. На сцене появился Маршак, раздались громкие аплодисменты. Маршак поклонился и прошел в правый угол сцены, где стояло большое кресло.

Стали поочередно выходить выступающие, и, как только первый из них превысил всяческую меру славословия, Михаил Михайлович бросил, едва слышно, ядовитую реплику. Я откликнулась. К сожалению, даже вскоре, когда я попробовала описать этот вечер В. Каверину, я и тогда не могла восстановить ни одного острого словечка Зощенко: речь шла именно о словечках, пущенных всякий раз точно к месту и без промаха бьющих в цель. И я уже не столько слушала ораторов, сколько с нетерпением ожидала очередной реакции Михаила Михайловича».

Нет, не простил Зощенко своих преуспевших друзей! Хотя многие из

них были людьми вполне достойными и им тоже досталось немало. Но и обиду Зоценко, которого Маршак не поддержал при обсуждении повести «Перед восходом солнца», в один из самых опасных для автора моментов, тоже можно понять... Как вспоминает Путилова, на юбилейном вечере Маршака Зоценко нервничал:

«...Кончилось первое отделение, объявили перерыв, и чуть ли не половина зала цепочкой направилась на сцену к Маршаку. Другая часть потянулась к выходу, и мы с Михаилом Михайловичем чуть ли не в одиночестве остались в середине прохода.

— А ведь, пожалуй, и мне надо пойти туда, к Маршаку, поздравить его, — сказал Михаил Михайлович и тут же добавил: — Но вы посмотрите, какой сейчас он и какой — я.

Я посмотрела сначала в сторону сцены и увидела Самуила Яковлевича, утопающего в кресле и одновременно в объятиях десятков людей. Его поздравляли, слышались восклицания, слова восторгов и приветствий. Грузный, большой, всей своей позой, выражением лица он излучал добродушие и живое удовольствие.

Тогда я оглянулась и посмотрела на Зоценко. Передо мной стоял человек с мертвыми, потухшими глазами, с лицом, буквально обглоданным страданием и невыносимой тоской.

— Ну так как, идти мне? — спросил он.

— Нет, не надо, не ходите, — без всякого колебания ответила я.

— Да, не пойду я туда, — сказал он, — а, пожалуй, спущусь и выпью чего-нибудь.

И он медленно пошел к выходу.

Не могу передать, какое охватило меня горе. Мне показалось, что и там, в буфете, он будет совершенно один, и больше всего я испугалась, что вообще он возьмет и прямо из буфета уйдет в раздевалку, а потом на улицу...

Но он вернулся, подошел ко мне, и я, не знаю уж как, выговорила:

— Я на вас обиделась, Михаил Михайлович!

— Как? — спросил он, буквально оторопев. — Я вас чем-нибудь обидел? Как это могло быть?

— Почему вы не пригласили меня с собой?

Он посмотрел на меня и сразу все понял. Его глаза потеплели, он чуть усмехнулся.

— Да, я виноват перед вами. Я очень виноват. Как же я теперь искуплю свою вину?

— Да, как вы теперь ее искупите? Он подумал.

— Знаете что, у меня месяца через два выйдет книга. Если я сразу пришлю ее вам в подарок, это будет компенсацией?

— Да, будет, конечно. <...>

Началось второе отделение: концерт из произведений Маршака. Кто-то стал читать стихи, и я почувствовала, что мой сосед словно окаменел, что он не слушает и не слышит. Прошло несколько минут, и Михаил Михайлович сказал мне:

— Простите меня, но этого я уже совсем не могу. Не сердитесь на меня, пожалуйста, что я ухожу. Я обязательно пришлю вам книгу. <...>

Через несколько дней я встретила знакомого, известного литературоведа и хорошего человека. Он тоже был на вечере Маршака.

— Слушай, — схватил он меня за руку, — как ты решилась сесть к Зоценко? Как ты решилась? Ведь весь зал видел, что рядом с ним есть место, но никто не посмел...

Боже мой! Я представила себе ощущение человека, который видит, что в зале нет мест, что люди кругом стоят, а место рядом с ним никто не занимает...

— Нет, — ответила я своему знакомому, — я не проявила никакой решимости, это получилось совершенно случайно.

Но про себя я возблагодарила судьбу за эту случайность, за то, что я оказалась кем-то, кто занял пустовавшее место, кем-то, благодаря кому Зоценко не почувствовал своей отторгнутости от людей. Может быть, поэтому он сразу, с первого мгновения, был так доверителен ко мне?

И был еще финал у этого вечера. Как свидетельствуют очевидцы, вернувшись в гостиницу, Маршак вспомнил, что видел Зоценко в зале и тот почему-то к нему не подошел. Он позвонил Зоценко по телефону и спросил, почему он не был на сцене. В передаче Маршака ответ Зоценко прозвучал так:

— Он говорит, что устал переучиваться».

УХОД

Да — тяготы жизни победили Зощенко. У него уже не было сил работать.

У него уже не было сил прощать, улыбаться тому, кто нанес ему тяжкую обиду. Он уже «не откликнулся» даже на вполне искренние попытки хороших людей прийти к нему и чем-то, как они надеялись, помочь. Он обиделся на все человечество в целом. «Зощенко обиделся!» — шутливая когда-то фраза «серапионов» приобрела смысл трагический. Его уже ничто в жизни не привлекало: ни почитатели, ни книги.

И вот — наступил последний год его жизни. Никто не знает своего «последнего года». Не знал и Зощенко. Литературовед Г. Леонтьева вспоминает тот год (*Леонтьева Г. Ненаписанная новелла // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«Случилось так, что в последний год его жизни мы оказались одновременно в Москве. Он — с хлопотами о пенсии, я — по своим аспирантским делам. Шел 1958 год.

Перед отъездом из Ленинграда Зощенко сказал мне, что остановится он у поэта В. Лифшица, дал телефон, просил позвонить и навестить его в Москве. В один из дней я отправилась на Аэропортовскую, в писательский дом.

До назначенного Михаилом Михайловичем часа оставалось еще время, и я зашла навестить Ф. Вигдорову и А. Раскина. Фриду я очень любила. Она тоже была человеком высокой чести и нравственного долга — перед своими читателями, перед людьми, перед обществом. Это она, продираясь сквозь заслоны в зал заседания несправедного суда над Бродским, несколько лет спустя будет вести подробные протоколы учиняемого насилия над поэтом, которого Ахматова считала самым талантливым из плеяды тогдашних молодых поэтов».

Да, великая литература не исчезает. Погибает один гений — возникает другой. И есть всегда люди, преданные литературе и готовые ради нее рисковать. И в 1958 году были люди, обожавшие Зощенко и успевшие помочь и Бродскому, соединившие в своей душе две литературные эпохи. Благодаря таким людям литература жива. По запискам Г. Леонтьевой мы можем их вспомнить:

«Когда я обмолвилась, что времени у меня немного — в другом подъезде того же дома меня ждет Зощенко, оба стали просить меня

позвонить ему и попросить прийти к ним в дом. Я позвонила. Но Зоценко тихо, вежливо, но твердо отказался. Когда я пришла к нему, он просил понять, что не капризничает, не ломается, что за несколько дней на него нахлынула после многолетней “диеты” такая масса новых людей, что он едва это вынес. Что ему большого труда, душевного сопротивления стоило отказаться присутствовать на заседании в Зале имени Чайковского, посвященном очередной годовщине памяти так его любившего, так много в свое время сделавшего для него Горького (боялся испортить своим появлением юбилей — вдруг его присутствие после пятнадцатилетнего почти что небытия вызовет некую заминку в президиуме или в публике). Что я для него “своя”, что я “не мешаю, не заставляю напрягаться в общении”.

Фрида говорила о Зоценко дрожащим голосом, с влажными — от восхищения и сострадания — глазами. Она сказала, что пару дней назад впервые встретила Зоценко в гостях у Чуковского».

Да — Зоценко по-прежнему был любим многими почитателями литературы. Но в нем уже шли необратимые процессы, признаки угасания: он часто сбивался в разговоре, впадал в какое-то оцепенение, не помнил, что только что говорил, боялся задохнуться — у него теперь часто вдруг перехватывало горло... Он говорил Леонтьевой, что отказался присутствовать на годовщине Горького, опасаясь вызвать своим появлением заминку в президиуме или в публике. Но была здесь и иная, еще более горькая подоплека. Когда Чуковский увидел посетившего его Зоценко, то ужаснулся: что случилось с красавцем Зоценко, умевшим очаровывать сотни женщин своими речами? Теперь речь спутанная, невнятная...

«Нет! — сказал Чуковский, человек замечательный, но четкий и деловой. — На сцену Зоценко нельзя выпускать: испортит и юбилей, и свою репутацию». Конечно, сумели сделать так, что Зоценко казалось, будто он сам отказался прийти.

У каждого кончается когда-то жизненный ресурс. Как написал Маршак: «Каких людей я только знал! В них столько страсти было! Но их с поверхности зеркал как будто тряпкой смыло».

Нет, Зоценко «тряпкой не смыло». Его книги остались навсегда. Но его «земная оболочка» уже таяла, исчезала.

И ближе всех к нему в этой ситуации оказалась Вера Владимировна — последние заботы легли на ее плечи. Вот что она записывала в своем дневнике в последний год жизни Зоценко:

«В пятницу 28.4.58 Михаил уехал в Москву... Слонимский говорил

тогда, что у него сложилось впечатление, что Михаил тяжело болен — он даже “чувствовал себя сиделкой у тяжело больного” во время их совместной поездки в поезде... Михаил приехал через два дня. Приехал еще более странный, больной... какой-то напуганный... Книжка — снова однотомник — должна была выйти в Госиздате... Но выпуск ее почему-то задержался... Как говорила мне потом Чалова, работавшая в Госиздате — и что она, конечно, скрыла от Михаила, не желая его волновать, — уже набранную было книгу раз или два снова “разбирали” — выпуск ее все “висел на волоске”. И лишь к весне было разрешено “свыше” все же издать ее. Хотя Михаил и не знал обо всех этих обстоятельствах, задержка с книгой страшно его волновала, и это было одной из причин его болезненного состояния... Волновала, конечно, и задержка с назначением пенсии... Все это, вместе взятое, и подкосило его в этот год окончательно».

Вера Владимировна ждала его летом в Сестрорецке, а он все задерживался с делами в городе. И вот!.. Все знают, что смерть когда-то придет, и вроде даже готовы... Но ее приход, как всегда, неожидан, ошеломителен.

Запись Веры Владимировны о последних днях Зощенко.

«И вот, наконец, он приехал в Сестрорецк. Это было 17 июня. Какой это был радостный день! И две недели прошли, как сон. Очень ему нравилось на даче, всем он был доволен. “Как хорошо, как удобно мне в этом году — тут плитка, и я могу себе разогреть, что хочу!” — говорил он... В этом году сирень цвела особенно буйно — даже листьев не было видно за цветом... И яблони цвели все как одна. И он, приходя из сада на веранду, говорил: “Как пахнет!” А мне говорил: “Как ты хорошо выглядишь в этом году!” ...Я чувствовала — у него, наконец, появилось полное доверие ко мне.

И вдруг — Валя привез бумагу — извещение из Министерства социального обеспечения о том, что ему присуждена, наконец, персональная пенсия республиканского значения в размере 1200 рублей и что ему надлежит явиться за получением пенсионной книжки в Горсо... И вот, часов около 7 или в 8-м мы отправились на вокзал. Шел он очень медленно, с трудом... пройдя Полевую, остановился у сосны, отдышал... В конце Дубковского переулка посидел на скамейке у колодца. Жаловался на слабость. Говорил, как отвратительна, неприятна старость... А душа у меня болела, болела... Так не хотелось, чтобы он уезжал! И так хотелось, чтобы приехал скорее! Предлагала ехать с ним — отказался: “Чем ты можешь помочь?” И уехал.

...Наконец, не в силах совладать с беспокойством, позвонила

Михаилу... И вдруг слышу какой-то странный, “чужой”, “замогильный” голос... Спрашиваю: “Мишенька, ну когда ты приедешь?”

...Утром — не могу дождаться приезда. Наконец — между 2 и 3 часами — слышу — машина! (Это было 7 июля.) Сбегаю вниз... Он идет по дорожке... Медленно... Словно приговоренный к смерти...

Свесив голову на грудь — худой, высокий от худобы, летнее пальто — как на вешалке... Боже мой! Бросаюсь к нему... Веду наверх... Он поднялся с трудом по лестнице, остановился у столика — так трудно ему было двигаться... И вдруг сказал: “Я умираю... У меня было кровохарканье”. Я начала успокаивать его: “...ну, может быть, лопнул какой-нибудь сосудик, или кровоточила десна... Успокойся, не надо волноваться”.

Рассказывал, как получал пенсию — сначала предложили было ему написать какое-то обязательство сообщать в случае большого заработка, потом сказали, что это не нужно...»

Хорошо, что Зоценко не успел разобраться в этой последней «писательской неприятности»: когда назначают повышенную пенсию за особые заслуги — при этом, фактически, запрещают работать дальше, любые твои заработки вычитают из пенсии!

Вера Владимировна записала:

«Радовался пенсии, говорил, как это хорошо, что можно будет спокойно жить, что так неприятно бывало занимать деньги... Я соглашалась с ним, говорила, что этой пенсии нам вполне хватит на двоих. Он сказал: “А Валичке?” На это я, улыбнувшись, заметила: “Ну, для своего Валички ты раз в месяц что-нибудь напишешь...” Согласился. Потом сказал: “Теперь я за тебя спокоен! Умру — ты будешь получать половину моей пенсии!”

Я, конечно, возмутилась — зачем говорить о смерти? Не нужно мне его пенсии!

На третий день ему стало хуже... Стал жаловаться на сильные боли в груди, в животе — “давит”... Начал говорить односложно, путать слова».

К Зоценко был вызван врач Гилянов, который после осмотра сказал Вере про мужа: «...Это тяжелый сердечный больной... Здесь не только аритмия, здесь — декомпенсация и стенокардия... Здесь — нарушение кровообращения... Притом — дистрофия».

Вера Владимировна подробно записала последние дни:

«...Вечером он вдруг сказал, прощаясь на ночь: “Завтра надо завещание... деньги Валичке”.

Как он любил сына! Боже мой, как он его любил!.. Его одного в целом

мире!»

Приближалось «последнее прощание». Вера Владимировна записала все очень подробно:

«...врач уговаривал Михаила лечь в стационар... Тот отказался наотрез... Стал называть меня “Верочкой” — как я удивилась этому непривычному для меня ласковому обращению. И думала — вот поправится он и сбудется наконец моя мечта — он будет доверять мне, начнется, наконец, хорошая, спокойная жизнь, будет, наконец, счастье, любовь, нежность... Какой беспомощный, какой слабенький он был! Маленький мой, любимый мой! Как доверчиво тянулся ко мне, принимая лекарство — верил, что я спасу его!»

Судьба Зоценко драматична. Но — в отличие от многих, погибших от чужой руки и похороненных неизвестно где, он умер в своем доме, на руках жены и сына. И жена оставила воспоминания, сохранила для нас последние его часы:

«И вот — воскресенье, 13-е. Проснулся в половине 11, пил молоко. Пил с охотой, с жадностью даже — залпом выпивал стакан молока. Боялся болей — их не было. И я успокаивала его. Нет, он хотел жить! Не правы те, кто думает, что он хотел смерти. Он думал — беда от того, что мало ел... И он старался есть больше... Почему-то часто путал слова. Вместо одних употреблял другие, схожие по первой букве. Вместо люминала все просил — “линолеум”. Я догадывалась, не поправляла его... Делала вид, что все в порядке.

Он вдруг сказал: “Как странно, как странно... Как я нелепо жил!” А я заметила: “Ну ничего, вот теперь будешь жить 'лепо' “...»

Вот и настал час проверки — его коллег, его старых поклонников и друзей:

«...После того как никто не приехал из Союза (а он, очевидно, ждал), он стал беспокоиться, не мог лежать, просил, чтобы его посадили, садился, потом опять ложился... В тот день я послала первую телеграмму Мариэтте Шагинян — я думала, она сразу приедет, поднимет всех на ноги, спасет!»

Писательница Мариэтта Шагинян, старый друг Зоценко, всегда помогала ему в трудные минуты... хотя бы деньгами. Но и не только. Женщина восточная, темпераментная, властная, она умела добиваться своего, «выбивать» для друзей то, что им было положено. Авторитет ее всегда был высок — в том числе и у властей. Мариэтта Шагинян прославилась своей работой о Ленине — тетралогией «Семья Ульяновых». В ее исполнении «Лениниана» получилась интересной, драматичной, острой. Многие прежде неизвестные сведения она добыла из архивов и

опубликовала впервые — и все заговорили о ней. Она — могла многое. И Вера Владимировна на нее очень надеялась:

«Действительно, сразу по получении телеграммы ее дочь позвонила мне, подробно расспросила о болезни, сказала что Мариэтта завтра же приедет в Ленинград...

Но когда я сказала ему: “Мишенька, звонила Мариэтта, она завтра приедет!”, — он ответил: “Бог с ней!” (Он почему-то давно разочаровался в Мариэтте и в ее добром к нему отношении)».

И отчасти он оказался прав. Мариэтта приехала только на похороны. И главной «свидетельницей прихода смерти» оказалась Вера, записавшая все с поразительной точностью:

«...В эти последние дни ему, наверное, было очень больно — он все засовывал пальцы в рот... Я не понимала, в чем дело, а потом заметила — на тоненьком пальчике — прокус... Видно, очень больно было ему... И что же болело, что мучило его? Я так и не знаю... И он клал голову мне на плечо, и мы сидели, тесно прижавшись друг к другу — так, как я мечтала, и это было в последний раз».

Да — трогательна и пронзительна эта идиллия, посетившая их накануне «последнего прощания» и наступившая наконец на пороге смерти. Была рядом женщина, смягчившая страшные минуты. Как сказал Пастернак: «Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа!»

Воспоминания Веры Владимировны — все отчаяннее:

«Потом он стал просить: “Увези меня, Верочка. Везите меня в Ленинград, в больницу!” Он так хотел жить!.. Он не хотел умирать! И в тот же день он впервые сказал: “Я умираю, Верочка!”

Как ужаснулась я!.. Опять была страшная ночь. На утро, в воскресенье, 20-го, явился Максимович, а следом за ним — Николай Михайлович из Литфонда с каким-то знаменитым профессором... После Максимовича обследовал приехавший профессор и врач, потом консилиум на веранде, внизу... Решение одно — немедленно в больницу! А когда стали звонить в Свердловку — оказалось, нужно разрешение из Горкома, а было воскресенье и никого на местах не было! Куда только не звонили — все напрасно!

К тому же вечером вдруг разразилась страшная гроза, ураган, ливень, и телефонная связь была прервана!

...Я снова отправила телеграмму в Москву — на этот раз, кроме Шагинян, Павловой и Федину... Федин откликнулся мгновенно:

“Глубоко сожалею, приехать не могу: сегодня уезжаю за границу. Телеграфирую первому секретарю тов. Спиридонову просьбу оказать

наилучшую помощь Мише. Одновременно обращаюсь в Союз писателей. Горячий привет. Пожелание выздоровления Мише. Федин”».

Конечно, надеяться на то, что бывший друг-«серапион», а ныне — сановный литературный вельможа Константин Федин бросит все, в том числе государственно-важную международную поездку, и примчится в избушку самого талантливому, но и самого несчастного «серапиона», — было бы слишком наивно. Но Федин старается помочь — причем на высшем уровне: Спиридонов, насколько мне помнится, был тогда секретарем Ленинградского обкома. Может быть, именно благодаря этому вскоре пришла телеграмма из Литфонда: «Телефон испорчен. Госпитализация Свердловку возможна завтра. Столяров».

Валерий и его знакомые ездили в аптеку за кислородными подушками. Дальнейшие события Вера Владимировна вспоминает так:

«Да, это была страшная ночь! А потом начался ужас... Приехали из Свердловки... Я думала — сейчас его увезут. И я уже решила на это... Но тут же ждало разочарование — врач после осмотра наотрез отказался везти: “Больной не транспортабельный... Везти сегодня нельзя... Может быть — завтра...”

И я молчала. Или я не хотела, чтоб его увезли? Или — надеялась на что-то?.. Потом приехал рентген... потом приходили брать кровь... Ах, сколько волнений причинили они ему, бедняжке, в тот последний его день!

И вот — подошло шесть часов понедельника, 21 июля... У него был Валя. И Валя мне рассказывал потом, что он сказал ему: “Достань из пиджака бумажник, деньги...” И дал ему 1000 рублей. Потом вдруг протянул к нему руки, крепко-крепко пожал его руку, так сознательно посмотрел в глаза и сказал: “Валичка, я умираю... Прощай, мальчик!”

И после этого он уже ничего не говорил... Начал задыхаться... Ему давали дышать кислородом, сменяли подушку за подушкой... Когда я поняла, что это конец, что началась агония, я пришла в такое отчаяние, почти потеряла рассудок. Наконец Лера (одна из помощниц) привела меня в сознание, сказала: “Тетя Вера, идите туда! Вы потом не простите себе, если дядя Миша умрет без вас...”

И я поднялась наверх... Бросилась к его постели... Он сидел — высоко в подушках... Глаза были открыты — его любимые, прекрасные, черные глаза... Но различал ли он что-нибудь уже — не знаю... Вдруг Валя крикнул: “Доктора!” Поспешно вошел Бессер... Что-то сделал... Потом Радик стал делать укол... Один... другой... Крикнул: “Спирт!” И вдруг: “Не надо!” Я поняла — конец! Это была смерть! Смерть Михаила... моего Михаила! Все было кончено... Навсегда! Безвозвратно! Было 12 часов 45

минут — начинался новый день — вторник, 22 июля... Разве можно пережить это! Скорей бы умереть, скорей бы уйти к нему!»

Весть о смерти Михаила Зощенко сразу разнеслась широко. Вспоминает Г. Леонтьева:

«Возвращалась с остановкой в Москве. С вокзала — сразу к Шагинянам. До сих пор помню выражение лица Мирели, открывшей дверь. Еще не переступив порога, я узнала от нее, что звонила Вера Владимировна из Сестрорецка. Михаил Михайлович совсем плох, без сознания, начинается отек легких. Она не в силах добиться, чтобы на дом приехали сделать электрокардиограмму и другие необходимые анализы. Следующим ранним утром снова звонок — Зощенко скончался. Днем снова звонок — начались хлопоты о погребении, но места на Литераторских мостках Волкова кладбища ленинградское начальство не дает. Тут нужно было видеть Мариэтту Сергеевну. Она не отходила от телефона. Ее возмущенным голосом, не просящим, а гневным, казалось, было заполнено все обширное пространство двухэтажной квартиры. Она звонила с требованием дать место на Литераторских мостках, где погребены многие десятки лучших деятелей русской и советской культуры, для такого замечательного мастера, каким был Зощенко. Звонила в Союз писателей, центральный и ленинградский. В “Известия”. В Ленинградский обком партии. Все ее старания остались втуне...

Я в тот же вечер выехала в Ленинград. Видимо, из опасения каких-либо эксцессов, связанных с объявлением о смерти Зощенко, в “Ленинградской правде” не было указано то ли место, где будет проходить гражданская панихида, то ли час — сейчас уже не помню. Видимо, из тех же соображений в толпе, заполонившей здание Ленинградского союза писателей, и среди множества людей, сгрудившихся у входа (в доме всем пришедшим проститься с Михаилом Михайловичем не хватило места), то там, то сям мелькали милицейские фуражки...

В гробу Зощенко выглядел словно бы спящим, смерть не исказила его черты: те же чуть поднятые брови, слегка приподнятые уголки рта живо напоминали его печальную полуулыбку. Его сделали за пятнадцать лет гонений полумертвецом еще при жизни — наверное, потому он выглядел в гробу будто бы живым, будто бы спящим... И перед этим покойным ликом, перед лицом смерти вдруг разыгралась омерзительная сцена.

Гражданская панихида мерно шла своим чередом. Все произносили прекрасно-возвышенные слова о стойкости, смелости, огромном таланте, редкой доброте, о непоправимой утрате, которую понесла отечественная словесность. Дали слово ленинградскому писателю Леониду Борису. Он,

в числе других добрых слов, сказал, что Зощенко был патриотом, что не единожды он получал приглашение переехать на жительство за границу, но он не мыслил жизни вне России. И тут внезапно тишину прорезал визгливый вскрик поэта Прокофьева, вступившего в “полемику” с Борисовым. По залу прокатился возмущенный шорох. Конец панихиды был смят. Я вышла из зала. В кулуарах было полно людей. Они стояли, сидели на диванах, на стульях, на подоконниках. Рядом кто-то возмущенно шептал: “Какое надругательство... На Литераторских мостках не разрешили хоронить. Привезли тело из Сестрорецка и обратно в Сестрорецк повезут хоронить...”

Вскоре раздался перестук молотков. Закрытый гроб поплыл по комнатам и коридорам Дома писателей.

Мы — Дима Поляновский, мой сокурсник по институту Репина Виктор Носкович, жена Виктора художница Нина Лекаренко, которая в молодые годы в течение почти десяти лет была близко знакома с Зощенко, — поймали какую-то машину, шофер которой согласился отвезти нас к Сестрорецкому кладбищу. Туда приехало сравнительно немного людей. Лучше всех говорили Шостакович и Берггольц».

Лучшие люди!.. Но почему-то лучшие люди появляются на похоронах, и не раньше... Нет чтобы сказать все эти добрые слова, пока человек еще может их слышать... Но почему-то не положено.

«Подошел Валя. Звал на поминки, — продолжает Леонтьева. — Но идти в дом без хозяина казалось невыносимым. Мы доехали до Лисьего Носа и в придорожной столовке вчетвером помянули Михаила Михайловича».

Те, кто любит Михаила Зощенко (а таких много), и сейчас ходят к нему на сестрорецкое кладбище. Вот рассказ об этом замечательного — причем именно смешного — художника Георгия Ковенчука, иллюстрировавшего и книги Зощенко:

«Сухой косогор, поросший ровными сосенками. Сквозь них поблескивает колея железной дороги. За коротеньким мостиком виднеется полустанок. Хорошее место. Скромное, я бы сказал интеллигентное, надгробие: гранитная вертикальная плита с небольшим бронзовым профилем писателя, золотые буквы:

Михаил Михайлович Зощенко 1895–1958

Рядом могила с надписью на маленькой плите:

Вера Владимировна Зощенко 1898–1981

Тут же еще одна, свежая, на земляном холмике пластмассовые цветы, типовой веночек и надпись:

Зощенко Валерий Михайлович 1921–1988

Мы посидели на скамеечке, на память я сделал рисунок этих трех могил (ошибочный год рождения писателя на надгробии был указан по паспорту. — В. Я.)».

В общем — писатель Михаил Зощенко и после смерти оказался отдельно от своих коллег, и лежит не там, где ему положено было бы лежать — на Литераторских мостках... Но он все равно — победил: теперь мы и его глазами видим то время. А многое из того, что когда-то гремело, «звенело медью», издавалось огромными тиражами, — ушло.

Лучшее, что написано на смерть Михаила Зощенко — стихотворение Анны Ахматовой, его «подельницы»:

М.З.

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят...

1958

Комарово

ЗОЩЕНКО НАВСЕГДА

И что же произошло дальше? Как пишет Даниил Гранин (*Гранин Д. Мимолетное явление // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*): «Никто и не раскаялся и не повинился. Теперь все вспоминали о Зощенко так, словно все они были закадычные его друзья. А кто же мучил его? Непонятно».

... Все понемножку. Сколько сделал для него Корней Чуковский, написал лучшие о нем воспоминания... А — при жизни? А в самом конце ее? Сказал: «На вечер Горького Зощенко не пускать — уж больно одичал».

И это — знаменитый Чуковский, «друг детей»! Что уж об остальных говорить?!

Вот как описывает Гранин очередной юбилейный вечер Зощенко, который он вел (*Гранин Д. Мимолетное явление // Вспоминая Михаила Зощенко. Сборник*):

«На сцене стоял большой портрет М.М. Зощенко, под портретом — корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. И мне хотелось отыскать там, слева, у стены, себя молодого. Или хотя бы моих соседей. Впрочем, кое-кто из сидящих в зале должны были вспомнить, я высмотрел некоторых, они громко хлопали, смеялись, милые горячие почитатели выдающегося советского сатирика. Один из них сидел в третьем ряду, солидный, в перерыве подошел ко мне:

— Прекрасный вечер. Я бы тоже хотел выступить и поделиться.

— О чем?

— Ну, как же, ведь уже немного осталось нас, тех, кто близко знал Михаила Михайловича.

— А вы помните, как тут его прорабатывали? Он наморщил лоб, потом обрадованно закивал:

— Как же, еще бы.

— Тогда вы его не поддержали, не аплодировали ему.

Он изумленно посмотрел на меня, улыбнулся снисходительно:

— Что вы, тогда это нельзя было.

— А теперь можно?

— Можно и нужно, — назидательно сказал он, — справедливость восторжествовала, и мы должны...

— Вы об этом хотите сказать?

— Нет, зачем, я лучше расскажу, как мы дружили, я ведь ему шкаф

одолжил.

— На следующем юбилее, — сказал я. — У нас уже все полно.

— Что значит полно? — оскорбленно подхватил он и весь изготовился к бою.

— Видите ли, — тихо сообщил я, — список выступающих согласован.

Это он понял, тут он возражать не посмел, и мы разошлись.

На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках “Серапионовых братьев”, о вещах веселых, трогательных. Ведь был тот же зал ленинградского Дома писателя. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амуры, такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Как и тогда, зал был битком набит, толпились в дверях, стояли вдоль стен.

Никого из тех, что проводили то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что, когда приходит время, устыдиться уже некому и спросить не с кого...

Из выступлений получалось, что те известные события доконали М.М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Попробовал процитировать его выступление... И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, исчез, неразличимо расплылся, осталось впечатление».

Люди, любившие Михаила Зощенко, жившие рядом с ним, грустили: как «заломали» его, во что превратили, даже не похоронили, как подобало! Но Зощенко не пропал! Уже очень скоро, в конце пятидесятых, мы, люди молодые, вчерашние школьники, получили Зощенко веселого, молодого, мы хохотали, читая его, и знать ничего не знали о его грустном конце! Собственно, с этого я и начал книгу — с восторга нового поколения, узнавшего Зощенко. Как раз слабел прежний строй, и едкая, слегка абсурдистская ирония Зощенко пришлась нам по сердцу.

Я закончил писать эту книгу в одном из любимых зощенковских мест — в Крыму. Тут он гулял. Флиртовал с женщинами. Писал.

Вот и я — закончил текст. Поднял голову. Огляделся. С горы, где стоял домик, был отличный вид на море, на горбатую гору Аюдаг, на две отколовшиеся в море маленькие скалы... Забыл, пока писал, как они называются... Аделяры! Совсем тут запарился, головы не поднимал, все работал. Пора и размяться, куда-нибудь сходить... Юг все-таки! В ту же Ялту стонять, где было знаменитое крымское землетрясение, которое удивительно встретил, практически его не заметив, сапожник Снопков. Конечно, ту «каменную халупку», в которой он жил, я не найду... Тем

более что в процессе землетрясения, как рассказал Зоценко, она развалилась. Но, может быть, каким-то образом наши пути пересекутся с легендарным сапожником? Да нет! Как они могут... пере-сек-тись — если все то было почти сто лет назад?! К тому же — герой вымышленный!.. Но я все же решил пойти. Ну — выпил, конечно. Тем более что работа была закончена. Так что чего особенного ждать? Потом встал на свои ослабевшие ножки и куда-то пошел. Вскарabкался по скале на шоссе. Думал — до Ялты любой возьмет. Но там, наверху, никто как-то не захотел меня брать: автомобили проносились, обдавая жаром. Постояв, дальше шел. В облаках — горы, далеко внизу — море. Масштаб! Пешком на такие расстояния никто, кроме меня, почему-то не шел... Но куда ж деться? Обливаясь едким потом, долго шел... Поднимал иногда руку... Фырр! Что-то пронеслось мимо, только пары бензина оставляя. С высокой горы вдаль уже видел домики Ялты... Нет, не дойду! Присел на камешек, посидел... Ну и чего, спрашивается, я тут сижу? Встал, снова пошел... Хоть бы одно поселение! Высоко, что ли, в горы забрел? Прошел, может, километра четыре, снова сел на какое-то бревнышко. И тут, к счастью, человек с горы спустился. С козой. Глядел на меня как-то дико. Спрашивает: чего тут сижу? Никто, видно, давно сюда не забредал, тем более — пешком. «Да вот, — пояснил я, — в Ялту иду!» «Да до Ялты, поди, километров еще двадцать! — удивился он. — Ну-ну!» А я опять шел, покачиваясь... И вдруг меня осенило — так я же как сапожник Снопков после землетрясения — иду, упарился, ничего не понимаю! Только он из Ялты шел, а я, наоборот, в Ялту. А так — копия. Я захохотал. Так, отрывисто хохоча, и шел. Если б «скорая» из психушки проезжала — могли бы забрать! Еще через километр примерно что-то нарисовалось. Скопление машин. Язык высунув, дошел. Целая группа уазиков, с номерами. Куда едут? Прочел на одном надпись: «Кладбище». Поеду. Все-таки хоть какая-то определенность! Тем более — работа окончена. Могу отдохнуть? Хотя бы на кладбище? «Вы на кладбище едете?» — Стал дергать дверную ручку... Не открывается! Дернул сильнее. И тут, наконец, он меня заметил. Голову повернул. «Подергай, подергай, поломай! Я тебе голову твою так подергаю — быстро на кладбище окажешься у меня!» — В окошке нарисовалась могучая личность... Да, — понял я, — Зоценко жив. А я-то боялся!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М.М. ЗОЩЕНКО

1894, 28 июля (9 августа по н. с.) — в Петербурге, на Разночинной улице, 4, родился Михаил Зощенко. Отец — Михаил Иванович Зощенко, младший художник Мозаического отделения при Императорской Академии художеств. Мать — Елена Осиповна (Иосифовна) Зощенко, урожденная Сурина.

1903 — поступает в Санкт-Петербургскую 8-ю гимназию.

1907–1910 — первые попытки писать прозаические произведения.

1911 — знакомство с Н. Русановой-Замысловской. Первая любовь, оставившая след на всю жизнь.

1913, сентябрь — начало занятий на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

1914, 24 апреля — по постановлению Правления Санкт-Петербургского университета отчислен «за невзнос платы за весеннее полугодие».

Май — по дороге на Кавказ впервые попадает в Москву. Пишет рассказ «Двугривенный» (самый ранний из сохранившихся).

Май — август — живет на станции Минутка. Служит контролером на железнодорожной ветке Кисловодск — Минеральные Воды.

19 июля (1 августа по н. с.) — Германия объявляет войну России. Начало 1-й мировой войны.

Август — М. Зощенко возвращается в Санкт-Петербург.

29 сентября — зачислен в Павловское военное училище юнкером рядового состава на правах вольноопределяющегося 1-го разряда.

1915, 12 марта — прибыл в 16-й Мингрельский гренадерский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк Кавказской дивизии и назначен на должность младшего офицера пулеметной команды.

17 ноября — «За отличные действия против неприятеля» награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

1916, 20 июля — во время газовой атаки немцев отравлен удушающими газами и направлен в госпиталь.

13 сентября — награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами.

10 ноября — назначен на должность командира роты; произведен в штабс-капитаны.

1917, март — возвращение в Петроград. Знакомство с будущей женой В.В. Кербиц-Кербицкой.

Июнь — назначен комендантом петроградского почтамта и телеграфа.

Сентябрь — командирован в Архангельск. Назначен адъютантом дружины. Выбран секретарем полкового суда.

1918, январь — на предложение полковника французского экспедиционного корпуса покинуть Россию отвечает отказом.

31 марта — получает разрешение на возвращение в Петроград.

Апрель — май — работает подмастерьем в сапожной мастерской на Васильевском острове.

5 июня — поступает телефонистом в пограничную охрану Стрельна — Кронштадт.

Октябрь — написан фельетон «Я очень не люблю Вас, мой господин». Фельетон, подписанный псевдонимом М. Чирков, отвергнут в резкой форме «Красной газетой».

Ноябрь — приезжает к сестре Елене в город Красный Смоленской губернии. Готовится и сдает экзамен на должность инструктора по кролиководству и куроводству в совхозе «Маньково».

1919, январь — возвращается в Петроград и записывается добровольцем в Красную армию, в 1-й Образцовый полк деревенской бедноты, назначается полковым адъютантом. Участвует в боях под Нарвой и Ямбургом против отрядов С.Н. Булак-Балаховича.

Апрель — после сильнейшего сердечного приступа (последствие отравления газами) комиссован из рядов Красной армии. Устраивается младшим агентом в уголовный надзор на станции Лигово.

Июнь — поступает в литературную студию, открытую при петроградском издательстве «Всемирная литература», на отделение критики, руководимое К. Чуковским. Знакомство с Н. Гумилёвым, Е. Замятиным, В. Шкловским, с будущими членами литературной группы «Серапионовы братья» — Л. Лунцем, М. Слонимским, В. Познером, Е. Полонской, И. Груздевым. Пишет шуточные «Приказы по железнодорожной милиции и уголовному надзору ст. Лигово». Читает студийцам свою статью «Конец рыцаря печального образа», посвященную А. Блоку.

Ноябрь — в бывшем дворце Елисеева на углу Невского и Мойки открывается Дом искусств, куда переезжает литературная студия из Дома Мурузи. Зоценко (наряду с А. Грином, О. Мандельштамом, О. Форш, В.

Ходасевичем, В. Шкловским и другими писателями) получает там комнату.

1920, январь — смерть матери Зощенко от тифа.

Июль — регистрация брака с В.В. Кербиц-Кербицкой. *Ноябрь* — пишет рассказ «Рыбья самка». Знакомится с будущими «серапионами» — К. Фединым, В. Кавериним, Н. Тихоновым, Вс. Ивановым.

Декабрь — *1921, март* — помимо службы бухгалтером в Петроградском военном порту подрабатывает в сапожной мастерской на Васильевском острове.

1921, февраль — создание литературной группы «Серапионовы братья».

Февраль — *апрель* — Зощенко пишет рассказы «Любовь», «Война», «Старуха Врангель», «Лялька Пятьдесят». *5 мая* — родился сын Валерий.

20 мая — М. Горький дает положительную оценку рассказу М. Зощенко «Старуха Врангель».

Август — Горький высоко оценивает рассказ «Рыбья самка».

Сентябрь — Зощенко читает у Е. Замятина первый рассказ из «Рассказов Назара Ильича, господина Синебрюхова» — «Передать князю».

Декабрь — в издательстве «Эрато» выходит первая книга М. Зощенко — «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова».

1922 — начинает широко печататься в литературных журналах и газетах («Литературная газета», «Красная новь» и др.). Выходит в свет альманах «Серапионовы братья».

Январь — поселяется с семьей на улице Пушкарской, 22; в сентябре переезжает жить в Дом искусств, оставив семью в прежней квартире на Пушкарской.

Декабрь — первый обстоятельный критический разбор «Рассказов Назара Ильича, господина Синебрюхова» в рецензии А. Воронского («Красная новь». № 6). Выходит второе издание «Рассказов Назара Ильича, господина Синебрюхова» (Берлин, издательство «Эпоха»).

1923, февраль — выходит в свет первая из будущих «Сентиментальных повестей» — «Коза» (издательство «Круг»).

Март — издан первый сборник коротких юмористических рассказов «Разнотык» (издательство «Былое»). *Ноябрь* — опубликован рассказ «Аристократка» — самый популярный из рассказов Зощенко.

В течение года — множество публикаций в сатирических журналах «Дрезина», «Красный ворон» и др.

1924 — выходят сборники рассказов: «Аристократка» (издательство «Новелла») и «Веселая жизнь» (Госиздат). Множество публикаций в журналах.

1925 — изданы несколько сборников рассказов; произведения широко публикуются в журналах.

1926, январь — резкое ухудшение здоровья, лечение в царскосельском санатории.

Апрель — десятидневная поездка в Харьков, чтение рассказов в клубах и на предприятиях.

В течение года — выходит более двадцати сборников рассказов, произведения публикуются во многих журналах.

1927, март — издана книга М. Зощенко «О чем пел соловей. Сентиментальные повести» (Госиздат).

Июль — конфискован журнал «Бегемот» (№ 27) из-за опубликованного там «вредного» рассказа М. Зощенко «Неприятная история».

Август — в «Известиях» опубликована разгромная статья М. Олышевца «Обывательский набат» о книге М. Зощенко «О чем пел соловей».

В течение года — выходят книги за рубежом: «Веселая жизнь» (Париж: издательство «Очарованный странник»), «Уважаемые граждане» (там же), «О чем пел соловей» (там же), «Царские сапоги» (Рига: издательство «Литература»), «О чем пел соловей» (Рига: издательство «Граматы драугас»), «Черт знает что такое» (Рига: Веселая библиотека журнала «Ванька-Встанька»), «Рассказы» (Рига: издательство «Граматы драугас»).

1928, январь — выходит в свет восьмое издание книги М. Зощенко «Уважаемые граждане» (в этом же году появится девятое издание).

Февраль — издательство «Академия» выпускает том, посвященный М. Зощенко в серии «Мастера современной прозы» (авторы статей — В. Шкловский, А. Бармин, В. Виноградов, редакторы — Б. Казанский, Ю. Тынянов).

В течение года — широкое издание книг, множество публикаций в периодике.

1929, март — в ответ на неутраченную критику готовит книгу «Письма к писателю» с целью показать свою близость к широкому читателю и актуальным проблемам жизни.

Июль — выходит книга «Письма к писателю» (Издательство писателей в Ленинграде).

1930, январь — читает в театре Мейерхольда пьесу «Уважаемый товарищ» (постановка не состоялась из-за расхождений В. Мейерхольда и И. Ильинского, намеченного на главную роль).

Февраль — писатель М. Чумандрин, один из руководителей Союза

писателей Ленинграда, проводит общеписательское обсуждение: «Чей писатель Михаил Зощенко?».

Май — премьера пьесы «Уважаемый товарищ» в Театре сатиры с Утесовым в главной роли.

Сентябрь — закрыт последний ленинградский сатирический журнал «Ревизор».

Октябрь — работает в многотиражке «Балтиец», газете завода им. Свердлова «Атака».

В течение года — выходят в свет: четвертый том Собрания сочинений (тираж 15 тысяч экз.), книга «Новые рассказы» (библиотека журнала «Огонек», тираж 20 тысяч), книга «Лишние люди» (издательство «Федерация», тираж 25 тысяч), «Сирень цветет» (Издательство писателей в Ленинграде, тираж 15 тысяч), «Избранное» (Харьков, издательство «Пролетарий», тираж 20 тысяч), зарубежное издание «Воспоминаний о Мишеле Синягине» (Берлин, издательство «Петрополис»), пьеса «Уважаемый товарищ» (журнал «30 дней», № 9).

1931, февраль — выходит второе издание книги «Сирень цветет».

В СССР выходит (уже после издания за границей) книга «Воспоминания о Мишеле Синягине». Продолжается издание Собрания сочинений М. Зощенко.

Декабрь — работает над либретто «Три мушкетера» для Театра музыкальной комедии. Знакомство, перешедшее в дружеские отношения, с Д. Шостаковичем.

1932, апрель — начало сотрудничества с журналом «Крокодил», где напечатан его рассказ «Слабая тара».

В течение года — собирает материал для повести «Возвращенная молодость», изучает литературу по физиологии, психоанализу, медицине, знакомится с учениями З. Фрейда и И. Павлова.

1933, февраль — выходит в свет «Избранное» (Ленинградское отделение издательства «Художественная литература»).

Апрель — в Германии, в соответствии с черным списком книг, подлежащих сожжению, уничтожаются книги М. Зощенко.

Май — едет с выступлениями (чтением рассказов) по маршруту Харьков — Ростов — Баку — Тифлис — Минеральные Воды — Пятигорск — Кисловодск.

Июнь — в журнале «Звезда» публикуется повесть «Возвращенная молодость».

Август — поездка с группой писателей на строительство Беломорско-Балтийского канала. *Декабрь* — выходит в свет отдельное издание повести

«Возвращенная молодость» (Издательство писателей в Ленинграде).

Выходит эмигрантское издание повести «Возвращенная молодость» (Рига, издательство «Грамматница»).

1934, март — выступление на диспуте по повести «Возвращенная молодость» в ленинградском Доме ученых.

Апрель — в «Литературной газете» опубликована статья наркома здравоохранения Н. Семашко «Можно ли вернуть молодость?» о повести «Возвращенная молодость».

Май — выходит коллективный сборник «Канал имени Сталина» с очерком М. Зощенко «История одной перековки».

17 августа — 1 сентября — 1-й Всесоюзный съезд советских писателей. Зощенко избран членом Правления Союза советских писателей.

Октябрь — как писатель 1-й категории получает большую квартиру в писательском кооперативе (канал Грибоедова, д. 9, кв. 122).

1935, январь — в журнале «Литературный критик» опубликована статья А. Бескиной «Лицо и маска Михаила Зощенко» — первая попытка серьезного осмысления его творчества.

1936, январь — выходит «Голубая книга» (Ленинградское отделение издательства «Советский писатель»).

Март — участвует в диспуте о «Голубой книге» в ленинградском дискуссионном клубе прозаиков (в обсуждении приняли участие В. Каверин, В. Саянов, К. Федин и др.).

Июнь — заключает договор с издательством «Советский писатель» на издание книги «Ключи счастья»; рукопись под названием «Перед восходом солнца» была представлена лишь осенью 1943 года.

18 июня — смерть А.М. Горького. Зощенко участвует в похоронах Горького на Красной площади (урна с прахом писателя замурована в Кремлевской стене).

1937, январь — выступает (среди других) на собрании ленинградских писателей в связи с процессом над Г. Пятаковым, К. Радеком и другими с осуждением обвиняемых. Публикует ответы на «Анкету о Пушкине» в первом номере журнала «Литературный современник», посвященном 100-летию со дня смерти поэта.

Март — начинает публиковать детские рассказы в журнале «Костер».

Июнь — Зощенко публикует письма Горького к нему (очевидно, с целью собственной безопасности). Август — после ареста близких знакомых, мужа и жены Авдашевых, Зощенко с супругой берут в семью их шестнадцатилетнего сына и помогают его младшим сестрам, оказавшимся в детдоме для детей «врагов народа».

Октябрь — выходит документальная повесть «Возмездие».

Ноябрь — арестован В.О. Стенич, ближайший друг Зощенко (приговор «10 лет без права переписки» на деле означал расстрел).

Декабрь — выходит первая детская книга М. Зощенко «Смешные рассказы» (Детиздат).

1938, январь — прекращает попытки стать фельетонистом газеты «Правда» (за два года прошел только один фельетон).

В «Литературном собеседнике» (№ 1) публикуется повесть «Бесславный конец», посвященная разоблачению А. Керенского.

Март — в Большом зале Московского клуба писателей с большим успехом проходит «Творческий отчет» с чтением новых рассказов.

Июнь — выходит книга «Рассказы» (библиотека журнала «Огонек»).

1939, 17 февраля — вручение в Кремле ордена Трудового Красного Знамени председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калининым.

Февраль — март — в журнале «Литературный современник» (№ 2–3) публикуется повесть «Тарас Шевченко».

Июнь — покупает дачу в Сестрорецке.

Декабрь — выходит книга «Рассказы о Ленине» (Детгиз).

1940, март — выходит книга «Рассказы» (Гослитиздат).

Апрель — отправляет письмо в Верховный суд СССР с просьбой пересмотреть дело арестованного в 1937 году В.О. Стенича (как позже выяснилось, расстрелянного вскоре после ареста).

Июнь — выходит в свет книга «Уважаемые граждане» («Советский писатель»).

1941, 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны пишет заявление о добровольном вступлении в Красную армию.

23 июня — по предложению Н.П. Акимова (главного режиссера Ленинградского театра комедии) М. Зощенко и Е. Шварц приступают к созданию антифашистской сатирической пьесы «Под липами Берлина».

Июнь — сентябрь — пишет антифашистские фельетоны для газет и радио.

18 сентября — вызов в Смольный с предложением эвакуироваться из Ленинграда.

26 октября — приезжает в Алма-Ату, зачислен сотрудником сценарного отдела «Мосфильма».

1942 — в течение года работает над сценарием «Опавшие листья» для режиссера Г. Александрова, сценарием «Трофим Бомба», пишет пьесы для находившегося в Алма-Ате с театром режиссера Ю. Завадского — «Маленький папа» и «Строгая девушка». Работает над повестью «Перед

восходом солнца».

1943, *апрель* — по вызову отдела культуры ЦК ВКП(б) приезжает в Москву; отказывается от должности ответственного редактора журнала «Крокодил». Введен в состав редколлегии журнала.

Август — октябрь — журнал «Октябрь» публикует главы повести «Перед восходом солнца». *Ноябрь* — публикация повести «Перед восходом солнца» приостановлена по указанию ЦК ВКП(б). Пишет письмо Сталину с объяснением идеи повести и просьбой помочь дальнейшей ее публикации.

Декабрь — Секретариат ЦК ВКП(б) принимает постановление «О контроле над литературно-художественными журналами»; среди других писателей упомянут Зощенко с его «политически вредным и антихудожественным произведением» «Перед восходом солнца».

31 *декабря* — выведен из редколлегии «Крокодила», лишен продуктового пайка.

1944, *январь* — выселен из гостиницы «Москва». 2 *апреля* — возвращение в Ленинград.

Лето — осень — пишет рассказы и фельетоны, однако газеты и журналы в их публикации отказывают. Живет продажей вещей.

1945 — работает над рассказами и пьесами.

Декабрь — в журнале «Мурзилка» напечатан рассказ «Приключения обезьяны».

1946, *февраль — июль* — опубликована комедия «Парусиновый портфель», выходят книги «Фельетоны. Рассказы. Повести» (Лениздат), «Избранные произведения» («Художественная литература»), «Рассказы» (библиотека журнала «Огонек»).

Апрель — награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Премьера комедии «Парусиновый портфель» в Блокадном театре.

Июнь — премьера комедии «Очень приятно» в Блокадном театре.

Решением Ленинградского горкома ВКП(б) введен в состав редколлегии журнала «Звезда». В журнале «Звезда» (№ 5) перепечатан (без ведома автора) рассказ «Приключения обезьяны».

14 *августа* — принято постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», осуждающее «всякую проповедь безыдейности, аполитичности», которая «чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах». Среди фигурантов постановления основной критике подверглись М. Зощенко и А. Ахматова.

15 и 16 августа — доклады секретаря ЦК ВКП(б) А. Жданова на собраниях ленинградского партактива и писателей, посвященные постановлению ЦК ВКП(б).

4 сентября — постановлением Президиума Правления Союза писателей СССР М. Зощенко исключен из Союза писателей.

10 октября — пишет письмо А. Жданову.

Осень — зима — лишен продуктовой карточки; живет за счет распродажи вещей.

1947, январь — февраль — работает над циклом «Партизанские рассказы».

Апрель — посылает «Партизанские рассказы» секретарю Сталина — Поскребышеву.

Май — уведомлен о возвращении продовольственной рабочей карточки.

Июнь — по указанию Сталина редактор «Нового мира» К. Симонов предлагает М. Зощенко приехать в Москву для заключения договора на публикацию «Партизанских рассказов».

Сентябрь — десять из тридцати двух «Партизанских рассказов» опубликованы в «Новом мире» (№ 9).

1948, январь — март — работает над переводом повести финского писателя М. Лассилы «За спичками».

Август — октябрь — в петрозаводском журнале «На рубеже» (№ 8–10) опубликован перевод повести М. Лассилы «За спичками» (М. Зощенко как переводчик обозначен лишь в последнем номере публикации). *Сентябрь* — переезжает в меньшую квартиру, совершив обмен, за доплату, с Верой Кетлинской.

1949, январь — выходит в свет книга «За спичками» (Петрозаводск, тираж 30 тысяч). Большая часть тиража — без указания фамилии переводчика.

Получает предложение от редактора «Крокодила» Д. Беляева сотрудничать в журнале. Написанные три фельетона опубликованы в журнале не были.

Июль — распоряжением Главреперткома запрещена постановка комедии М. Зощенко «Здесь вам будет весело» в ленинградском Новом театре.

Август — отправляет уже не первое письмо председателю Союза писателей СССР А. Фадееву с просьбой указать, что делать, «чтоб не быть лишним человеком в государстве».

1950, июль — опубликован, после долгого перерыва, рассказ

«Страшная месть» в журнале «Крокодил» (№ 27) — единственный за весь год. Зарабатывает переводами.

1951 — весь год пишет фельетоны для «Крокодила» (пять опубликованы).

Ноябрь — в журнале «Огонек» напечатан рассказ «Домашний тигр».

1952 — в течение всего года пишет цикл рассказов «Что больше всего меня поразило». «Новый мир» на просьбу заключить договор о публикации ответил отказом.

1953, январь — очередное требование Литфонда вернуть взятые ссуды (14 тысяч рублей).

Апрель — по предложению руководства Союза писателей подает заявление о восстановлении своего членства в союзе. Пишет письма с просьбой о поддержке В. Каверину, К. Федину, К. Чуковскому, М. Шагинян.

23 июня — на заседании Президиума Правления Союза писателей СССР принят (не восстановлен, а принят заново) в Союз писателей.

1954, 5 мая — М. Зощенко и А. Ахматова приглашены на встречу с английскими студентами; на вопрос, согласны ли они с обвинениями в их адрес, выдвинутыми в докладе Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», Зощенко ответил отрицательно.

28 мая — в «Ленинградской правде» опубликован отчет о партийном собрании в Ленинградском отделении Союза писателей с резкой критикой Зощенко.

15 июня — К. Симонов приезжает в Ленинград на писательское собрание, задуманное как покаяние Зощенко. Не согласившись на покаяние, Зощенко дает резкую отповедь хулителям.

Июнь — сентябрь — всеобщая травля Зощенко в печати и на радио.

27 июля — 4 августа — Зощенко пишет письмо «главному» советскому критику В. Ермилову, напоминая о том, что когда-то тот поддерживал его. Ермилов отвечает резко — и печатает свое письмо, равнозначное приговору, в «Правде».

Сентябрь — резкое ухудшение здоровья.

7 сентября — в «Известиях» опубликована статья «Факты разоблачают клевету», после чего имя М. Зощенко надолго пропадает из журналов и газет.

1955, январь — обмен квартиры на меньшую и комнату для сына с семьей.

Январь — март — Зощенко возобновляет работу над циклом рассказов «Что больше всего меня поразило». Журнал «Октябрь», ознакомившись с рукописью, отказывает в публикации.

Август — подает заявление в Ленинградское отделение Союза писателей с просьбой об оформлении пенсии. Возникают проблемы из-за перерыва в стаже в связи с его временным исключением из Союза писателей.

1956, 26 марта — группа писателей (К. Чуковский, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Кассиль, Э. Казакевич, Н. Тихонов) обращается с письмом в Президиум ЦК КПСС «о восстановлении доброго имени Михаила Михайловича Зощенко».

31 мая — Зощенко отправляет письмо К. Федину с просьбой посодействовать переизданию избранных произведений в издательстве «Советский писатель».

Декабрь — выходит в свет книга «Избранные рассказы и повести. 1923–1956» (издательство «Советский писатель»).

1957 — болезнь, депрессия. Короткий всплеск энтузиазма, вызванный книгой К. Фебина «Писатель, искусство, время» (1957), в которой, после долгого перерыва, отмечена выдающаяся роль М. Зощенко в истории русской литературы.

1958, март — в последний раз приезжает в Москву. Присутствует на вечере памяти М. Горького (вместе с К. Чуковским, М. Слонимским, И. Козловским, П. Капицей).

Май — резкое ухудшение здоровья. *Июнь* — выходит в свет последняя прижизненная книга — «Рассказы и фельетоны» (издательство «Художественная литература»).

2 июля — получает извещение о назначении персональной пенсии республиканского значения (1200 рублей).

7 июля — выезжает из Сестрорецка в Ленинград за получением пенсионной книжки.

8 июля — возвращается в Сестрорецк. Ухудшение состояния здоровья.

22 июля — Михаил Михайлович Зощенко скончался от сердечной недостаточности.

23 июля — сообщение о смерти М.М. Зощенко опубликовано в «Ленинградской правде».

24 июля — гражданская панихида в ленинградском Доме писателя. Похороны на кладбище города Сестрорецка.

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги М.М. Зощенко

- Десять рассказов. Л.: Издательство «Красная газета», 1926 («Веселая библиотека “Бегемота”». № 27). Мещанский уклон. Л.: Издательство «Красная газета», 1927 («Веселая библиотека “Бегемота”». № 34). Социальная грусть. Л.: Издательство «Красная газета», 1927 («Веселая библиотека “Бегемота”». № 47).
- Мелочи жизни. Л.: Издательство «Красная газета», 1927 («Веселая библиотека “Бегемота”». № 74).
- Царские сапоги. Юмористические рассказы. Рига: Литература, 1927.
- Дни нашей жизни. Л.: Издательство «Красная газета», 1928 («Веселая библиотека “Бегемота”»).
- Спи скорей! Новейшие рассказы. Рига: Логос, 1928.
- О чем пел соловей. Сентиментальные повести. Л.: Прибой, 1929 (3-е изд.).
- Рассказы, повести, театр, фельетоны. 1937–1939. Л.: Художественная литература, 1940.
- Избранные рассказы и повести. 1923–1956. Л.: Издательство «Советский писатель», 1956.
- Собрание сочинений: В 3 т. Л.: Художественная литература, 1986.
- Собрание сочинений: В 7 т. М.: Время, 2006.

Книги о М.М. Зощенко

- Молдавский Д.* Михаил Зощенко. Очерк творчества. Л., Советский писатель, 1977.
- Чудакова М.* Поэтика Михаила Зощенко. М.: Наука, 1979.
- Вспоминая Михаила Зощенко.* Сборник / Сост. Ю. Томашевский. Л.: Художественная литература, 1990.
- Лицо и маска Михаила Зощенко / Сост. и публ. Ю.В. Томашевского.* М., 1994.
- М. Зощенко. Материалы к творческой биографии: В 3 т. / Изд. подгот. сотрудниками Института русской литературы. СПб.: Наука, 2002.

Статьи о творчестве М.М. Зощенко

- Воронский А.* Михаил Зощенко. Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова // Красная новь. 1922. №6.
- Гуль Р.* Михаил Зощенко. Молодая проза // Накануне [Берлин]. 1924. №

34.

Ходасевич В. Уважаемые граждане // Возрождение [Париж]. 1927. 8 мая.

Ольшевец М. Обывательский набат (О «Сентиментальных повестях» М. Зощенко) // Известия. 1927. 14 августа.

Вешнее В. Разговор по душам // На литературном посту. 1927. №11–12.

Пильский П. Простой смех (М. Зощенко, его учителя, успех и разгадка) [Предисловие к книге М. Зощенко «Скупой рыцарь»]. Рига: Литература, 1928.

Чумандрин М. Чей писатель — Михаил Зощенко? // Звезда. 1930. № 3.

Бицilli П. Зощенко и Гоголь. Париж: Числа, 1928.

Вольпе Ц.О. «Возвращенной молодости» Михаила Зощенко // Звезда. 1934. № 3.

Гуриштейн А. По аллеям истории // Правда. 1936. 9 мая.

Горшков В., Ваулин Г., Рутковская Л., Большаков П. Об одной вредной повести // Большевик. 1944. № 2.

Плоткин Л. Проповедник безыдейности — М. Зощенко // Звезда. 1946. № 7–8.

Адамович Г. Зощенко // Русская мысль [Париж]. 1958. 23 сентября.

Синявский А. Мифы Михаила Зощенко // Синтаксис [Париж]. 1985. № 23.

Томашевский Ю. Об одном посвящении. Попытка психологического комментария // Лицо и маска Михаила Зощенко. Сборник. М.: Олимп — ППП, 1993.

Голованова Е. Когда не дают быть писателем // Лицо и маска Михаила Зощенко. Сборник. М.: Олимп — ППП, 1993.

Скаттон, Линда Х. Цикл рассказов «Лелька и Минька». Выделение главного // Лицо и маска Михаила Зощенко. М.: Олимп — ППП, 1993.

*

Благодарю за содействие в работе над книгой писателя Д.А. Гранина, директора Государственного литературного музея «XX век» Н.Е. Арефьеву и старшего научного сотрудника музея А.Д. Семкина, исследователя творчества Михаила Зощенко и коллекционера А.А. Бессмертного, литературоведа А.И. Рубашкина, художника Г. Ковенчука.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Мих. Зоценко



Отец писателя Михаил Иванович Зоценко



Мать — Елена Осиповна, в девичестве Сурина



Миша Зоценко, впервые надевший гимназическую форму, в окружении родителей и сестер Елены и Валентины. Санкт — Петербург. 1903 г. (?)



Гимназист Зоценко, уже написавший первые рассказы «Пальто» и «За что?». 1911 г.



Первокурсник Императорского Санкт-Петербургского университета М. Зоценко, не ставший второкурсником. 1913 г.







Михаил Зощенко на русско-германском фронте Первой мировой войны. 1915–1916 гг.

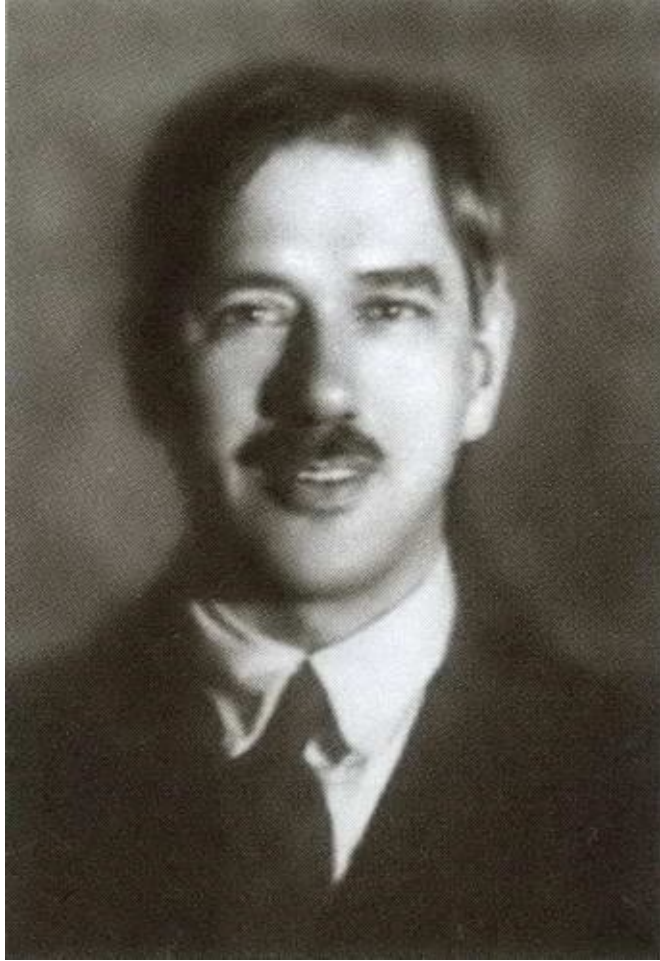


↑
"Золотолобая елань" в
1916 году на фронте.
Господь стutzer Милгримского
полка Кавказск. Гривад. Дивизии.
Я командир батальона. В цитате
Группка идеологички из видер-
женя. Наша молодежь общественность
Простите меня — был очень молод!
В то время мне не было 20 лет.
М. Зену

Любительская фотография из альбома, составленного А.Е. Крученых, с автографом М. Зоценко. ЦГАЛИ



Александр Блок



Корней Чуковский



Проводы Александра Блока, проводы эпохи. Август 1921 г.



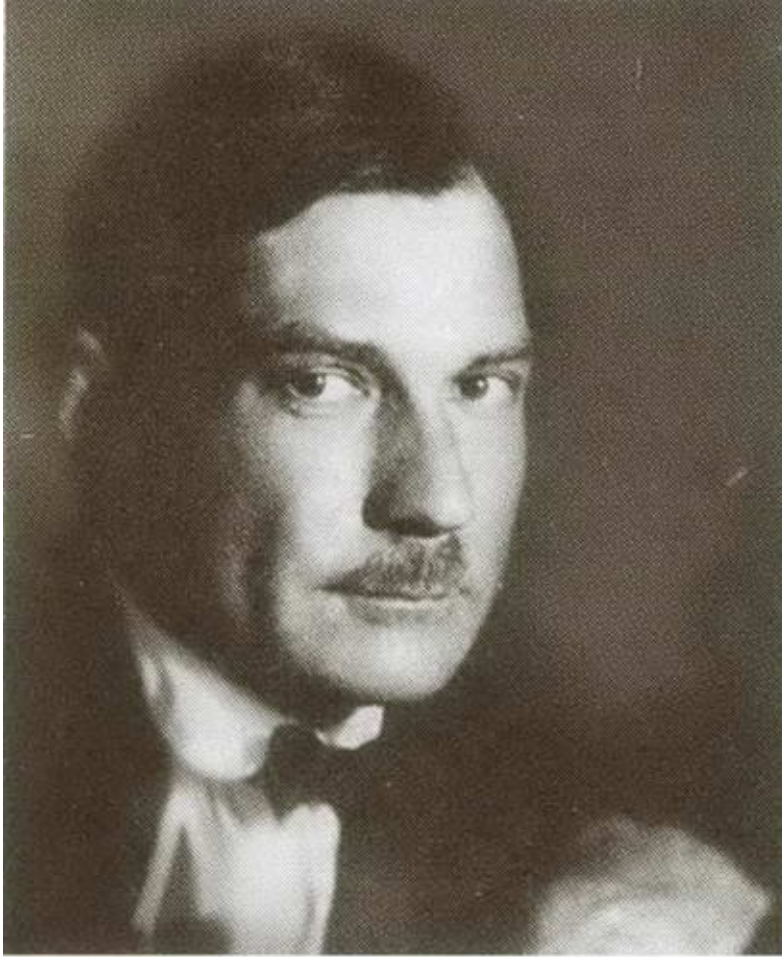
Владимир Маяковский. «Я, воспевающий машину и Англию,/ может быть, простое в самом обыкновенном Евангелии / тринадцатый апостол»



Михаил Зощенко с Мариэттой Шагинян. Начало 1920-х гг.



«Серационовы братья». Слева направо: К.А. Федин, М.Л. Слонимский, Н.С. Тихонов, Е.Г. Полонская, М.М. Зоценко (сидит в центре), Н.Н. Никитин, И.А. Груздев, В.А. Каверин. Фото из журнала «Литературные записки». 1922 г.



Евгений Замятин, главный учитель «серапионов»



Лев Луиц, автор манифеста «Почему мы “Серпионовы братья”?»



Примкнувший к «серационам» Виктор Шкловский. 1920-е гг.



На шляхах к славе. Зоценко выступаєт с рассказами в Харькове. 1920-е гг.



Вера Владимировна Кербиץ-Кербиץкая, жена писателя. 1927 г.



Михаил Зощенко в 1923 году



Профессиональный писатель Зоценко в полосе успеха и благополучия



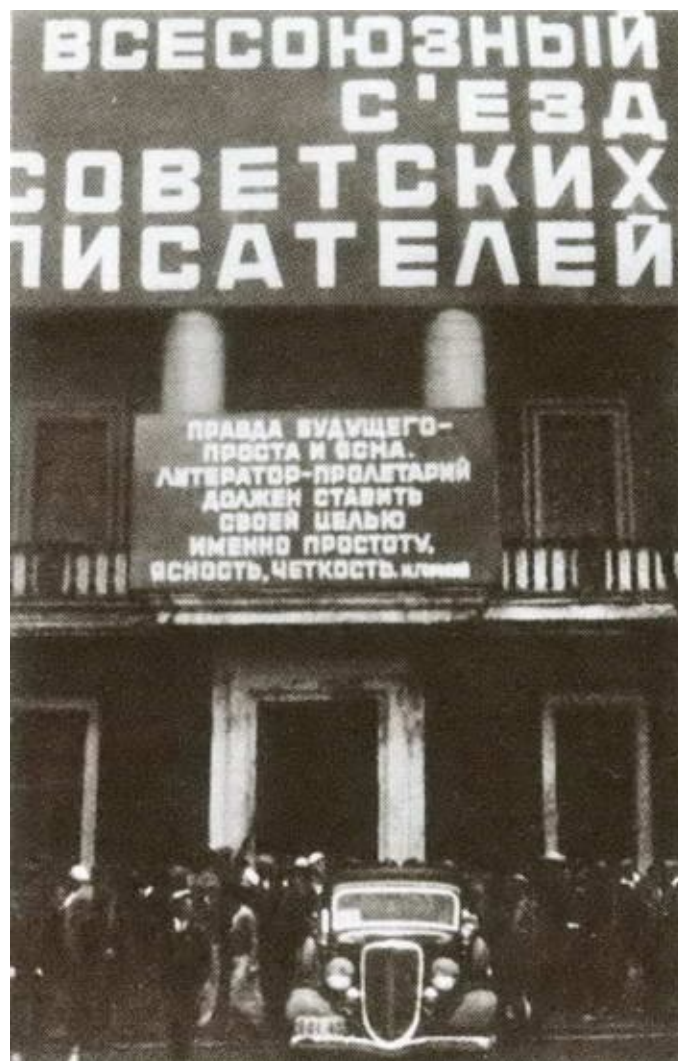
Портрет Михаила Зощенко работы Ю. Анненкова. 1921 г.



Шарж на М. Зощенко Б. Малаховского. 1935 г.



Несколько образцов из многочисленных книг писателя



Открытие Первого Всесоюзного съезда советских писателей. Москва, Дом союзов. 17 августа 1934 г.



Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин вручает М. Зоценко орден Трудового Красного Знамени. 17 февраля 1939 г.



С другом-писателем Юрием Олешей. Вторая половина 1930-х гг.



Михаил Зоценко (в центре) и Лидия Чалованадаче под Ленинградом. Лето 1940 г.



А.А. Жданов, секретарь ЦК ВКП(б) по идеологии, один из инициаторов постановления ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 года



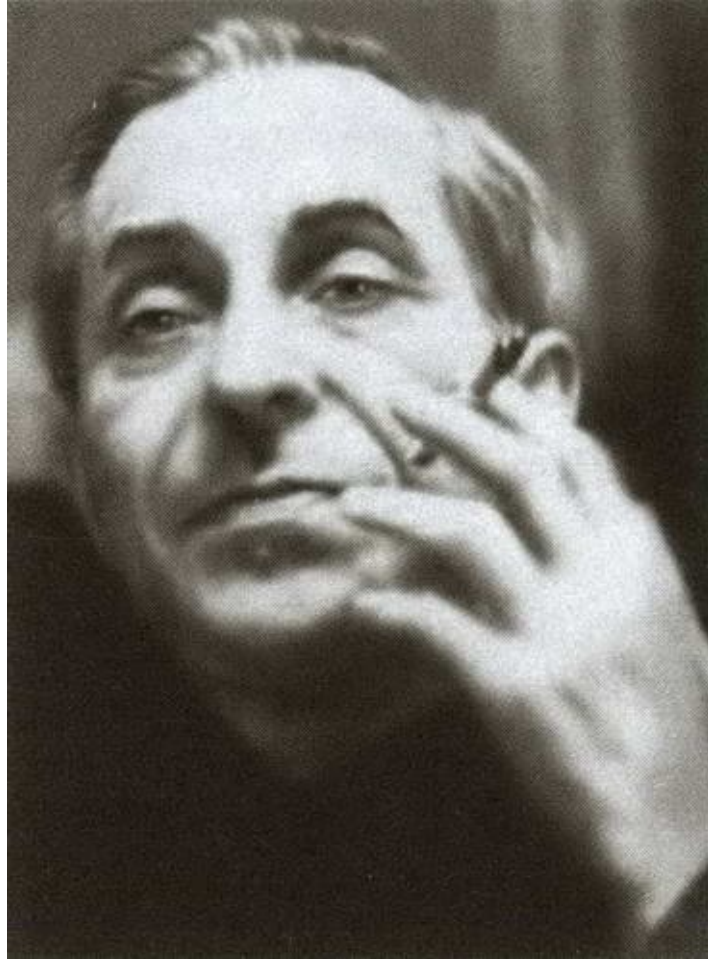
Михаил Зощенко и Анна Ахматова главные фигуранты постановления



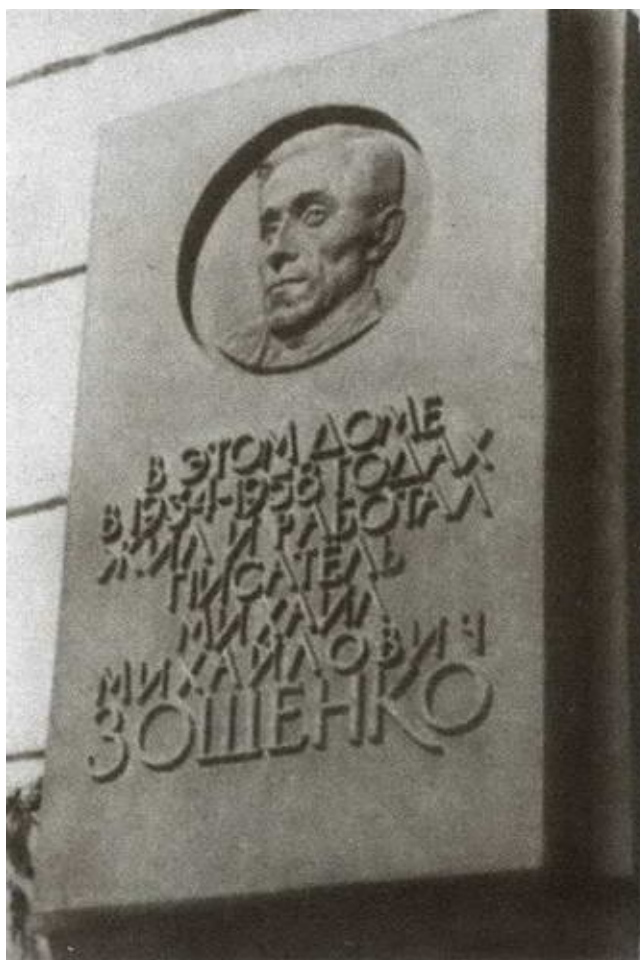
Дача Михаила Зоценко в Сестрорецке, где прошли его последние дни



Надгробный памятник писателю. Сестрорецк



Михаил Зощенко: «От хорошей жизни писателями не становятся». Шутка? Философская максима писателя? Будем разгадывать...



«Прохожий, остановись!». Петербург, канал Грибоедова, дом 9

*

ISBN 978-5-235-03786-1



9 785235 037861 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ